

**Историография и постмодерн: вопрос  
об идентичности во второй  
половине XX – начале XXI веков**

**ШУТОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА**

**Минск  
2007**

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие</i> .....	3
Часть 1. ПОСТМОДЕРН: НЕКОТОРЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ В ГУМАНИТАРНОМ СТАНЕ.....	7
1.1. Историография: романтика и прагматика .....	7
1.2. Постмодерн: диагноз нашего времени?.....	18
1.3. Постмодерн и глобализация: «в пустыню Реального» .....	41
Часть 2. ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДИСКУРСИВНОГО ПОВОРОТА.....	50
2.1. «Язык, на котором не мы говорим, но который разговаривает нами».....	50
2.2. Структуралистские и постструктуралистские регистры лингвистического поворота.....	58
2.3. Феминизм и постструктурализм: общие основы и противодействия .....	66
Часть 3. “КУЛЬТУРНЫЙ” ПОВОРОТ В ИСТОРИОГРАФИИ: ДИСКУРСИВНЫЙ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕКРЕСТКИ.....	73
3.1. Основные черты «антропологического поворота».....	73
3.2. «Культурный поворот» в историографии .....	94
3.3. Национализм и постколониализм: исследования идентичности в (пост)современной историографии .....	100
Часть 4. “НОВЫЕ”: ИСТОРИЗМ, ИСТОРИОГРАФИЯ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ.....	119
4.1. Ретроспективы и перспективы интеллектуальной истории .....	119
4.2. Содержание и формы истории в концепции Хэйдена Уайта .....	125
4.3. История и «новый историзм» .....	130
4.4. Историография, интеллектуальная история, теория истории: полифония и «белорусский контекст».....	137
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.....	169
Таблица 1. Тематическая классификация заседаний 2007 г. съезда Американской исторической ассоциации .....	174
Таблица 2. Тематическая классификация защищенных в Беларуси докторских и кандидатских диссертаций (по материалам журнала «Аттестация»:.....	182
Таблица 3. Тематическая классификация диссертаций, защищенных в 2005-2006 гг. в Нью- Йоркском университете, Университете Джона Хопкинса, Гарварде и Принстона. ...	186

...Он был убежден, что поэты созданы для критиков так же, как больные люди – для докторов.  
*Burke K. Collected Poems, 1917-1967. Berkeley and Los Angeles :University of California Press, 1968*

## Предисловие

этой книги следует начать с оправдания ее названия. Действительно, какова «материальная база» нашего исследования? Название менялось в ходе работы над книгой: «историография англо-американская»... «англоязычная»... даже «франкоязычная»... Прекрасно понимаю, что для историков крайне важно очертить уже в названии «географические» границы объекта исследования, которые у нас на первый взгляд отсутствуют. С временными рамками в названии ясность есть, но вот «постмодерн»... Зачем снова этот пресловутый «постмодерн» и тем более изъеденная молью «идентичность»? И наконец, самое главное: почему «историография»?

С нее-то, с историографии, мы и начнем. Профессионалы-историки и все те, кто просто любит историю – эта книга для вас. Разве не задумывались вы о том, что история порой стоит «слишком» особняком от остальных гуманитарных сфер, провозглашая свой нейтралитет и объективность там, где литература и философия давно испытывают «неловкости»? Разве не случалось вам слышать упреки по поводу «неправды» истории, испытывать сомнения в истинности собственных оценок? Разве не было у вас чувства ностальгии по тем временам, когда история отождествлялась с прогрессом общественно-экономических формаций? Подобные вопросы звучат почти риторически, особенно в условиях т.н. «постсовременности», где появившийся Интернет стирает пространственно-временные, глобализация – национальные, а междисциплинарность – отраслевые границы. Какое место в этих процессах должна (или не должна вовсе) занимать история?

Размышления о месте и роли истории занимают не одно тысячелетие. И все же лукиановские рассуждения о том, как писать историю («как начать, как собирать материал, что выбросить, а что оставить,... как удерживать любопытство читателя...»<sup>1</sup>) или Цицероновские признания об истории как о «*magistra vitae*» (кстати сделанные им вовсе без какого-либо подтекста об «исключительности» истории, а по поводу ораторского искусства<sup>2</sup>) кажутся «детской забавой» по сравнению с той проблемой, к которой мы пришли сегодня: энигматичность самого понятия «история». Казалось бы, историки писали ее тысячелетия, а вот теперь задумались, что это такое. Загадочность эта лежит в естественности для человеческого сознания «истории» как дискурса. Нарратив, описание, исторический рассказ настолько натурален, что даже веками откладывавшиеся наслоения на сам термин «история» не оставляли места для раздумий. Тем не менее, для понимания того, что такое история, (пост)современные историки вновь обращаются к античным авторам. Для Цицерона, такие римские историки, как Катон, Фабиус Пиктор и другие, были теми «кто рассказывает какие-нибудь вещи» (*naratores rerum*). В «Этимологиях» Исидор Севильский дал определение «*Historia est narratio rei gestae*»<sup>3</sup>, и это определение распространилось на всю средневековую историографию. Однако уже в

<sup>1</sup> Lucianus of Samosata, *How to Write History. The Dipsads. Saturnalia. Herodotus or Aetion. Zeuxis or Antiochus. A Slip of the Tongue in Greeting. Apology for the "Salaried Posts in Great Houses."* Harmonides. *A Conversation with Hesiod. The Scythian or The Consul. Hermotimus or Concerning the Sects. To One Who Said "You're a Prometheus in Words."* The Ship or The Wishes. Translator K. Kilburn. Vol VI. Harvard: Harvard University Press, 1959, p.5.

<sup>2</sup> «А сама история – свидетельница времен, свет истины, жизнь памяти, учительница жизни, вестница старины? Чей голос, кроме голоса оратора, способен ее обессмертить?» -- Марк Туллий Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. Под редакцией М.Л. Гаспарова. Перевод Ф.А. Петровского. Москва: "Наука", 1972, кн.2:36; см. также 2: 62-62: о задачах истории, о ее содержании и форме.

<sup>3</sup> Лат.: «История – это рассказ о великих событиях».

Средневековые совершенно естественным образом многие авторы склонны были называть историей не рассказ (recit) о событиях прошлого, а сами события. Так происходит то, что и сегодня служит причиной многих заблуждений историков о себе и своей роли: история становится прошлым. Историки, рассказывающие о прошлом, словно бы принимают на себя роль его прямых трансляторов так, как если бы они передавали прошлое (именно так, как «оно и происходило», по словам все того же Лукиана и его знаменитого преемника Ранке). Это «первородное» смешение понятий отзывается и в запутанности сегодняшней ситуации в историографии.

Всплывший наконец термин «историография» подводит нас к продолжающимся уже не одно столетие спорам по поводу его содержания. *Историо, графо* – описание истории. В употреблении этого термина возможны такие основные прочтения:

1. Историография как история (т.е. описание собственно прошлого);
2. Историография как совокупность работ, посвященных какой-либо теме, периоду и т.п. (например, «историография Французской революции»);
3. Историография как история исторической мысли.

К этому последнему значению термина «историография», поскольку именно в нем заложен потенциал осмысления истории как дисциплины, мы и обращаемся в своих размышлениях о труде историка. Если история возникает как ответ на потребность в идентификации человека, в помещении его во временной континуум, соотношении его «со славными предками», «чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления достойные деяния как эллинов, так и варваров не остались в неизвестности»<sup>4</sup>, то историография несет в себе идентификационную функцию для самой истории. Поскольку, как вы уже догадались, целью этой книги, претендует быть ни много ни мало осмысление истории в (пост)современном мире, ключом к этому осмыслению мы предлагаем постановку и разрешение вопроса об идентификации.

Именно исходя из третьего значения термина «историография» – понимания историографии как истории исторической мысли, – мы не можем обозначить четкие пространственные границы нашего исследования. Если бы книга была о какой-либо из «национальных» историографий (например, французской, американской, английской, немецкой и т.п.), то речь должна была бы пойти именно об «особенностях», «частностях», «индивидуальностях». Мы же претендуем на выявление «общностей» -- тех тенденций, которые объединяют историю как дисциплину в (пост)современном мире. Предполагавшееся в самом начале работы над книгой название «Англо-американская историография», сегодня рассматривается нами и вовсе как неверное: английская и американская историографии (как системы теорий, взглядов и сочинений по проблемам истории своих стран) во многих вопросах не только различаются, но и расходятся между собой. Опять-таки, подразумевавшийся в качестве критерия такого названия английский язык, не может служить оправданием темы типа «англоязычная историография»: куда «отнести», например, французских, итальянских, российских историков, пишущих на английском в ситуации глобализованного сообщества ученых, когда англоязычная публикация является своего рода мериллом признания?

Понятно, что хотя язык публикаций, использовавшийся в качестве наших источников, в большинстве случаев был английский (поскольку именно на нем написана большая часть исторической эпистемологии) или французский (хотя бы потому, что французам принадлежит честь «открытия» теоретического осмысления постмодерна), наше внимание обращалось и к «национальным» историографиям, звучащим на русском и белорусском. Надеемся, что читатель поймет эти «иногда» не как отступление от «общего» или как посягательство на «чужое», а скорее как попытку быть ближе «частному», «своему». В сегодняшнем обществе, видимо ни к чему противопоставлять «национальную» и «всемирную» истории, как ни к чему сетовать на почти нулевую представленность белорусской историографии в мировой, а вместо этого – признать наличие «всемирной» истории и историографии и «включить» себя в нее. И

---

<sup>4</sup> Геродот. История. В 9-ти кн. / Пер. Г.А. Стратановского. – М.: ООО "Издательство АСТ", "Ладомир", 2001, 1:1.

если мы этого не сделаем, то угроза того, что мы окажемся «включенными» постфактум глобализационными процессами, может стать вполне реальной.

Почему мы решили, что постмодерн в историографии есть? Техники, стратегии, репрезентации, сценарии, мифологии... Это лингвистический поворот? или антропологический? или культурный? или дискурсивный? Можно спорить, можно делать какие-то выкладки и классификации, но отрицать очевидное нельзя: историки стали писать по-другому. Выяснить, что это такое -- «по-другому», и чем оно отличается от классического «модернового» исторического нарратива и есть наша цель.

Опять-таки, найдутся те, кто спросит: а на каком собственно основании вы делаете свои заключения? Где статистические выкладки, почему вы решили, что книг, посвященных экономической истории макроструктур, меньше/больше, чем работ по историческим «репрезентациям» или «опыту Мартина Гера»? Естественно, что ответ типа «я это чувствую» не будет удовлетворительным (хотя, впрочем, этот ответ – вполне в духе сегодняшних представлений о важности того же индивидуального опыта в истории или теорий репрезентации). И все же, поскольку нам представляется важным убедить себя и читателя, мы искали подтверждения наших главных тезисов о (1) факторе поиска решений проблем идентичности и референциальности в возникновении разнообразных течений в (пост)современной историографии и в тематике постмодернизма в целом; (2) о возрастании роли историографии как исторической эпистемологии в англо-американской исторической традиции именно в связи с ее идентификационной функцией в таких изданиях, как *American Historical Review*, *History Workshop Journal*, *Past&Present*, *The Columbia Journal of Historiography*, *History in Focus*, *Rethinking History*, *Perspectives*, *Representations*, *Historical Reflections*, *Intellectual History Newsletter*, *Annales (Histoire, Sciences sociales)* и др.

Статьи и монографии последних 20 лет – в книге мы берем как «показательные» 1990-е-2006 годы, когда теоретические разработки постмодернистской критики и их преломление во всех областях культуры уже оказывали свое «деконструктивистски-разлагающее» действие – демонстрируют преобладание определенных сюжетов и подходов, причем, как при наличии явных общих черт, так и отличий. Так, в американской историографии сюжеты, связанные с поиском идентификации, деконструкцией механизма ее приобретения и анализом ее репрезентаций, доминируют в большей степени, чем, например, во франкоязычной исторической литературе. В последующих главах мы еще будем возвращаться к этим отличиям, пока же ограничимся ссылкой на социальный контекст, (например, в американской историографии история оказалась под большим давлением со стороны фактических социальных движений женщин, афро-американцев, индейцев, в то время как во Франции постмодерн в историографию пришел скорее от теории).

Причиной обращения к опыту зарубежных историков является не только теоретическая актуальность, возникающая при проникновении «западных влияний» в белорусскую историографию. Более того, мы убеждены, что анализ опыта зарубежных коллег не сможет помочь нам «избежать» постмодерн, антропологизацию или лингвистический поворот – он важен для нас скорее в плане осмысления тех тенденций, которые следуют за их принятием.

Подобные рассуждения, возможно, покажутся читателю безмерно далекими от «настоящей» истории, связанной с открытиями новых фактов и заполнением «белых пятен». Так же, как и проблемы американской или французской историографии могут казаться «слишком» теоретическими и эфемерными. Однако стремительное разрастание глобализации мира и его (пост)современного состояния, многие аспекты которых связаны с историей, требует своего осмысления и в Беларуси. Надеемся, что данная книга послужит этому.

Начиналась эта книга, когда я, сидя перед экраном компьютера и забаррикадившись безопасное (с точки зрения родителя, имеющего трехлетнего ребенка-пирата) место в доме своими книгами, стопками распечаток, записками, клочками бумаги, решила написать оду историографии как исторической эпистемологии. Почти трехлетняя работа над текстами англо- и франкоязычных историков укрепила меня в этом стремлении (ибо, как говорил Х.Уайт, где

нет «теории, там нет активного мышления», но потребовалось время, чтобы прийти к идее идентичности как центра, вокруг которого выстроены многочисленные направления в сегодняшней историографии.

Центральные проблемы:

- Показать разные «постмодернизмы» сегодня и их следствия в историческом сознании и знании.
- Проанализировать взаимосвязи, взаимозависимости, генеалогии разных дискурсов (пост)современности в историографии (лингвистический/дискурсивный поворот, антропологизация, культурный поворот, междисциплинарность и т.д.).
- Сделать историографию «видимой» (проанализировать, что значит для нее приставка «пост», выявить дискурс «эпистемологической истории» или «исторической эпистемологии», а также «истории идей»/интеллектуальной истории).
- Показать, что точкой референции для всего этого разнообразия проявлений постмодерна является понятие Другого/принадлежности/идентичности.
- Попытаться продемонстрировать перспективы для Беларуси.

И в заключение этого растянутого предисловия – слова благодарности моим близким, которые стойко переносят все тяготы сосуществования с мнящим себя Человеком пишущим, мирятся со свалкой в домашних условиях, терпеливо принимают эгоистические притязания и заносчивые высказывания и остаются верными вдохновителями, слушателями и советчиками. Спасибо Сергей, спасибо мама. И конечно, огромное спасибо моему бессменному наставнику Владимиру Никифоровичу Сидорцову: без его поддержки и советов эта книга не состоялась бы.

Я бы также хотела поблагодарить руководство исторического факультета Белгосуниверситета и всех коллег, которые принимали участие в обсуждении сюжетов рукописи и за их критику, и за их поддержку, а также Франсуа Артога (Высшая школа социальных исследований – Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales – EHESS, Париж), Мари-Элизабет Дюкро (Национальный центр научных исследований – Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS, Париж; EHESS), Фонд Дома наук о человеке (Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Париж) и всех тех, кто читал, соглашался и спорил.



## Часть 1. ПОСТМОДЕРН: НЕКОТОРЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ В ГУМАНИТАРНОМ СТАНЕ

### 1.1. Историография: романтика и прагматика

Можно заниматься весьма важными и ценными делами, не заботясь о теории, например, говорить и слушать, любить и ненавидеть, сражаться и мириться, получать удовольствие и причинять боль, -- но мышление не принадлежит к этому списку. Где нет теории, нет и активной мысли, а только одни впечатления.

*Hayden White, Figural Realism*

Исследования философами постмодерна и явлений сопряженной с ним глобализации стали законной частью научного поля конца XX – начала XXI вв. Интерес философов к осмыслению этих феноменов понятен и считается совершенно закономерным – это вроде бы их суверенная территория.

Но вот появляются «ренегаты»-историки, которые считают необходимым дать собственно историческую, или скорее философско-историческую, оценку происходящего и того, как этот деконструированный мир преломляется в истории (и в историографии). Нам могут возразить: философско-исторический анализ, во-первых, должен осуществляться членами своего цеха, а во-вторых, не больно-то модной сейчас в среде историков является философско-историческая рефлексия. Недоверие к метанарративу (марксистскому или «буржуазному» -- неважно), стремление к децентрализации и маргинализация истории – эти и многие другие «следствия» постмодернистской идеологии раздирают картину мира историка. Напрашиваются и третьи, и, может быть, десятки возражения. И все-таки, рискнем открыть свои позиции.

Мы можем говорить сколько угодно о конфликтах отцов и детей. И тем не менее, следует констатировать главное: и в нашей стране, и на Западе вот уже целое поколение интеллектуалов выросло с недоверием ко всякого рода глобальным теориям и попыткам объяснить устройство мира. Опыт «отцов», опыт «модернового» периода XX века, оставивший за собой насилие, террор, диктатуры, геноцид, трактуется как практическое наполнение именно таких теоретических «выкладок». «Дети» этого опыта настороженно относятся к универсальным объясняющим теориям – будь то теории об обществе или теории науки. На этой волне отовсюду слышатся «антропологические» призывы обращения к личному опыту, к феноменам повседневной жизни...

Подобные настроения не новы, они возникают всякий раз, когда проходит эпоха, связанная с попытками охватить целое, создать всеобъемлющую систему объяснений общества, культуры, истории и т.д. Как иронично заметил известный постмодернистский критик и писатель У.Эко: «По-видимому, каждая эпоха в свой час подходит к порогу кризиса, подобного описанному у Ницше в «Несвоевременных размышлениях», там, где говорится о вреде историзма. Прошлое давит, тяготит, шантажирует. Исторический авангард... хочет откеститься от прошлого. «Долой лунный свет!» -- футуристский лозунг – типичная программа любого авангарда; надо только заменять «лунный свет» любыми другими подходящими словесными блоками»<sup>5</sup>.

И все же, даже после стремительно вошедшей в нашу повседневность эры деконструктивизма и релятивистского сомнения, предмет теории истории, или историографии, или философии истории, или интеллектуальной истории (речь об уточнении/разъяснении этой терминологии пойдет в следующей главе) остается и даже приобретает новые черты актуальности. «Думать, что можно думать вне или без теории – иллюзия. ...Теоретический способ мышления – это попытка проблематизировать само соотношение между тем, что мы можем видеть... и тем, что мы можем думать об увиденном с преимущественной точки

<sup>5</sup> Эко У. Заметки на полях «Имени розы». – М.: Книжная палата, 1989, с.636

восприятия»<sup>6</sup>.

В положении неопределенности пребывают сегодня многие исследователи истории, столкнувшись с такими сравнительно новыми направлениями, как «интеллектуальная история», «история идей», а также всевозможными – вовсе не придавая этим терминам уничижительного характера – «эпистемологиями», «нарратологиями», «деконструктивизмами» и т.п. Кроме того, в западной исторической традиции термин «историография» закрепился не только и даже не столько за историей исторического познания вообще, сколько за такими сферами исследований, как философия истории или теория истории.

Следует отметить, что вплоть до середины XX в. как в немарксистской, так и в советской историографии вопросам определения проблематики, «демаркации границ» между историческими дисциплинами, разграничения и осмысления их исследовательских полей традиционно уделялось особое внимание. Вслед за Гегелем многие поколения философов, историков и историографов пытались нарисовать стройную картину соотношения различных областей знания об истории. Помимо собственно истории, занимающейся изучением прошлого человечества, так сказать, «прикладной истории», респектабельно отстоящей от всех философий, поскольку ее вотчина – «настоящее» дело, «реальная» история<sup>7</sup>, мы можем констатировать три основные сферы, с многообразными вариациями, в которые вписывались философско-исторические исследования:

1. Философия истории, исследующая онтологические аспекты, такие как общий смысл, направленность и закономерности исторического процесса – спекулятивная философия истории.
2. Наука об историческом познании, т.е. философия истории, ориентированная гносеологически, рассматривающая особенности, логику и методы исторического исследования -- критическая философия истории.
3. Историография как история исторической науки.

Следует отметить тот устойчивый интерес, с которым воспринимались проблемы классификации философско-исторической проблематики. Практически все крупнейшие мыслители двух последних столетий отметили себя в разработке тем по демаркации границ внутри философско-исторических дисциплин. Так, не без давления позитивистски настроенных исследователей, соотносивших философию истории с социологией – наукой о законах и принципах общественно-исторической жизни (О.Конт, Д.С.Милль, Г.Спенсер, Г.-Т.Бокль и др.), философы конца XIX – начала XX вв. рассматривали диалектику наличия спекулятивной и критической сфер в философии истории. При этом Г.Риккерт говорил о трех основных трактовках термина «философия истории» (всеобщая история, онтология и гносеология) и подчеркивал приоритет последней, а Г.Зиммель, рассматривая теоретико-познавательные проблемы исторического исследования в качестве главной сферы философии истории, практически исключал из нее онтологическую часть<sup>8</sup>.

С начала XX в. дискуссии вокруг комплекса «онтологический versus гносеологический» занимали особое место в исследованиях философов истории первой половины XX в. Э.Трельч, Н.Кареев, Л.Карсавин, Р.Коллингвуд считали вопрос об исследовательских полях философии истории делом первостепенной важности. «Гносеологическое» направление, делающее акцент на понимании философии истории как теории исторического познания и методологии

<sup>6</sup> White H. *Figural Realism. Studies in the Mimesis Effect*. Baltimore, London: The John Hopkins University Press, 1999, p.viii

<sup>7</sup> Со времен Геродота и Лукиана в ней доминировала вера в то, что история сама по себе состоит из живых историй, индивидуальных и коллективных, и что принципиальная задача историков – открыть и пересказать их, т.е. передать их в нарративной форме настоящему (ниже мы попытаемся раскрыть глобальные сомнения конца XX в. по поводу как самой реальности реальной истории, так и природы нарратива).

<sup>8</sup> См. Риккерт Г. *Философия жизни*. – Киев: Ника-центр, 1998, – 512 с.; Зиммель Г. *Проблемы философии истории* // Зиммель Г. *Избранное*. В 2-х тт./ Т.1. *Философия культуры*. – М.: Юристъ, 1996. – 671 с.



исторического исследования, усилило свои позиции в 60-80-е гг. XX века<sup>9</sup>.

С другой стороны, спекулятивная философия истории в целом во второй половине XX века дискредитировала себя в сознании многих историков. И марксистско-ленинская, и «буржуазные» версии философии истории показали несостоятельность политики составления моделей/схем исторического процесса. В результате исследования онтологических аспектов, некогда бывшие столь популярными, переживают сегодня не лучшие дни. Как отмечает Ф. Анкерсмит: «В период после второй мировой войны, исследовательский акцент сдвигается в сторону историографии и критической (т.е. «гносеологической» – О.Ш.) философии истории»<sup>10</sup>. И более того, по мнению многих авторов, отмечается «*сильный подъем историографии за счет критической философии истории*»<sup>11</sup> [курсив О.Ш.], что, пожалуй, действительно звучит как апология нашему намерению «замахнуться» на анализ некоторых проблем постмодернистской философии истории.

Тем не менее, растущий интерес к историографии все же касается совершенно иной историографии, отличной от той, к которой мы привыкли. Как обобщает тот же Ф. Анкерсмит, который посвятил этой смене акцентов и смешению понятий свою авторитетную монографию, «можно говорить о «новой» в противоположность «старой», традиционной историографии; различие между ними состоит в разном видении природы исторической реальности, исторических текстов и взаимоотношений между ними. Традиционная историография основана на том, что можно называть постулатом двойной прозрачности. Во-первых, исторический текст рассматривается таким образом, как если бы он был «прозрачен» по отношению к исторической реальности, которую он (текст) открывает. Во-вторых, исторический текст рассматривается как «прозрачный» по отношению к суждению историка относительно какой-либо части прошлого или, иными словами, по отношению к (историографическим) намерениям, с которыми историк писал текст. Согласно первому постулату прозрачности, текст позволяет нам видеть сквозь него прошлую реальность; согласно второму – текст является совершенно адекватным средством передачи историографических взглядов или намерений историка»<sup>12</sup>.

Взгляды новой историографии, разделяемые сегодня многими историками, возникли как закономерное продолжение целого переворота в сознании, который происходил (и происходит) на наших глазах. Это переворот, порою обобщенно называемый «постмодернистским», касается, прежде всего, разрушения веры в адекватность нашего представления о реальности: «Постмодернистская мысль пришла к заключению, что все, принимаемое за действительность, на самом деле есть не что иное, как *представление* [курсив О.Ш.] о ней, зависящее к тому же от точки зрения, которую выбирает наблюдатель, и смена которой ведет к кардинальному изменению самого представления»<sup>13</sup>.

Этот переворот сознания, как мы попытаемся здесь аргументировать, происходит благодаря так называемому «*лингвистическому повороту*»<sup>14</sup> (называемому порой «дискурсивным», «культурным» – в зависимости от критерия в основе его определения) – весьма размытому процессу, который несет самые разнообразные и, как казалось бы на первый взгляд, не связанные между собой явления. Мы замечаем их проявления и в повседневной культуре на уровне потребительского спроса, и в области «чистой философии». Знакомые сюжеты мировой культуры переводятся на язык постмодерна везде – в рекламе, кино, музыке, детских мультфильмах..., ощущается всеобщая интертекстуальность культуры, наполнение коннотативными элементами, скрытыми смыслами и аллюзиями, драматично развивается

<sup>9</sup> Русакова О.Ф. Философия и методология истории в XX веке: школы, проблемы, идеи. – Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2000, с.12

<sup>10</sup> F.R. Ankersmit. The reality effect in the writing of history; the dynamics of historiographical topology. Holland, Amsterdam, New York, Oxford, Tokyo: Noord-Hollandsche, 1989, p.5.

<sup>11</sup> Там же, с.6

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> Ильин, И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм / И.П. Ильин. – М.: Интрада, 1996 – с.230.

<sup>14</sup> О лингвистическом повороте см. ниже, глава 2

Интернет как поле, источник и следствие постмодернистского мышления, возводятся в культ «Матрицы», растет (или уже умирает как направление, но расширяется как дискурс) кибербанк и т.п.

Примеров – множество, и даже то, что мы всякий раз боимся показаться недостаточно ироничными и слишком «пафосными» – вновь возвращает нас к постмодерну, поставившему иронию в ранг методологии. Всепоглощающая ироничность постсовременного мира, страх показаться «всамделишным», пространство кавычек, открывающее путь в мир недосказанности и сказанности-обо-всем, интертекстуальности и иронии. Еще Ж.Деррида сформулировал так называемый закон кавычек: «Существует некий закон кавычек. Стоящие парами, они представляют собой своеобразную метафизическую стражу: на границе или у порога двери, ведущей в сокровищницу. Место кавычек всегда драматично, как и та роль, которую они играют в драме мира, в его театрализации или иллюзоризации: две пары колышек, удерживающих в подвешенном состоянии разновидность драпри, некую вуаль, некоторый занавес, нечто подобное покрывалу, не закрывающему, но лишь слегка приоткрывающему Бытие»<sup>15</sup>.

В случае Дерриды представление о кавычках носит онтологический характер: «кавычки обретаются, таким образом, в пространстве Бытия, того не-существования, которое характерно для мира человеческого не-существования мира *différance* («различие» -- О.Ш.). В мире не-существования, в мире *différance*, всё равно возможно и всё точно так же невозможно, следовательно, этот мир есть истинное пространство кавычек, остающееся лишь в преддверии Бытия, располагающееся между двумя сериями присутствий»<sup>16</sup>. Кроме того, кавычки имеют и другие коннотации: это и своеобразный «пароль» для тех, кто избегает пафосности модерна, одиозности метатеорий, понимает и принимает ироничность постсовременности, это и «маркер всего не-серьезного, не-значительного, не-вероятного — того, во что поэтому можно и не верить, воспринимая нечто в модусе “как если бы”<sup>17</sup>», это и обозначение отсылки к какому-либо источнику, некое подразумевание и соотнесение, делающее читателя и сообщником, и соавтором.

Я не случайно затрагиваю здесь тему иронии, активно звучащую сегодня. Это, казалось бы не соотносящееся с «серьезной» историографией «несерьезное» настроение, имеет самое прямое к ней отношение. Еще у Эко в «Заметках на полях “Имени розы”» находим: «Постмодернистская позиция напоминает мне положение человека, влюбленного в очень образованную женщину. Он понимает, что не может сказать ей "люблю тебя безумно", потому что понимает, что она понимает (а она понимает, что он понимает), что подобные фразы - прерогатива Лиала. Однако выход есть. Он должен сказать: "По выражению Лиала - люблю тебя безумно". При этом он избегает деланной простоты и прямо показывает ей, что не имеет возможности говорить по-простому; и тем не менее он доводит до ее сведения то, что собирался довести,- то есть что он любит ее, но что его любовь живет в эпоху утраченной простоты. Если женщина готова играть в ту же игру, она поймет, что объяснение в любви осталось объяснением в любви. Ни одному из собеседников простота не дается, оба выдерживают натиск прошлого, натиск всего до-них-сказанного, от которого уже никуда не денешься, оба сознательно и охотно вступают в игру иронии... И все-таки им удалось еще раз поговорить о любви»<sup>18</sup>.

Опасения показаться «слишком» (слишком серьезными, слишком пафосными, слишком надуманными и т.д.) приводит к тому, что в кавычки теперь можно поставить все, что угодно.

«Можно мне одно замечание по ходу? – говорит один из участников дискуссии о нашумевшей в России книге Ричарда Вортмана «Сценарии власти: миф и церемония в российской монархии» В. Живов, – Тут все время говорят о народе. Кто это? Крестьянство

<sup>15</sup> Derrida J. De l'esprit: Heidegger et la question. , p. 31. Цит. по: Гурко Е. Деконструкция: тексты и интерпретация. Минск: Экономпресс, 2001, с.315.

<sup>16</sup> Гурко Е. Деконструкция: тексты и интерпретация. Минск: Экономпресс, 2001, с.315-316

<sup>17</sup> Там же.

<sup>18</sup> Эко У. Заметки на полях «Имени розы», с.637

тоже все-таки неоднородная группа. ...Давайте хоть между собой не будем употреблять слово "народ" без кавычек»<sup>19</sup>.

И, да простят меня «серьезные» историки, в этом же ключе следует понимать и тот способ нарратива, а соответственно, и тип исторического исследования, характерного для современности, о котором говорил Х.Уайт в 70-е годы, создавая свою «Метаисторию». Так историк, согласно Х.Уайту, варьирует «сюжетопостроение» в зависимости от того, какова роль человека в мире:

- 1) роман;
- 2) трагедия;
- 3) комедия;
- 4) сатира<sup>20</sup>.

Кроме того, «сюжетопостроение» соотносится со стратегиями построения доказательств. Стратегия «формизма», например, ориентирована на выявление и классификацию уникального в истории; стратегия «органицизма» направлена на обнаружение преемственности в истории и анализ объединяющих их «идей»; «механицизм» -- ориентирован на поиск законов, обуславливающих ход истории; «контекстуализм» -- исходит от контекста, взаимосвязей, существующих внутри социокультурной среды<sup>21</sup>.

Не трудно догадаться, какие стратегии и типы «сюжетопостроения» были характерны для той или иной эпохи. Согласно Уайту, «формистами» были Гердер, Карлейль, Нибур, Тревельян; «органицисты» -- Ранке, Моммзен; «механицисты» -- Маркс, Бокль, Тэн; и наконец, к классическим «контекстуалистам» Уайт относит Якоба Буркхардта.

В один ряд с типами «сюжетопостроения» и стратегиями аргументации Уайт ставит и идеологическую ориентацию историка (анархизм, консерватизм, радикализм и либерализм).

И наконец, язык историка предопределяет его исследование. Историк, приступая к исследованию, «префигурирует» свое поле, используя следующие тропы: 1) метафора (явление характеризуется через сходство или аналогию); 2) метонимия (явление характеризуется посредством его признаков); 3) синекдоха (целое характеризуется через его главнейшее свойство); 4) ирония (текст утверждается, хотя на уровне подтекста он отрицается)<sup>22</sup>.

Таким образом исторический текст предстает по Уайту как бы в четырех измерениях: (1) тип сюжетопостроения; (2) стратегия построения доказательств; (3) идеологический подтекст; (4) типы троп/префигураций.

А теперь (внимание, мы наконец подошли к тому, ради чего был затеян целый экскурс в подвалы интеллектуальной истории – основной разговор о которой пойдет в следующих главах!) вернемся к первоначальному тезису: постмодернистская «чувствительность» существенно изменила наши представления о мире и даже сам стиль наших высказываний о нем. Ирония, продолжающая цепь ассоциаций «либерализм – контекстуализм – сатира», становится сегодня доминирующим настроением не только для литераторов, но и преобладает в историческом нарративе.

Уайт, рассказывая о формировании «своей» тропологии, не случайно признает влияние (привожу в его, сохраняя порядок оригинала): Д.Вико, Ф.Ницше, Кеннет Бёрк (особенно его *The Grammar of Motives*, Berkeley: University of California Press, 1969), Р.Якобсон, Э.Бенвенисте, Питер Бёрк, А.Блум, П. де Ман, Ж.Деррида, Б.Перельман, Ц.Тодоров, Р.Барт..., а затем, как ключевой момент для всякого, кто заинтересован в психологических основаниях тропологии, -- «Толкование сновидений» З.Фрейда. Здесь Фрейд перестраивает тропы в форме четырех механизмов, идентифицированных им как оператор трансформации мыслей-желаний в содержание сна: конденсация, замещение, символизация и вторичная ревизия.

Далее, не могу не привести здесь же следующую ассоциативную цепочку, которая хотя и

<sup>19</sup> Материалы Круглого стола «Как сделана история» // Новое литературное обозрение, 2002, № 56.

<sup>20</sup> White H. *Metahistory: the Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe*. Baltimore; London, 1973, p.8-9

<sup>21</sup> White H. *Metahistory: the Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe*, p.17-18.

<sup>22</sup> White H. *Literary theory and Historical Writing* // White H. *Figural realism, Studies in the Mimesis Effect*. Baltimore, London: The Jounn Hopkins Univesity Press, 1999, p.11

берет верх надо всяким чувством меры, но просто не может быть не включена именно сюда, в «историографическую» главу.

Если следовать Фрейд и представлять культуру в целом как проявление разнообразных форм запретов и табу, причем, как отмечает российский лингвист и психолог В.Руднев, запретов обсессивного характера, то выявляется почти знаковая для историографии ситуация противопоставления истерического и обсессивного дискурсов на протяжении последних двух столетий.

Так, проявлением навязчивости, обсессии считается скопление чисел, механическое повторение одних и тех же слов и предложений, педантическое перечисление предметов, имен и событий, остановка времени и превращение его из стрелы в цикл и т.д. И при этом, прибегая к авторитету В.Руднева (а он, в свою очередь, ссылается на В.Топорова), отметим, что число в архаическом коллективном сознании играло сходную роль с той, которую оно играет при обсессии, а именно роль наложения дискретного космогонического культурного кода, преодолевающего континуальный хаос изначального довербального хаотического мира (аналога понятия "реального" у Лакана). Отсюда следует, что прямым аналогом индивидуального обсессивного сознания является ритуально-мифологическое космогоническое сознание, которое играет также функцию невротической защиты от страха перед "желанием Другого" (в данном случае, конечно, архаического божества)<sup>23</sup>.

Общечеловеческое значение обсессивного дискурса находит отражение не только в архаических космогонических текстах и ритуально-мифологическом сознании, где имеет место темпоральная циклизация, остановка времени, направленная на борьбу с хаотическим энтропийным профанным временем тотального распада, но и, пожалуй, ярче всего в магических ритуалах повторений, заговоров, заклинаний, а в более развитой культурной традиции – молитвах, институте епитимьи и т.д.<sup>24</sup>

И теперь, как пишет В.Руднев, попробуем не бояться такого вывода и предположим, что феномен культуры в целом в чем-то фундаментально родственен обсессии. «Культура как система навязанных людьми самим себе запретов, несомненно, в определенном смысле функционально представляет собой огромную обессию, особенно если иметь в виду концепцию К. Леви-Строса, понимавшего культуру как наложение дискретного измерения на континуальную реальность именно так, как мы понимаем обессию, как некую навязчивую упорядоченность, цель которой избавиться от страха перед хаосом "реального". В этом смысле ритуально-мифологический космогенез, строящий циклически повторяющееся время, сакрализирующий природный астрономический цикл, превращая его в аграрный цикл, а этот последний в культ умирающего и воскресающего бога, из которого рождается современная христианская религия, — все это носит характер обсессивного макродискурса, обсессивной исторической драмы (термин св. Августина)»<sup>25</sup>.

При этом допущении культура может функционировать, если только в ней одновременно присутствуют не один, а два противоположных механизма, и тогда механизмом, противоположным обсессивному, является истерический. Так мы приходим к противопоставлению истерического и обсессивного начал в мировой культуре, причем обсессивное начало связывается с мужским, а истерическое с женским (впрочем, такая оппозиция не может считаться универсальной, поскольку еще в XIX в. исследования Шарко и Фрейда диагностировали истерию у мужчин). И все же, при всей условности этого противопоставления, мы можем найти широкие аналогии в мировой культуре, когда все континуальное, интуитивное, иррациональное обычно отождествляется с женским, и, напротив, все дискретное, рациональное — с мужским. Этому соответствует ряд универсальных мифологических противопоставлений, соотносимых с противопоставлением мужское/женское, таких как инь/ян, темное/светлое, правое/левое, истина/ложь, жизнь/смерть.

<sup>23</sup> Руднев В.П. Характеры и расстройства личности. Патография и метапсихология. – М.: Независимая фирма "Класс", 2002, с.63.

<sup>24</sup> Там же, с.66-67.

<sup>25</sup> Там же, с.68.



Обобщая, Руднев предполагает, что оппозиция женское/мужское, понимаемая как противопоставление обсессивного истерическому в широком смысле, накладывается на оппозицию природа/культура. Действительно, природное (естественное) начало традиционно считается по преимуществу женским, а культурное (искусственное) начало – мужским<sup>26</sup>. В дальнейшем обсессивное и истерическое начала в культуре вступают в нескончаемый диалог.

Естественно, мы не можем слишком его упрощать и прямо отождествлять оппозицию «обсессия/истерия» с противопоставлением закрытого тоталитарного сознания (ориентированного на ритуал и запрет) и демократического открытого сознания (ориентированного на спонтанность), однако соответствия напрашиваются весьма очевидные<sup>27</sup>. Кроме того, говоря об этой же оппозиции, нельзя не заметить ее проявление в противопоставлении во всей культуре XX века «репрессивного логического позитивизма и попустительского экзистенциализма, а также авторитарного структурализма и "делай-что-хочешь"-постмодернизма»<sup>28</sup>.

На мой взгляд, эта характеристика в целом включает и более частные проявления, в том числе и в историографических баталиях. Навязчивое, прямо-таки обсессивное, стремление к четкому определению исследовательских полей, попытки и неоднозначные трактовки содержания предмета историко-философского комплекса (разумеется, в рамках исторического материализма как единственно правильной опоры и для теории исторического познания, и для теории всемирно-исторического процесса) были весьма популярными в советской исторической науке вплоть до 1980-х гг. Тем не менее, пусть не вводят читателя в заблуждение ярлыки типа «обсессивный», применимые ко многим моментам советского прошлого (а также и «загнивавшего» в то время Запада). Мы нисколько не можем умалять значение работ таких авторов, как Ракитов А.И., Вайнштейн О.Л., Кон И.С., Гулыга А.В., Барг М.А., Лооне Э.Н., и многих других, имевшее колоссальное влияние на несколько поколений историков и философов бывшего СССР<sup>29</sup>. Критический анализ теоретического наследия «буржуазной» философии истории, осмысление проблем и методолого-логических процедур исторического познания, аксеология истории, анализ форм исторического знания – эти и многие другие сферы их исследований и по сию пору остаются актуальными.

---

<sup>26</sup> В данном случае я не рискую брать на себя ответственность продолжать или обосновывать бинарные оппозиции типа правое—левое, мужское—женское, старшее—младшее, хорошее—плохое, светлое—темное, домашнее—дикое, жизненное—смертельное и т.п. Ограничусь лишь отсылкой читателя к разнообразным источникам, посвященным тематике латерального символизма, а также к тому огромному корпусу феминистической литературы, которая касается данной проблемы: Клецина И.С. Гендерная социализация СПб., Изд-во РГПУ им.АИ.Герцена, 1998; Кон И.С. Ребенок и общество: Историко-этнографическая перспектива. М., Наука, 1988; Феминизм и гендерные исследования. Тверь, 1999; Жеребкина И. Прочти мое желание. Москва, Идея-Пресс, 2000; Dinnerstein D. The Mermaid and Minotaur: Sexual Arrangements and Human Malaise. New York: Harper Colophon Books, 1977; Chodorow N. The Reproduction of Mothering. Psychoanalysis and the Sociology of Gender. Berkeley: Univ. of California Press, 1978; Gilligan C. In a Different Voice. Psychological Theory and Women's Development. Cambridge (Mass.) and London: Harvard Univ.Press, 1982.

<sup>27</sup> Возможно, лучше всего об этом говорит сам В.Руднев, который приводя доводы «за» и «против», делает вывод: «Так или иначе, здесь, безусловно, речь идет о диалектике, а не о формальной логике».

<sup>28</sup> Руднев В. П. Характеры и расстройства личности. Патография и метапсихология, с.70.

<sup>29</sup> Барг М.А. Категории и методы исторической науки. – М., 1984. – 342 с.; Вайнштейн О.Л. Очерки развития буржуазной философии и методологии истории в XIX- XX вв. – Л.: Наука, 1979. – 270 с.; Губман Б.Л. Смысл истории: очерки современных западных концепций. – М.: Наука, 1991. – 189 с.; Гулыга А.В. Эстетика истории. М., 1977. – 128 с.; коллективные монографии «Философские проблемы исторической науки» / Отв.ред. А.В.Гулыга, Ю.А.Левада. – М., 1969; Философия и методология истории / Под ред. Кона И. С. -- М: Прогресс, 1977; Лооне Э.Н. Современная философия истории. –Таллинн: Изд-во Ээсти Раамат, 1980. – 293 с.; Могильницкий Б. О природе исторического познания. –Томск: Изд-во Томского ун-та, 1978. – 226 с.; Ракитов А.И. Историческое познание: системно-гнесеологический подход. -- М.: Политиздат, 1982. – 303 с.; Сыров В. Н. Социальное знание в поисках идентичности. Фундаментальные стратегии социогуманитарного знания в контексте развития современной науки и философии. Сб. научных статей по материалам Всероссийской конференции, проведенной философским факультетом Томского государственного университета 25-26 мая 1999 г. Томск: Водолей, 1999. 180 с.

Бурный рост интереса к онтологической проблематике философско-исторического комплекса начался в Советском Союзе, а после его распада и на постсоветском пространстве, в 1990-е гг. Быстрое распространение и публикации как зарубежных, так и отечественных авторов по темам, посвященным различным моделям и поиску смысла истории, направленности исторического процесса, не только удовлетворяли читательский спрос и интересы общества, стоящего на перепутье (пребывающего, впрочем, там по сию пору) и пытающегося осознать возможные пути своего развития, но и, как отмечают многие, способствовали укреплению позиций предмета философии истории.

1990-е гг. как в белорусской, так и в российской (а именно на нее традиционно ориентированы исследовательские позиции белорусских историков) историографии отмечены взлетом публикаций, направленных на осмысление общей картины историко-философских теорий. Нельзя не отметить монографии Гобозова И.А., Сырова В.Н., Дорошенко Н.М., Сидорцова В.Н., коллективные антологии «Философия истории» и «Очерк русской философии»<sup>30</sup>, а также издание трудов крупнейших зарубежных мыслителей XX в., таких как Э.Трельч, Б.Кроче, М.Вебер, А.Дж.Тойнби, М.Хайдеггер и др.<sup>31</sup>

Первоначально на волне «освоения западного наследия» возник и интерес к тематике постмодерна на постсоветском пространстве. Конечно, когда мы говорим об этом периоде, нельзя не отметить такой «пустяк», как собственно, существование самого феномена постмодерна, чтобы не выяснилось вдруг, как это случилось с мольеровским Журденом, что дескать, говорим-то мы прозой. Тем не менее, научный анализ постмодерна и его проявлений в среде философов и историков начинался на территории бывшего СССР именно с этой стадии.

Постмодерн как некое состояние, характеризующееся поначалу лишь едва улавливаемыми «флюидами» деперсонализации, фрагментации, дискретности, противопоставления «бытия-реальности» «представлению-о-бытие» в литературоведчески-искусствоведческой среде, поначалу не получил должного осмысления в кругах историков. Однако, поле культуры, отмеченное одним (а тем более целым комплексом) изменений, уже не остается тем же, чем было до этого.

И более того, растущие запросы в той или иной области культуры, вызывают ответные реакции в других областях. Вспомним нашумевшую в свое время работу А.Моля, считавшего, что стержнем культуры является социодинамика и корреляция всех ее явлений. То есть, если мы признаем, что идеи дискретности и кодирования информации изменили жизненный уклад человека (и обращение к футурологическим концепциям рисует в этом смысле совершенно «невозможный» мир будущего), то нельзя не отметить, что в сущности первыми, кто прочувствовал идею дискретности, были люди далекие от технической сферы – художники. Кубические картины П.Пикассо и Ж.Брака были в определенном смысле предвестниками компьютеризации общества, молекулярной биологии или генной инженерии<sup>32</sup>. И *vice versa*.

Естественно, что «постмодернистская чувствительность» не могла не найти отражение в

---

<sup>30</sup> Гобозов И.А. Введение в философию истории. М.: Теис, 1999. – 363 с.; Губман Б.Л. Смысл истории: очерки современных западных концепций. – М.: Наука, 1991. – 189 с.; Прядеин В.С. Историческая наука в условиях обновления: Философские основы, принципы познания, методы исследования (историографический анализ). Автореф. дис. ... доктора историч. наук. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 1996. – 39 с.; Философия истории. Антология. Под ред. Кимелева Ю.А. – М.: Аспект-Пресс, 1994. – 351 с.; Философия и методология истории. М., 1997; К новому пониманию человека в истории. Очерки развития современной западной исторической мысли. Отв. ред. Б.Г.Могильницкий. – Томск: Изд-во Томского университета, 1994. – 226 с.; Хвостова К.В., Финн В.К. Гносеологические и логические проблемы исторической науки. Учебное пособие для вузов. М., 1995; Сидорцов В.Н. Методология исторического исследования: механизм творчества историка. – Минск: БГУ, 2001. – 233 с.

<sup>31</sup> Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. – 805 с.; Тойнби А.Дж. Постижение истории / А.Дж.Тойнби / Пер. с англ., сост. А.П.Огурцов. – М.: Прогресс, 1991. – 608 с.; Трельч Э. Историзм и его проблемы. Логическая проблема философии истории. – М.: Юрист, 1994. – 719 с.; Кроче Б. Теория и история историографии. – М.: Языки русской культуры, 1998. – 192 с.; Хайдеггер М. Бытие и время. – М.: Республика, 1993. – 447 с.

<sup>32</sup> Моль А. Социодинамика культуры. – М.: Прогресс, 1973. – 404 с.



историографии. Под влиянием ли философов и литературоведов, под напором ли художественных, музыкальных, литературных образов, -- но «картина мира» историка тоже существенно изменилась. Такие тенденции, как антропологизация истории, новое понятие о «социальном», акцент на «опыте», поворот к микро-уровневым исследованиям, смещение исследовательских интересов с «центра власти» на ее «границы», осмысление и изучение «второй реальности», темпоральный релятивизм, так называемая «фрагментация» исторических исследований, проявляются не только в отдельно взятой дисциплине истории. Эти тенденции составляют сеть проявлений нового состояния мира, и историографы не могут рассматривать их в отрыве от общей картины постмодернистски-техногенно-виртуально-глобального комплекса.

Уже стало традиционным представление о том, что каждый историк – порождение своего времени. Более того, занимаясь историей именно в это время, мы естественно отдаем дань его «атмосфере». Задавая вопросы истории, мы даем на них ответы в той, так сказать, кодировке, которая понятна и воспринимается современниками. Тот же А.Моль, выступая уже в роли «провидца», говорил о грядущем 21 столетии как о «веке психологии», руководствуясь, в большей степени интуитивно, современным ему подъемом интереса к психологии и даже модой на нее. В самом деле, почему-то не припоминаются примеры успешных «предвидений» историками будущего, сколь авторитетно не заявляли бы представители нашего цеха о роли истории как об «учительнице жизни» и ее задаче на базе осмысления прошлого предвидеть будущее<sup>33</sup>, подобные попытки чаще оформляются в духе афоризмов «я знаю, что я ничего не знаю».

Именно поэтому в своих размышлениях о постмодернистски-вовлеченной истории попытаемся относиться к наблюдаемому «диалектически»: не имея возможности прогнозировать реального пути развития того или иного явления, все же необходимо осмыслить его с позиций нашего «сегодня», поскольку именно это и имеет решающую ценность для нас сейчас, и кроме того, влияет на развитие «завтра».

В этом смысле весьма полезными являются наблюдения такого сравнительно нового направления в историографии, как «виртуальная история»: поскольку то, что мы называем прошлым, когда-то было будущим, построение истории, которой не произошло (а последователи этого направления подчеркивают, что то, что произошло – будь то Английская революция, первая мировая война или холодная война – произошло по случайному стечению обстоятельств, хаотичному движению событий или взаимодействию личностей), помогает нам понять, что ощущали современники тех событий<sup>34</sup>. Их жизнь была наполнена равновероятными тенденциями, а пути, которые они принимали, далеко не всегда поддавались определению.

Так, современные историки почти «покровительственно» относятся к таким жанрам историописания, как анналы или хроники, поскольку они являются как бы «несовершенными» историями. Представители интеллектуальной истории (опираясь во многом на уже упоминавшегося здесь Х.Уайта) считают, что они – скорее лишь продукты концепций истории своего времени, полностью реализованным историческим дискурсом их современности. Более того, когда мы недоумеваем, почему древние авторы оставляли так много годов пустыми, не заполненными никакими событиями, ведь для современного исторического дискурса необходимыми условиям являются всеохватность, полнота, законченность, нельзя забывать, что для того времени, когда писались анналы, разумным и логичным было осознание, что записанные годы уже являются «охваченными», полными, законченными. Как бы «проговоренные», они уже обрели смысл, прошли «сакрализацию».

---

<sup>33</sup> Чувство сарказма владело автором передовой статьи «Вперед, к Геродоту», призывавшим к отказу от подобного догматизма, и мы в этом полностью с ним солидаризируемся. См.: Бойцов М.А. Вперед, к Геродоту // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. М., 1999.

<sup>34</sup> См. сборники, появившиеся в США практически одновременно: Virtual History: Alternatives and Counterfactuals. Ed. by N.Ferguson. – N.Y.: Basic Books, 1999; What If? The World's Foremost Military Historians Imagine What Might Have Been. Ed. by E.R.Cowley. – N.Y., 1999.

Рассматривая с этих позиций первый том *Monumenta Germaniae Historica* из серии *Scriptores*, Х.Уайт показывает, что эти анналы – даже список лет с короткими записями – сразу вводят нас в мир культуры, балансирующей на краю бездны, в общество постоянных недостатков, в мир человеческих групп, которым угрожают смерть, опустошение, потопа, голод. Все события – чрезвычайные, предельные, и подразумевается, что выбор их для увековечивания продиктован именно этой предельностью<sup>35</sup>. Так, когда современные комментаторы недоумевают, почему автор *Monumenta*, отмечая, что в 732 г. была битва при Пуатье, не упоминает, что в этом же году была битва при Туре, которая, как хрестоматийно знает каждый школьник, является одной из «десяти самых великих битв мировой истории», Уайт отсылает нас все к тому же – к сладкому плену «объективной реальности», в которой живем мы сами. В самом деле, ведь только мы знаем о последствиях этой битвы и поэтому судим о ее значительности, а автору анналов, если он о ней знал, она, видимо, не казалась значимой и достойной увековечивания<sup>36</sup>.

Итак, проблемы восприятия и передачи информации глубоко проникли в отрасль истории. И если, перефразируя Д.Ла Капра, историография в ее «западном» варианте уже давно переживает период той же ферментации, что и литературная критика, и философия, то историки Беларуси все еще тяготеют к декларированию своего «иммунитета» к «болезни постмодерна» с его снедающими сомнениями и рефлексивной напряженностью, которые проявились в других исследовательских областях<sup>37</sup>.

Такие дисциплины, как литературная критика и философия, уже приложили немало усилий для осмысления новых тенденций, связанных с постмодерном. Настолько много, что историография (как эпистемология истории) по сравнению с теорией литературы/литературной критикой кажется лишь «бедной родственницей»: и потому, нисколько не умаляя достоинства историков, мы стремимся здесь не столько их «сблизить», сколько «перевести» проблемы, поставленные литературоведением или философией на язык, близкий историку. Те же «семиотика», «дискурс», «новый историзм», которыми сегодня оперируют многие историки, возникли в среде литературной, а не исторической. В последующих главах мы коснемся проблем близости и дистанцирования истории и литературы, а вместе с ними – историографии и литературной критики, пока же, вслед за Д.Ла Капра осмелимся повторить, что наша задача-максимум – «помочь привести историографию к точке, с которой она была бы способна вступить в эти дебаты на равноправной основе, а не просто как хранитель фактов или неопозитивистская падчерица социологии, и безусловно не как мифологизированный локус для какого-либо додискурсивного образа «реальности», но с правом критического голоса среди дисциплин, рассматривающих проблемы понимания и объяснения»<sup>38</sup>.

Среди этих благих намерений не могу не упомянуть еще одно. Историография – это и замечательная возможность соприкоснуться с иным сознанием (и даже, возможно, подсознанием), почерпнуть его эмоциональное состояние, проникнуть в его лабораторию. Здесь же и волнующий элемент «узнавания», когда испытываешь чувство «родства» с чьими-то мыслями, когда, читая текст, понимаешь, осознаешь его скрытые смыслы, коннотации и реминисценции из других текстов. Здесь скрывается и эстетическое начало – именно интертекстуальность, свойство «узнавания» и «отсылок» к другим текстам, делает занятия историографией настоящим интеллектуальным приключением. Впрочем, это вполне отвечает сегодняшнему духу времени, когда постмодернистски-навеянные (что, естественно, предполагает и обратный процесс) фильмы, литературные произведения, живопись построены на постоянном участии зрителя/читателя/... в узнавании фрагментов, смонтированных по авторскому замыслу.

Эту «эстетику» историографии отмечали многие авторы, но применительно к дню сегодняшнему процитирую Д.Ла Капра: «В поисках убежища от особенно жесткого ветра и

<sup>35</sup> White H. *The Content of the Form. Narrative Discourse and Historical Representation*. – Baltimore, London: The John Hopkins University Press, 1987, p.7.

<sup>36</sup> *Ibid*, p.9.

<sup>37</sup> La Capra D. *History and Criticism*. – Ithaca and London: Cornell University Press, 1985, p.46.

<sup>38</sup> *Ibid*, p.10.

непогоды в Нью-Йорке, я обнаружил, что мои мысли вновь вернулись к теме, которая занимала меня в последние годы: положение в современной историографии. Метаисторический комментарий сам по себе может быть леденящим кровь делом. Это процесс двойной рефлексии, дважды удаленный от явного объекта исторического исследования – процесс, который еще больше создает видимость удаления непосредственного прошлого. Как может такое кажущееся нечеловеческим предприятие заставлять кого-либо читать чужие тексты самым искренне заинтересованным образом?... Но, листая страницы недавних исторических работ, я встречаю заявления, будоражащие мое любопытство, и конфигурации идей, которые бросают вызов моему пониманию»<sup>39</sup>. Разве не романтично? И все это – об историографии.

С романтикой или без нее, сегодня представляется проблематичной сама постановка проблемы о демаркации границ между такими дисциплинами, как философия истории, историография, теория исторического знания, эпистемология, методология истории, историософия, а теперь и интеллектуальная история или история идей. Ломая копыя в спорах о том, какие поля следует «отдать» каждой из этих дисциплин, мы зачастую забываем о двух главных моментах: (1) в силу разных значений, которые мы придаем этим терминам, оперирование одинаковыми «сигнификатами» не означает, что мы имеем в виду одни и те же «сигнифайеры»; (2) всякая демаркационная схема остается теоретической, поскольку является лишь очередной (и весьма субъективной<sup>40</sup>) «идеальной моделью», в то время как в реальности темы исследований философско-исторического комплекса будут пересекаться. Как указывал Ю.Лотман, «мы создаем некую модель, жесткую, которая сама себе равна, и она очень удобна для стилизаций, для исследовательских построений. Но в модели нельзя жить, нельзя жить в кинофильме, нельзя жить ни в одном из наших исследований. Они не для этого созданы. А жить можно только в том, что само себе не равно»<sup>41</sup>.

---

<sup>39</sup> Ibid, p.45.

<sup>40</sup> Вслед за Комманджером мы можем повторить, что выбор историка – «это продукт индивидуального опыта и личности исследователя». Цит.по Ракитову А.И. Историческое познание: системно-гносеологический подход, с.138.

<sup>41</sup> Лотман Ю.М. Город и время // Метафизика Петербурга: Петербургские чтения по теории, истории и философии культуры./ Отв.ред. Морева Л. – СПб.: ФКИЦ «Эйдос», 1993, с. 85.

## 1.2. Постмодерн: диагноз нашего времени?

Не вы объясняете философов, это *они* объясняют вас.  
You don't explain philosophers, but *they* explain you.  
*Barthes R. Mythologies. L., 1972, p.35*

Начиная свою статью-рецензию на книгу М.Липовецкого «Русский постмодернизм. Очерки исторической поэтики» (Екатеринбург, 1997), известный российский литературный критик К.Степанян приводит следующее высказывание, которое можно считать в определенном смысле «знаковым» для российской критики, теории литературы и философии: «"Постмодернизм" — словечко это настолько вошло в моду, что употреблять его, пожалуй, даже стыдно. Оно опошлилось, износилось, потеряло смысл. Но, к сожалению, никак не удастся его избежать»<sup>42</sup>. Многие, вслед за автором этого высказывания, считают своим «долгом» снисходительно покритиковать постмодернизм, «используют его в целях иронии или обличения», игнорируя подчас весь огромный комплекс проблем, которые оно подразумевает. Между тем, утверждает К.Степанян, даже «поверхностный взгляд на публикации большинства из тех, кто употребляет это «словечко» в нынешней критике, убеждает, что смысл его им вовсе неведом»<sup>43</sup>.

И если западная теория посвятила огромное количество специальных исследований феномену постмодерна и его теоретическому багажу – постмодернизму, то наша историография дает лишь несколько примеров философской, литературоведческой, исторической рефлексии постмодерна<sup>44</sup>. Среди них, тем не менее, следует особо выделить работы таких специалистов в этой области, как А.А.Грицанов, М.А.Можейко, Е. Гурко, В. Фурс, А.Р.Усманова и др., разрабатывающие проблемы интеллектуальных стратегий деконструкции, диалогизма и других теоретических моментов постмодерна. Нельзя не отметить таких обещающих авторов «новой волны», В.Акудович, И.Бобков, В.Булгаков, публикации в научно-популярных журналах Фрагменты, Архе и др.

Не остается постмодерн незамеченным и для белорусских историков: иногда с сарказмом, иногда иронично, но со временем все более серьезно освещаются его отдельные элементы в историографии (М.А.Соколова, С.Н.Ходин, В.И.Меньковский<sup>45</sup>).

Несколько богаче в этом смысле российский рынок: философской, теоретико-эстетической,

<sup>42</sup> Терещенко М. «Бедный Гамлет» в Мытищах // Независимая газета, 20 декабря 1997 года

<sup>43</sup> Степанян К. Постмодернизм – боль и забота наша.

<sup>44</sup> Постмодернизм. Энциклопедия. Под ред. А.Грицанова, М.Можейко. -- Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2001. – 1040 с.; От Я к Другому: проблемы социальной онтологии в постклассической философии – Минск: "ПроPILEI", 1998; Понимание и существование. Сборник докладов международного научного семинара. – Минск: Изд-во Европейского гуманитарного университета «ПроPILEI», 2000. – 137 с.; Гурко Е. Деконструкция: тексты и интерпретация. Деррида Ж. Оставь это имя (Постскриптум), Как избежать разговора: денегации. – Минск: Экономпресс, 2001. – 320 с.; Усманова А. Р. Умберто Эко: парадоксы интерпретации. – Минск: "ПроPILEI", 2000. – 200 с.; Фурс В. Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса. – Минск: Экономпресс, 2000 – 223 с.

<sup>45</sup> См. например, статьи: М.А. Сакалова. Агульняыя праблемы гістарычнай навукі у Беларусі: Да пытання пра значэнне змены парадыгмаў для гістарычных даследаванняў // Гістарычны Альманах, 2001, том 4; Ходзін, С. М. Гістарычная навукa і гістарычная адукацыя ў XXI стагоддзі: парадоксы развіцця // XXI век: актуальныя праблемы історычнай навукі. Мат-лы міжнарод. науч. конф., посвящ. 70-летию іст. фак. БГУ. Минск, 15-16 апреля 2004 г. – Минск: БГУ, 2004; монографію Меньковскага В.І. Власть і савецкае грамадства ў 1930-е гады: англо-амерыканская історыя праблемы. - Минск: БГУ, 2001, в которой он уделяет специальное внимание книге С. Коткина «Магнитка: Сталинизм как цивилизация» (Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley, 1995), рассматривающей сталинизм «не просто как сочетание институтов, персоналий и идеологии, а как совокупность властных символов, отношений, языка и новых форм речи, новых форм поведения в обществе и частной жизни, даже нового стиля одежды, т. е. всего, что дает возможность понять новую цивилизацию, называемую социализмом».

литературно-критической проблематике постмодерна посвящены монографии видного философа и литературоведа И.Ильина<sup>46</sup>, многочисленные статьи по постструктурализму и деконструктивизму, 1980-1990-е гг. С конца 1970-х гг. приступила к анализу широкого круга постмодернистски-ориентированных проблем виднейший критик Автономова Н. С.<sup>47</sup>

Освещение основных проблем постструктурализма и деконструктивизма легли в основу работы А.В.Гараджа «Критика метафизики в неоструктурализме (по работам Ж. Дерриды 80-х годов)» (М., 1989) и его статьи «А.Ж. Бодрийар» (Современная западная философия: Словарь. М., 1991). Кроме того, следует выделить монографии Г.К.Косикова «От структурализма к постструктурализму» (М., 1998), «Как думают историки» (М., 2001) и М. К.Рыклина «Террорологии» (Тарту; М., 1992). Сборник «Называть вещи своими именами» (М., 1986) и словарь «Современная западная философия» (Сост.: Малахов В. С., Филатов В. П. М., 1991) посвящены как критическому осмыслению, так и публикациям наследия виднейших представителей постмодернистской теории. Наконец, нельзя обойти вниманием совсем недавнюю работу М.Л.Макарова «Основы теории дискурса» (М.: ИТДГК «Гнозис», 2003 (2-е изд., впервые была опубликована в Твери в 1998 малым тиражом), посвященную анализу проблем общей теории дискурса, коммуникативной лингвистики, семантики и прагматики языка, психологии, социологии и т. п. Многочисленны публикации в России и «практического» преломления идей постмодернизма в истории. Переводы большинства «знаковых» работ западных исследователей Р.Барта, П.Бурдьё, К.Гирца, К.Гинзбурга, Н.Дэвис, Э.Саида, Х.Уайта, Ф.Анкерсмита<sup>48</sup> и др., постоянное обновление текстов в «Одиссее», «THESIS», «Социальной истории», «Казусе» и др. делают российского историка «подготовленным» к встрече с постмодерном<sup>49</sup>.

На фоне разнообразия аналитических работ в мировой историографии очевидно, что каким бы «примелькавшимся» термин «постмодернизм» не являлся, мы можем констатировать, что белорусский культурный дискурс обнаруживает серьезные пробелы в его освоении. Эти пробелы тем более заметны, когда мы обращаемся к собственно историографическому полю

---

46 Ильин И.П. Постструктурализм и диалог культур. М., 1989; Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М.: Интрада, 1996. – 255 с.; Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. – М.: Интрада, 1998. – 230 с.; Постмодернизм. Словарь терминов. – М.: ИНИОН РАН (отдел литературоведения), INTRADA, 2001. – 385 с.

47 Автономова, Н.С. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках. – М.: Наука, 1977. – 271 с.; Археология знания: Фуко. // Современная западная философия: Словарь. Сост.: Малахов В.С., Филатов В.П. – М.: Политиздат, 1991. – С.361-363.

48 См. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. — М.: Прогресс, 1989. – С.228.; Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2002. – 527 с.; Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб.: А-сэд, 1994. – 493 с.; Хайдеггер М. Бытие и время. – М.: Республика, 1993. – 447 с.; Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. ТОО ТК «Петрополис», 1998. – 432 с.; Гирц К. Польза разнообразия // THESIS: Теория и история экономических социальных институтов и систем. – 1993. – Т. I. Вып.3. – М., 1993. – С.168-184.; Саид Э.В. Ориентализм. Западные концепции Востока / Пер. с англ. А. Говорунова. – СПб.: Русский Мир, 2006. – 638 с. и др.

49 См. например: Город как социокультурное явление исторического процесса. – М.: Наука, 1995. – 352 с.; История ментальностей в Европе. Очерк по основным темам. История ментальностей, историческая антропология. Зарубежные исследования в образах и рефератах. – М.: РГГУ, 1996. – 255 с.; Женщина, брак, семья до начала нового времени: демографические и социокультурные аспекты. – М.: Наука, 1993. – 157 с.; К новому пониманию человека в истории. Очерки развития современной западной исторической мысли. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1994. – 226 с.; Культура и общество в Средние века и раннее Новое время. Методика и методология современных историко-антропологических и социокультурных исследований: Сб. аналит. и реф. обзоров / РАН. ИНИОН; Редкол.: А.Л. Ястребицкая (Отв. ред.) и др. – М.: ИНИОН, 1998. – 270 с.; Национальный эрос и культура. В 2-х тт. / Сост. Г.Д.Гачев, Л.Н.Титова.—М.: Ладомир, 2002. – Т.1.– 563 с.; Человек в кругу семьи. Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени. -- М.: РГГУ, 1996. – 326 с.; Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала Нового времени. Под ред. Л.П.Репиной. – М.: Круг, 2003. – 408 с.; Пушкирева Н. Женщины Древней Руси. -- М.: Мысль, 1989. – 286 с.; Репина Л.П. Женщины и мужчины в истории: новая картина европейского прошлого. Очерки. Хрестоматия. – М.: РОССПЭН, 2002. – 352 с.



изучения постмодерна, его проявлений в исторической мысли и культурно-исторических взаимодействиях. Белорусским историкам, видимо, еще предстоит сделать главные шаги в этом направлении (и будем надеяться, что данная работа послужит этому делу).

В целом, говоря об освоении современного «постструктуралистско-деконструктивистско-постмодернистского комплекса» белорусской (да и российской, несмотря на кажущееся ее изобилие) историографией, следует отметить довольно частую тенденцию использования «западной» (к слову сказать, почти и непереводающейся) терминологии, создания клише, наполняя их при этом «традиционным» смыслом (например, «история питания» понимается традиционно лишь как «этнический элемент», «культурная история» – как история культуры и т.п.<sup>50</sup>).

Кроме того, речь идет о том, что после развала «идеологически» смоделированной историографии мы часто ищем в образцах историографии Запада что-либо, что могло бы стать новой «объясняющей моделью», дало бы нам новое ощущение «тотальности», которое было безвозвратно утеряно (и не только для нас, «советских» людей, но и для жителей западного мира в силу новых условий существования, будь то «постмодерн», «глобализация», «симулякр»...). При этом, используя «их» означающие, мы наполняем «своим» смыслом. Моменты внешнего сходства между терминологией «постсоветских» исследователей и апологетов западного постмодернизма ограничиваются "первичной знаковостью" (в терминологии Ролана Барта). Различия проявляются, как правило, на втором знаковом уровне — на уровне сигнификаций, по отношению к которым "первичные знаки" играют роль означающего.

Процесс смещения смыслов в историографии нагляден на примере советского изобразительного искусства, когда в конце 1950-60-х гг. под влиянием нескольких выставок западного искусства, а также потока "coffee-table books" и заграничных журналов по искусству, советские художники вложили в это увиденное совсем несвойственное ему содержание. Результат оказался чем-то совершенно отчужденным от первоисточника как в плане интенций (авторское означаемое), так и сигнификаций<sup>51</sup>. Являлось ли «смещение смыслов» их слабостью? Или напротив, может быть, к произведениям советского модернизма следует относиться как к практике толкования толкований, необходимой для реконструкции "другого" на своем материале и самих себя на материале "другого"?

В проводимой параллели возникает и еще один сюжет: как и советские художники – модернисты 1960-х гг., мы зачастую получаем представление об актуальных проблемах, основываясь не на действительно радикальных инновациях, а на тех идеях и моделях, которые уже успели стать «магистральными» для западной историографии, частью «узаконенной» и – в конечном счете – одобренной культурой-у-власти<sup>52</sup>. Так ситуация кризиса в ходе крушения марксистско-ленинской концепции истории и образование ниши в историческом сознании людей, когда ощущение “тотальности”, целостности, незыблемости жизни сменилось неуверенностью в завтрашнем дне, привела к кратковременной моде на «цивилизационную модель». Не по злему умыслу, но в поисках «тотальных объяснений» или метатеории, мы избирали в качестве идола «Анналы», увлекались изучением психологических мотиваций в истории; позже на авансцену вышел «гендер», а сейчас, видимо, пришла пора постмодернизма.

---

<sup>50</sup> Для сравнения: исследователи историко-антропологической ориентации показывают, что “питание – фактор не только материальный, но и ментальный, так как зависит не только от климатических условий стран, уровня развития производительных сил и направленности хозяйственной деятельности в обществе, но и от всей совокупности представлений и ценностей (картины мира), свойственной его культуре, от культурных “кодов”, которые в свою очередь указывают на значимые ценности в бессознательных установках общества”. – Montanari M. *Der Hunger und Uberfluss: Kulturgeschichte der Ernährung in Europa*. Munchen, 1993. Цит. по: Арнаутова Ю.Е. Рецензия // *Одиссей. Человек в истории*. 1998. – М.: Наука, 1999, с.357.

<sup>51</sup> Тупицын В. *Коммунальный (пост)модернизм. Русское искусство второй половины XX века*. М.: "Ad Marginem", 1998, с.47.

<sup>52</sup> Там же, с.49.



И все же, что есть постмодерн или, точнее, что мы вкладываем в это понятие? Если мы рассматриваем постмодерн «вообще», то таких «вложений» оказывается поистине неисчислимо множество. Поскольку этот термин стал модным, под него теоретически можно подвести практически все современные жизненные проявления.

Прежде всего, следует сказать о том, что как бы коллеги-историки не желали «быть впереди планеты всей», постмодерн (и уж тем более не постмодернизм) не вышел из среды исторической. Определенные изменения в историографии стали скорее продуктом его влияния уже «post factum».

И все же даже и такое утверждение будет слишком «буквалистским». Наша мысль настойчиво возвращается к тезису о взаимосвязи всех явлений культуры (и в том числе, разумеется, историографии), пытаюсь обосновать свое отношение к культурным феноменам в целом, а не только к историографии. И вслед за авторитетным мнением Линн Хант, мы рассматриваем экономические и социальные отношения не как доминирующие над культурными, но как проявления культурной практики и культурного производства<sup>53</sup>.

Одна из серьезных проблем научного знания сегодня вообще и историографии в частности состоит в том, осмысление постмодерна является фрагментированным, замкнутым в отдельных дисциплинарных отсеках, и в *каждой* из дисциплин формируется *своя* концепция «своего» постмодерна, а следовательно, даже *свой постмодернизм*. Призывы к междисциплинарности оказываются действенными в таких сферах, как социальная история, культурная история, гендерная и устная история (причем на смену социологии приходит новый лидер – антропология, и ее методы и концепции оказываются эталоном для междисциплинарного знания), в то время как теория истории и историография продолжают «вариться в собственном соку».

Читатель, возможно уже обратил внимание на постоянно встречающееся в нашем тексте невольное смешение понятий «постмодерн» и «постмодернизм». Подчеркиваю, невольное, поскольку теоретически разница между ними, конечно, ясна: если первое понятие подразумевает ситуацию, которую (по разным причинам – о некоторых из них мы расскажем ниже) называют «постмодерном»; то второе – называет так концепцию, которая как раз и описывает вышеупомянутую ситуацию. «Путаница» возникает на практике, связанной с анализом симптомов обоих – и постмодерна, и постмодернизма. Можно придумать и такую аналогию: теоретически яйцо и яичница – разные вещи. А практически получается, что когда мы едим яичницу, то это и есть яйцо. Понятно, что наша «непоэтичная» аналогия к тому же и не совсем точна, ведь «яйцо» может быть сварено вкрутую, и тогда это уже не яичница. И все же принципиально для какого-то уровня рассказа все равно – едим ли мы яйцо или яичницу, а важен факт, что оба этих блюда – «из курицы».

Соответственно, когда мы говорим о проявлениях *постмодернистской мысли* в историографии, возникает необходимость обрисовать ее на фоне *ситуации*. Естественно, сделать это мы собираемся лишь в «общих чертах» (иначе говоря, обрисовать лишь те черты, которые нам интересны с нашей же, субъективной, точки зрения), да и не можем мы претендовать на полноту охвата всех проявлений постмодерна – подобный размах и вовсе не отвечает нашим, пусть и не слишком скромным, амбициям.

Ведь как выразился английский историограф Кейт Дженкинс, “сегодня мы живем внутри общей ситуации постмодерна. И это не подлежит нашему выбору. Потому что постмодерн это не “идеология” или позиция, которую мы можем выбирать; постмодерн – это наше условие существования, это наша судьба”<sup>54</sup>. Или наш «бич»?

Когда в Советском Союзе началась «перестройка», советские историки заговорили о кризисе в исторической науке. Дискуссии, разразившиеся тогда в «Вопросах истории», а затем в только появившемся «Одиссее», вылились в более-менее устоявшееся и даже набившееся

<sup>53</sup> Hunt L. Introduction // The New Cultural History. -- Berkeley, Los Angeles, London: 1989, p.7.

<sup>54</sup> Jenkins K. On “What is History”: From Carr and Elton to Rorty and White. London, New York: Routledge, 1999, p.6.

оскомину признание ценности наследия «Анналов» и принятие уклона «очеловечивания» истории (или, как модно говорить сегодня, «антропологического поворота»).

Сразу сделаем оговорку, что для белорусской историографии этот антропологический «крен» («антропологизация» истории как в плане выбора объектов исследования, так и в смысле заимствования подходов и методов антропологии; новое понятие «социального» и «культуры»<sup>55</sup>; акцент на «опыте» человека в истории; поворот к микро-уровневым исследованиям; смещение исследовательских интересов с «центра власти» на ее «границы», семиотическое измерение истории, темпоральный релятивизм и т.п. проявления), на который уже сетуют многие западные историки, мягко говоря, совсем не представляется «угрозой».

И для нас все еще актуальной представляется задача «перевода» истории на «человеческий» язык, поворот историков от абстрактных «народа», «экономики», «политики», «национального самосознания» и т.д. к индивидуальному, психологическому, возрастному, гендерному и др. измерениям этого самого «народа», к разнообразию складов его жизни внутри «экономики» и «политики». Кстати, от такого поворота и вклад историков в разработку концепции «национального самосознания», в дальнейшую демократизацию общества станет весомей – ведь историческое сознание, воспитанное на признании мультикультурной и многонаправленной истории, или даже «историй», является неотъемлемой составляющей общего гражданского воспитания.

Те черты, которые мы перечислили, вроде бы свидетельствует о положительных оценках «антропологического поворота». Однако какие угрозы видят в некоторых его последствиях уже всю хлебнувшие его западные историки?

Анализ зарубежного, и в частности, англо-американского, материала открывает возможности для разных ответов. Не столько потому, что они помогут нам «избежать» постмодерн, антропологизацию или лингвистический поворот, а скорее в плане осмысления тех тенденций, которые следуют за их принятием. Белорусская историография уже стоит на пути начала лингвистического поворота, антропологизации, семиотизации и других проявлений ситуации постмодерна – даже если находятся исследователи, это отрицающие. Вторая половина XX века – именно в это время происходят значительные сдвиги в культурной, социальной, экономической и политической жизни, оказавшие сильнейшее влияние на развитие историографии и давшие начало, по определению большинства исследователей, явлению постмодерна и постмодернизму как его концепции. Постмодерн – это объективная данность, от него «можно отвернуться, но нельзя увернуться», и связан он с процессами демократизации и глобализации, включающими все большее число населения в науку, образование, социально-политическую сферу, с ростом информационного обмена, необходимостью осмысления человека в истории и т.д.

При анализе опыта англо-американских историков, которые не только давно двигаются в этом направлении, но и сделали его доминирующим в своих исследованиях, ярлык «отрицательных» обычно получают такие составляющие постмодерна, как фрагментация исследований, «поверхностность», уклон в сторону нарратива и потеря «общего», потеря веса «объяснения» за счет «описания», повальное увлечение «новомодными» эпистемами, дискурсами, гендерами без внутреннего принятия их в качестве исследовательских стратегий.

На фоне этих «минусов» вернемся к прозвучавшей в начале наших размышлений ноте воспоминания о кризисе. В атмосфере 1990-2000-х вновь повеяло «кризисом». Теперь говорят, что он связан с постмодернизмом, а точнее с теми вызовами, которые бросает истории постструктуралистская составляющая постмодернизма, -- при этом зачастую забывая о том, что проявлениями этого самого постмодерна являются не только «лингвистический поворот», но и антропологическая составляющая современной историографии, (кстати, во всем мире воспринимаемая как уже устоявшаяся норма), и они не должны рассматриваться обособленно, поскольку имеют общие корни, связи и следствия.

---

<sup>55</sup> В самом широком смысле, новое понимание «культуры» рассматривает ее как многообразие символических смыслов, оставляемых людьми в процессе их деятельности (символическое и материальное производство и организацию слов, жестов, образов, звуков и т.д.).

«Постмодернистская мысль пришла к заключению, что все, принимаемое за действительность, на самом деле есть не что иное, как *представление* (курсив О.Ш.) о ней, зависящее к тому же от точки зрения, которую выбирает наблюдатель, и смена которой ведет к кардинальному изменению самого представления»<sup>56</sup>.

Хотя «модная» эйфория в отношении постмодерна в Беларуси уже проходит, определенная путаница, смешение его идей, периодов и жанров остается: постструктуралистские идеи объявляются структуралистскими, а классики структурализма зачастую получают ярлык «постмодернистов»... Следует признать, что в силу своей неопределенности и многослойности границы постмодернизма действительно весьма размыты. Некоторые определяют в нем два главных периода: структуралистский и постструктуралистский (Э.Брейзах); другие полагают его еще одним маньеризмом, считая, что «у любой эпохи есть собственный постмодернизм, так же как у любой эпохи есть собственный маньеризм» (У.Эко, Д.Лодж, Д.Келли); третьи склонны к определенной редукции, усечению сфер влияния постмодернизма, мотивируя это невозможностью его исследовать (Т.Иглтон). В целом, *«постмодерн – стиль мысли, проявляющий подозрительность по отношению к классическому пониманию истины, разума, идентичности и объективности, идеи универсального прогресса или освобождения, единым схемам, великим нарративам или конечным объяснениям. В противоположность этим нормам Просвещения, постмодерн видит мир в форме случайностей, необусловленностей, разнообразия, нестабильности, набора различных культур или интерпретаций, которые возвращают скептицизм относительно объективности истины, истории и норм, данности природы и ясности идентичности»* (курсив О.Ш.)<sup>57</sup>.

Такое определение постмодерна «опускает подробности», но объединяет самые общие черты, что действительно имеет смысл, создавая удобство для его осмысления. В то время, когда многие склонны причислять к постмодерну практически всё, и изощренного Бодрийара, и «Матрицу», и Интернет, Иглтон выделяет в своем определении самое главное. Хотя и здесь требуется оговорка: то, что Иглтон «опускает», все же вытекает или сложными узлами связано с постмодерном. И вполне возможно, что историки будущего будут называть нас современниками «эпохи постмодерна» (нисколько не считаясь с нашим нынешним мнением на сей счет), так же как современные историки оперируют словами «эпоха Просвещения», «Ренессанс», «Новое время»... «Постмодерн» в этом смысле ничем не хуже, отграничивая некий исторический отрезок и имея определенные смысловые «коннотации», «аллюзии» или просто доминирующие идеи и настроения.

Можно повторить ставшее уже расхожей истиной мнение о том, что в принципе термин «постмодерн» возникает как осознание «непохожести» второй половины и особенно последних десятилетий XX века на предыдущие годы. Все те новые явления, многие из них еще не носят окончательно оформленного характера, и все-таки их «новизна» дает основание говорить об особом периоде новейшей истории – именно поэтому некоторые авторы склонны считать постмодерн неким буферным состоянием, ожидая, что же из него получится «после»?

С другой стороны, «постмодерн» и номинально, своим названием, и фундаментально, теоретически, соотносится с эрой так называемого «модерна», от которого он, хотя и отгородился приставкой «пост», но обязан ему основным набором идей и концепций. И если культура модерна предполагала веру в прогресс (и на этом основании осуществлялось разделение народов и цивилизаций на «развитые» и «отсталые»), свободную от всякой этики науку (и сейчас мы столкнулись с последствиями такой свободы), представительную демократию, демократические свободы личности и гражданское право (в двух главных экспериментальных вариациях – либеральном рыночном капитализме и социалистической версии марксизма), реализм в области искусства (и соответственно, видение цели искусства в правдивом отображении действительности), -- то эра постмодерна не только ставит эти ценности под сомнение, но и возводит на их критике фундамент нового знания.

<sup>55</sup> Brooke-Rose Chr. The dissolution of character in the novel. Цит. по: Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм, с.230.

<sup>57</sup> Eagleton T. The Illusions of Postmodernism. – Oxford: Basil Blackwell Publisher, 1996, p.vii.

Во второй половине XX в. на философов и историков обрушилась лавина знаний и фактов, пришедших из различных областей естественных наук и не вписывавшихся в традиционные схемы. Развитие лингвистики и теории информации приоткрыло новые горизонты в осмыслении природы познания. Распад колониальной системы представил «цивилизованному» миру иные пути развития, расходящиеся с европоцентристской моделью... Эти и многие другие факторы стали определяющими для развития постмодернистского сознания.

Для понимания тех перемен, которое оно несет, действительно важен, уже утративший эффект «новизны» среди наших историков и, соответственно, все менее популярный, избитый, но далеко не избытый, антропологический поворот.

...Потому что он действительно несет в себе демократизацию, без которой невозможно выполнение историей своей извечной воспитательной миссии. Терпимость и демократическое мышление, осознание многовариантности путей развития усваивается со школьного возраста (и/или еще раньше) – и такое воспитание возможно на основе антропологически ориентированной истории, дающей полифоничную картину прошлого.

С другой стороны, практически все исследователи отмечают (можно вновь сослаться на авторитет Линн Хант, а также Джойс Эпплбай, Артура Марвика, Эрика Хобсбаума), что как сама антропологизация стала следствием демократизации общества, в то же время, без нее не было бы демократизации общества. И не случайно, ведь историческое сознание является важнейшей составной частью общественного сознания. 1960-е годы – этот период выделен историографией как начало антропологического поворота – были отмечены широкими движениями, перевернувшими привычную картину мира людей: движение «новых левых», борьба за права афро-американцев (Мартин Лютер Кинг, «черные пантеры» и др.), пацифистские демонстрации (например, против войны во Вьетнаме), выступления студентов (Сорбонна, май 1968), движение хиппи и "детей-цветов", сексуальная революция, рост феминизма и др.<sup>58</sup>

Мы не располагаем возможностью, чтобы подробно рассмотреть здесь эти события и процессы, связанные с демократизацией общества. Отметим главное: такая демократизация не могла не поставить перед историками проблемы: историческое сознание, сформированное в условиях «моно»-видения, когда в истории не звучали «голоса» черных, женщин, национальных меньшинств, когда история «народа» была представлена социально-структурным, макро-измерением, нуждалось в пересмотре. Афро-американцы поставили перед историками проблемы изучения своих корней как необходимого звена идентификации. Феминистские авторы начали «женские исследования», во многом уже трансформировавшиеся сегодня в гендерные, и снова вокруг проблемы идентичности – социальной, классовой, расовой, этнической.

Вновь и вновь обращаясь к *идентичности* как стержневому вопросу истории, и тому гипертрофированному вниманию, которое уделяется ей (пост)современностью, попробуем дать ее определение. В самом деле, несмотря на очевидно частое употребление этого термина и в средствах массовой информации, и в литературе, и в историографии, содержание его колеблется в зависимости от «точки отсчета»: психологические науки, логика и пост-классические философские системы «наполняют» его по-разному<sup>59</sup>; в то время как

<sup>58</sup> См. Marwick A. The Sixties. Cultural Revolution in Britain, France, Italy and the United State, c.1958-c.1974. – Oxford, N.Y.: Oxford University Press, 1998. – 903 p.; Hobsbawm E. The Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914-1991. – London: Abacus, 1994. – 627 p.; Appleby J., Hunt L., Jacob M. Telling the Truth About History. – New York, London: W.W. Norton and Company, 1994. – 176 p.; Cauter D. 1968 dans le monde. – Paris, Edition Robert Lafont, 1988. – 445 p.

<sup>59</sup> Мы отошлем читателя к специальным обобщающим работам по этой теме. См., например: по философскому содержанию идентичности В.Л.Абушенко. Идентичность. В кн.: История философии: Энциклопедия. — Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2002. – С.382-387; по культурологическому В. Г. Николаев. Идентичность. В кн.: Культурология. XX век. Энциклопедия в 2-х тт. Под ред.С.Я.Левит. – СПб.: Университетская книга, 1998; социальное – Заковоротная М.В. Идентичность человека. – Ростов н/Д: Изд-во СКВЦ ВШ, 1999. – 199 с.; Андреева Г.М. Социальная психология (раздел IV: Социально-психологические проблемы исследования личности. – М.: Аспект-Пресс, 1999. -- Раздел IV. -- С.263-318.



историческая мысль так же специфично осваивает их интерпретации в преломлении к историческим явлениям. Так, философия ставит проблемы тождества, различия, «самости», коммуникативного и символического аспектов идентичности, а в сегодняшнем контексте – особенное внимание уделяется ею «сконструированности», определению себя через «Другого». Эти последние черты находят свое воплощение в дискурсе этно-национальных и постколониальных исследований, о которых мы будем говорить особо в части «Культурный поворот» в историографии: дискурсивный и антропологический перекрестки (параграф 3.3.).

Психологически-ориентированное понимание идентичности в истории восходит к работам Э.Г.Эриксона, который писал о «психосоциальной идентичности», постоянном стремлении человека быть во внутреннем и внешнем «тождестве» и восьми кризисах идентичности, преодолеваемых каждым человеком в любую историческую эпоху<sup>60</sup>.

Употребляя термин «идентичность» в нашем исследовании, мы подразумеваем более широкое его определение – как постоянный процесс самоопределения («Я» личности), который (1) невозможен без поиска и осознания себя частью какой-либо социальной общности; (2) связан с определением и переопределением принадлежности и различия в терминах «мы» / «они», референциальности (определение себя через «Другого»), включением/исключением; (3) имеет необходимость преемственности, протяженности, и следовательно, создания своего нарратива – истории.

Однако вернемся к началам осмысления проблем, связанных с идентичностью, в историографии. Их активная разработка поставила перед историей проблемы: какой должна быть история? Историей структур? Историей без людей? Историей экономики, политики, государства, классов? Какую историю имеют те, кто начал поиски своей идентичности в связи с распадом колониальной системы или с преодолением маскулинной модели культуры?

...Именно в этот момент историографии начинается антропологизация истории – как поворот к человеку, с одной стороны, и использование наработок антропологии, с другой... Возникают история повседневности, устная история, гендерная история и т.д., предоставляющие возможность видеть прошлое в многообразии его составляющих.

За десятилетия, прошедшие после второй мировой войны, старый интеллектуальный абсолютизм был развенчан: наука, научная история и история на службе национальных интересов. На их месте... послевоенное поколение построило социологию знания, рассказы о разных людях, истории, основанные на групповой или гендерной идентичности. Женщины, меньшинства и рабочий люд населил американскую и западную историю, где раньше безраздельно правили герои, гении и государственные мужи...<sup>61</sup>.

Соответственно, мы не можем говорить о «заимствовании» или «незаимствовании» белорусской историографией антропологического или лингвистического «поворотов». Процессы, взаимодействующие в обществе и сливающиеся в постмодернистском со-знании, неминуемо поставят или уже ставят вопросы перед белорусскими историками, на специфической «белорусско-постсоветской» растёт «свой» постмодерн со своими «вызовами» и вариантами «ответов».

Вопросы, встающие сейчас перед нами: нужна ли людям история, и если нужна, то чья история и для какой цели? Является ли история искусством или наукой? История всегда в каком-то смысле пропаганда? Может ли история претендовать на объективность? Раньше ответы на эти вопросы казались очевидными, однако в наши дни они утратили свою изначальную простоту и очевидность. По крайней мере, совершенно ясно одно: вряд ли когда-либо история была таким объектом противоречий.

То, что кажется очевидным американским исследовательницам Дж.Эпплбай и Л.Хант, далеко не так просто для нас: им представляется аксиоматичным, что в постсоветском мире люди, как сбрасывали с пьедестала статуи Ленина, так же выбросили учебники и преподавателей истории как безнадежно «отравленных» марксистской идеологией. Но так ли

<sup>60</sup> См. Erikson E.H. Identity and the Life Cycle. N.Y., 1959; Шутова О.М. Психоистория: школа и методы. Минск: Веды, 1997. – 176 с.

<sup>61</sup> Joyce Appleby, Lynn Hunt, Margaret Jacob. Telling the Truth About History, p.4.

это на самом деле? Учебники-то, конечно, новые (хотя и это довольно спорный вопрос – кандидатский минимум по философии по-прежнему готовят, опираясь на учебные пособия еще советских времен), но позиции, на которых строится большинство из них, отвечает структуре исторического знания и подходам, характерным для советской эпохи. Стоит задуматься о том, что даже в Японии, как пишут Эпплбай и Хант, где государство резервировало для себя право на публикацию школьных учебников, историки выигрывали судебные дела, защищая принцип, по которому книги должны содержать правду, а не то, что удовлетворяет людей<sup>62</sup>.

Те же авторы описывают ситуацию, связанную с тем, что в США проблема ревизии школьных учебников была поставлена уже в 1960-е гг. Впоследствии, когда новые стандарты для начального, среднего и высшего образования, включавшие инновации по истории женщин, афро-американцев, иммигрантов, рабочих, были введены, поднялась волна критики, обвинявшей реформаторов в попытке «искусственно преувеличить вклад меньшинств в угоду их чувств и возвышения в собственных глазах, и все это – за счет неделимости и общего чувства национальной идентичности»<sup>63</sup>. Аналогии с подобными мнениями о «надуманности» гендерной истории или устной истории в белорусском историческом дискурсе возникают сами собой. Соответственно, к нашему списку вопросов к истории, связанных с наступлением постмодерна, нужно добавить и те, которые могут возникнуть как его последствия: например, должна ли история переписываться всякий раз, когда речь идет о развенчании старых стереотипов? Или, напротив, она обязана находится «вне» и «над» пертурбациями текущей социальной действительности?

В философском измерении настроения постмодерна набрали силу еще в конце мятежных 1960-х, когда на стенах Сорбонны появились надписи «Структуры не шагают по улицам», «Забудьте все, что вы выучили, -- начинайте с мечты». Как пишет Г.Кнабе, «из бушевавшего там в те дни вихря страстей и мыслей и предстояло через несколько лет родиться мироощущению постмодерна»<sup>64</sup>. «Бунтующие» профессора и студенты, ныне считающиеся идейными лидерами постмодерна, в своем отрицании буржуазного порядка осуждали в целом такие понятия, как организация, упорядоченность, система; воспринимая как аксиому положение, согласно которому хаос, вообще все неоформленное, не ставшее, более плодотворны и человечны, нежели структура<sup>65</sup>.

Соответственно провозглашаемый сегодня многими идеологами от истории «мультикультуализм» (и знакомый нам «плюрализм»), берет начало именно здесь, фактически расходуя доктрину одного из главных идеологов постмодерна М.Фуко «предпочитать то, что дано непосредственно в своем многообразии, предпочитать различия единообразию, предпочитать то, что течет, тому, что едино, мгновенные сочетания – системам»<sup>66</sup>.

Собственно, в приведенной цитате мы узнаем тот самый призыв, который составил основной фон и в историографической ситуации во второй половине XX в. Все большее число историков как на Западе, так и на просторах бывшего СССР увлекаются поисками индивидуального и особенного в истории, воспевая полифонию, создавая не Историю, а истории, децентрированные и фрагментарные.

Вместе с этим, необходимо отметить и тенденцию полного отказа от «универсалистских» схем исторического процесса, разочарование в возможности создания глобальных объяснений в истории. Постмодернистские взгляды на «конец истории» скорее можно было бы охарактеризовать как конец модернистских толкований истории, связанных с телеологическим по своей сущности представлением о «заданности» истории как постепенного

<sup>62</sup> Ibid, p.5.

<sup>63</sup> Ibid, p.6.

<sup>64</sup> Les murs ont la parole: Journal mural mai 1968: Sorbon; Odeon ; Nanterre etc : Citations recueillies par Julien Besancon. Paris, 1968; Цит. по Кнабе Г. Принцип индивидуальности и альтернативный ему образ философии//Русский журнал, 1999. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.russ.ru:8081/edu/99-05-24/knabe.htm#50> . Дата доступа: 18.05.2006.

<sup>65</sup> Там же, с.1.

<sup>66</sup> The Foucault Reader. Ed. By P.Rabinow. – New York: Pantheon, 1984. – P.XIII



неуклонного поступательного движения от низших форм к высшим. Идеологи же постмодерна видят в истории движение без цели (“movement without the aim”), движение, имеющее ценность само по себе.

Постмодернизм характерен этой своей оппозицией “универсализации” истории. Под влиянием постмодернизма идея об историческом прогрессе, который сопровождает человечество с древнейших времен (через первобытность, рабовладение, феодализм, капитализм, памятные нам социализм и коммунизм), так сильно укоренившаяся в исторических кругах постсоветского пространства, даже без своей идеологической подоплеки, становится архаичной. В связи с этим меняется представление и о смысле истории – и как процесса, и как области познания.

Ситуация постмодерна привносит и существенные изменения в традиционный смысл термина “историзм”, ставшего уже в XIX веке неотъемлемой частью исторического сознания. Во второй половине XX века историзм проходит значительные изменения, связанные с кризисом его основных составляющих – интенциональностью, уверенностью в историческом смысле и прогрессе человечества, а также верой в то, что описываемое историком и есть та историческая реальность, которая имела место “на самом деле”. В настоящее время историзм преобразуется в “новый”, где от традиционного понимания осталось лишь “представление о первостепенной важности исторического контекста в интерпретации всех видов текстов”<sup>67</sup>. Ниже мы вернемся к этому явлению в отдельном параграфе, пока же отметим, что с принятием «нового историзма» историками уходит главное, что никогда не вызывало у них сомнений, собственно то, на чем основывался историзм – убежденность в том, что объект и результат исследования историка совпадают, а историческая действительность и есть то, что описывает историк.

Примерно в 60-е гг. прошлого столетия широкое распространение получила идея о том, что историк “всегда является узником мира, внутри которого он мыслит, и его мысли и восприятие обусловлены категориями языка, которым он оперирует”<sup>68</sup>. Постмодернизм бросил своеобразный вызов и историзму, и нарративизму. “Идея о том, что объективность в историческом исследовании невозможна, потому что не существует самого объекта истории”<sup>69</sup>, повлекла за собой не только кризис историзма, традиционно постулировавшего обратное, но и переоценку устоявшихся ценностей и концепций.

С приходом постмодернистского влияния в историографии постепенно утверждаются новые подходы к историческому исследованию и новые смыслы “историзма”.

Так многие авторы прямо заявляют, что изучение истории не дает нам возможности видеть ее как постоянный или закономерный процесс; он не имеет ни начала, ни конца, ни направления, ни определенного смысла. Исторический смысл, считают сегодня многие, “инновационно порождается, постоянно создается субъектами исторической жизни; историческая деятельность субъектов различных формаций не изменяет заданного или тем более предопределенного характера и в своем смыслопроизводящем аспекте является во многом недетерминированной и открытой; исторический смысл просто совпадает с историческим существованием”<sup>70</sup>.

Рождается “открытая” концепция, концепция “отсутствия” концепции. Не случайно в историософских представлениях современных западных исследователей преобладает концепция прерывности и разнонаправленности исторического процесса.

У одного из самых крупных авторитетов идеи деконструкции истории вообще и ниспровержения традиционных представлений об историческом процессе как об эволюции, обусловленной социально-экономическими трансформациями, в частности, М.Фуко, история –

<sup>67</sup> Hamilton P. *Historicism*. – London, New York: Routledge, 1996, p.3: автор цитирует здесь знаменитую формулу Луи Монроза.

<sup>68</sup> Ibid., p.9.

<sup>69</sup> Ibid., p.10.

<sup>70</sup> Кимелев Ю.А. *Философия истории. Системно-исторический очерк // Философия истории*. – М.: Аспект Пресс, 1995, с.7.

это сфера действия сил бессознательного, хаотичного, скачкообразного накопления знаний и изменений дискурса. В своей статье «Ницше, генеалогия, история» Фуко писал: «Традиционные средства конструирования всеобъемлющего взгляда на историю и воссоздания прошлого как спокойного и непрерывного развития должны быть подвергнуты систематическому демонтажу... История становится «эффективной» лишь в той степени, в какой она внедряет идею разрыва в само наше существование...»<sup>71</sup>.

Так, ключевым понятием в интерпретации истории, по Фуко, становится ее прерывистый, дискретный характер, ее «дисконтинуитеты», которые наблюдаются и осознаются современниками как отсутствие закономерности. В результате история выступает у Фуко как поле действия бессознательных сил, носящих интертекстуальный характер. Тем не менее, Фуко подразумевает наличие некоего глобального принципа организации всех проявлений человеческой жизни — некоей «структуры прежде всех других структур», по законам которой образуются, «конституируются» и функционируют все остальные структуры (и пресловутые социально-экономические, и политические, властные отношения). Исходя из концепции языкового характера мышления и сводя деятельность людей к «дискурсивным практикам», Фуко постулирует для каждой конкретной исторической эпохи существование специфической «эпистемы» — «проблемного поля», достигнутого к данному времени уровня «культурного знания», образующегося из «дискурсов» различных научных дисциплин. При всей их разнородности, эти «дискурсы» в совокупности образуют более или менее единую систему знаний — «эпистему», которая реализуется в речевой практике современников как строго определенный языковой код, бессознательно определяющий языковое поведение, а, следовательно, и мышление отдельных индивидуумов<sup>72</sup>.

Критерием выделения различных эпистем у Фуко, как пишет известная исследовательница его творчества Н.С.Автономова, выступает «своеобразие «означающего механизма, соотношение «слов» и «вещей», и соответственно, перепитии языка в культуре: язык как вещь среди вещей (Возрождение), язык как прозрачное средство выражения мысли (классический рационализм), язык как самостоятельная система в современной эпистеме»<sup>73</sup>. Если в ренессансной эпистеме слова и вещи сопринадлежны по сходству, а в классическую эпоху соизмеряются через мышление, то начиная с XIX в. они связываются друг с другом сложной опосредованной связью — например, через понятия «труд», «жизнь», «язык». В эпоху постмодерна эти связи еще более усложняются — наступает «время симулякров», когда, как утверждает популярный постмодернистский мыслитель Ж.Бодрийар, «приходит конец» историческим институтам, привычным человечеству в прошлом, -- производству, политической экономии, диалектики, линейного характера времени, классической эры знака и др.<sup>74</sup> Все они не разрушаются насильственно, а незаметно заменяются своими подобиями — симулякрами, навязывающими нашему миру свои модели времени и пространства.

Говоря о важнейшей черте постсовременного мира -- симулятивности существования, Бодрийар продолжает линию «смерти человека» («человек умирает — остаются структуры»), развивая идеи опосредованности и символического обмена Фуко и других постструктуралистов<sup>75</sup>. Так, кардинальной деконструкции Бодрийар подвергает понятие «труд» в постмодернистскую эпоху: теперь «труд служит знаком не в смысле престижных коннотаций, которые могут связываться с тем или иным его видом, и даже не в смысле

<sup>71</sup> Цит. по: Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. — С. 59.

<sup>72</sup> Там же, с. 60.

<sup>73</sup> Автономова Н.С. Археология знания: Фуко / Н.С. Автономова // Современная западная философия: Словарь. Сост.: Малахов В.С., Филатов В.П. — М.: Политиздат, 1991. — С.362.

<sup>74</sup> Baudrillard J. L'Echange Symbolique et la Mort. Символический обмен и смерть. — М., Добросвет, 2000, с. 42

<sup>75</sup> Мысли об угрозе единству человека, фукольдианская «смерть человека», идея «опосредованности» Э.Фромма (см. Иметь или быть. 1976; Escape from freedom. N.Y. 1969 (нап. в 1941); Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994) или пессимистическая картина бытия с точки зрения бессилия человека по отношению к власти (Ж.Делез, Ф.Гваттари, Ю.Кристева и др. — см., например: Kristeva J. Desire and Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. N.Y., 1980) сами по себе знаменательны в дискурсе второй половины XX в.

социального успеха... В современном же сценарии труд более не описывается таким референциальным определением знака. Теперь вместо собственных значений того или иного вида труда или же труда вообще существует трудовая система, в которой должности взаимнообмениваются. Нет больше «right man in the right place»<sup>76</sup> — старой формулы научно-производственного идеализма. Но нет больше и индивидов, взаимозаменяемых, по все-таки необходимых в каждом определенном трудовом процессе. Теперь взаимозаменяемым сделался сам трудовой процесс: это подвижная, поливалентная, прерывистая структура интеграции, безразличная к какой бы то ни было цели, даже и к труду в его классическом операторном понимании, занятая лишь тем, чтобы поместить каждого в социальную сеть, где ничто не направлено ни к чему, кроме имманентности самой этой операциональной разметки... Такой труд — также и в форме досуга — заполняет всю нашу жизнь как фундаментальная репрессия и контроль, как необходимость постоянно чем-то заниматься во время и в месте, предписанных вездесущим кодом. Люди всюду должны быть приставлены к делу — в школе, на заводе, на пляже, у телевизора или же при переобучении: режим постоянной всеобщей мобилизации. Но подобный труд не является производительным в исходном смысле слова: это не более чем зеркальное отражение общества, его воображаемое, его фантастический принцип реальности»<sup>77</sup>.

Пересмотр таких, казалось бы «устойчивых» понятий, происходит в посмодернистском сознании повсеместно — и с той же настойчивостью в трудах постмодернистски-ориентированных историков, философов и литературоведов (а разделить эти «конфессии» становится все труднее) предлагаются альтернативы или прогнозы постмодерна. Что даст «археология знания», станет ли доминирующим «порядок симулякров», превратится ли человек под влиянием развития новых технологий и информационных систем в «номадического человека», как возвещает Ж.Аттали<sup>78</sup>, — эти и другие вопросы определяют новый «эпистемологический разрыв», возможно свершающийся уже сейчас.

Многое свидетельствует, что в эпоху постмодерна происходит такой эпистемологический разрыв, который определяет новые отношения между означаемым и означающим, «словами» и «вещами», связывающимися теперь сложными опосредованными связями. Такая постановка проблемы эпистемологических разрывов позволяет новым постмодернистским философам акцентировать свое внимание именно на «связях», а не на «словах» или «вещах». «Симулятивность» мира, теоретически осмысливаемая Бодрийаром, читается в современном культурном дискурсе как между строк, так сказать, на подсознательном уровне, так и открыто рефлексировается видными литераторами, художниками, музыкантами — эффект «зазеркалья», когда «реальность — это сон, которому снимся мы»<sup>79</sup>, отражается в многочисленных «популяризаторских» версиях идеи «вложенности», будь то «Матрицы», «Последняя битва», «Ванильное небо», «Тринадцатый этаж» или даже «Ночной дозор».

«Эпистемологические разрывы» в историческом времени, означающие конец старого / начало нового дискурсов, изменение коннотаций и даже внутренней формы языка, культурной символики и т.п., доказывают уникальный характер человеческого знания в каждом историческом периоде. Такой взгляд на историю является базовым для «нового», или «постструктуралистского» историзма. Посредством его внимание акцентируется не на эволюционности поступательного прогресса истории, не на ее преемственности, а на

<sup>76</sup> человек на своем месте (англ.)

<sup>77</sup> Бодрийар Ж. Символический обмен и смерть, с.62.

<sup>78</sup> См.: Attali J. Lignes d'horison. — Paris: Fayard, 1990. — 214 p. : автор указывает на тенденции появления новых предметов, заменяющих услуги, ранее оказываемых людьми («номадические предметы»), которые, будучи портативными и не привязанными к месту, преобразуют саму организацию труда. Новые портативные вещи «совр. кочевника» — факс, телефон, видео, искусств, органы и т.д., подготовят в ближайшем будущем индивидуализацию и индустриализацию услуг в сфере досуга, преподавания, диагностики, лечения и т.д., что, соответственно, создаст новый вид человека «номадического», самодостаточного и независимого.

<sup>79</sup> Campbell J. The Mythic Image. — Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1974. — 552 p.

скачкообразности ее изменений, когда количественное нарастание новых научно-мировоззренческих представлений приводит к такой радикальной трансформации всей системы взглядов («эпистемы» у Фуко), которая порождает стену непонимания между людьми по разные стороны «разрыва».

Настоящее в любом случае присутствует в прошлом, точнее в том, как мы его видим. «Новый историзм» не отрицает неотступного влияния современных моделей знания и власти на изучение прошлого и вследствие этого невозможности создания таких интерпретаций, которые, как желал Л. Ранке, были бы свободны от оценок и идеологических влияний. Напротив, среди представителей постмодернизма существует стремление отбросить иллюзии и соотнести свои интерпретации с современностью, вскрыть их историческую случайность<sup>80</sup>.

В соответствии с такой установкой в рамках «нового историзма» происходит отказ от самой идеи глобальной, универсальной мета-истории (т.е. универсальной концепции, ее объясняющей). Исторический процесс не может иметь направления, являясь набором дискурсов, изменений, перерывов, остановок, взрывов и т.д. В связи с этим любые труды (будь то Маркс или Гегель), которые направлены на выработку общих универсальных концепций, и независимо от того, какой критерий они берут за основу своих универсализаций истории, будут тщетными.

Более того, за признанием факта нелинейности истории, наличия в ней «эпистемологических разрывов» и «дисконтинуитетов» следует и радикальный пересмотр традиционной схемы «историческая реальность — текст — историк». Именно этот фактор стал решающим в становлении так называемой «новой историографии» или «новой интеллектуальной истории».

Если для классического историзма и, соответственно, «традиционной» историографии краеугольным камнем было представление о «прозрачности» текста (т.е. текст исторического сочинения дает адекватную картину исторического прошлого и адекватно же отражает намерения автора) и «линейности» времени (последовательная смена событий в одном измерении), то постмодернистская ее версия в лице «новой» историографии настаивает на метафорическом, нереперентном характере каждого исторического текста, многомерности времени и «прерывистом» характере истории.

Постоянный разрыв непрерывности истории, таким образом, являясь своего рода альтернативой взгляду на историю как на эволюционный процесс, ставит историка в зависимость от мира, внутри которого он мыслит. Историк оказывается в плену своего языкового сознания, тех понятий, категорий и моделей-троп, которые он использует для написания своих текстов. Концепции языка как системы знаков, которая конструирует нашу реальность как в «настоящем» историка, так и в «историческом прошлом», ставят под вопрос не только представление об объективности и истине, но также порождает моральные дилеммы историографии.

Так, когда Х. Уайт, Ф. Анкерсмит или К. Дженкинс говорят о близости истории и литературы, акцентируя элемент вымысла в историческом труде и сомнение в существовании объективной реальности, которую «описывает» историк, неизбежно возникает вопрос о таких событиях в истории, оценка или интерпретация которых не может не быть «однозначной» с моральной точки зрения. Это иллюстрирует и недавняя дискуссия о Холокосте, в ходе которой Х. Уайт, следуя логике своей «метаистории», вынужден был признать, что «с моральной перспективы представляется неприемлемым отрицать Холокост, но все-таки в историческом нарративе невозможно установить объективно, что он происходил»<sup>81</sup>. Однако даже постмодернистски-настроенные мыслители не могут быть свободны от морального выбора перед лицом истории — прошлого. Ответ одного из ведущих французских историков античности П. Видал-Накета на попытки ревизионизма в отношении Холокоста (в частности,

<sup>80</sup> Grumley J.E. History and Totality: Radical Historicism From Hegel to Foucault. – London, New York: Routledge, 1989. – P.186.

<sup>81</sup> White H. Historical Emplotment and the Problem of Truth // Probing the Limits of Representation: Nazism and the Final Solution./ Ed. Saul Friedlander. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1992. – P.38.



Л.Давидович, Р. Фориссона) вырос в целую книгу. Книгу о неприятии «чужих», об исторических свидетельствах и историческом нарративе, который действительно подвержен влиянию идеологии (Видал-Накет пишет, что интерпретация Холокоста имеет «относительную» ценность, поскольку она была сделана «израильтянами, или, скорее, их идеологами», и поэтому сам нуждается в тщательном анализе)<sup>82</sup>.

«Лингвистический поворот» в историографии имеет и «среднюю», не столь радикальную позицию, выражающуюся в признании, что «являясь одной из разнообразных форм нарратива, история, тем не менее, является единственной из этого ряда, сохраняющей особые отношения с истиной. Проще говоря, ее нарративные конструкции направлены на реконструкцию прошлого, которое реально имело место».<sup>83</sup> Подобную позицию сегодня разделяют многие авторитеты, особенно теперь, когда стала заметна тенденция «усреднить» постмодерн, относиться к нему как к чему-то созданному извне, сконструированному теоретически (тем же постмодернизмом) и т.д.

Так, легендарного А.Я.Гуревича напрямую никак нельзя назвать постмодернистом (и это учитывая всю размытость постмодернистской терминологии), хотя в его исследованиях, как и во всей линии «Анналов», которой он придерживается, четко прослеживаются многие грани, приписываемые сегодня «постмодернистской чувствительности» в историографии: акцент на «человеческом» в истории, антропологическое измерение, внимание к символическому и т.д.<sup>84</sup> Тем не менее, Гуревич весьма четко отмежевывается от такого, как он говорит, «течения в историографии, которое связано с ревизией установившихся взглядов на профессию историков,...—постмодернизма; это направление возникло в исторической науке под влиянием лингвистики и литературоведения»<sup>85</sup>.

«Да, но нет», как сказал бы известный литературный герой: постмодернизм – понятие настолько сложное, комплексное, что к нему нельзя просто подойти и констатировать: вот, это методы лингвистики и литературоведения. А остальные, связанные с ним явления, включая обсуждаемую сегодня философами проблему симулятивности бытия? История не может стоять вне общей картины происходящего, и как справедливо замечает сам Гуревич, «зависимость историка от современности – не только мировоззренческая, идеологическая и экзистенциальная, но вместе с тем и в первую очередь лингвистическая»<sup>86</sup>. И сколько бы ни повторяли слова «объективная история», «постижимая реальность», «исторический источник» -- сами по себе они не являются доводами ни в чью пользу. Отрицать наличие проблем, связанных с «переоткрытием» реальности в постмодернизме и, соответственно, в истории, -- значит пойти по пути психологической защиты.

Постмодернистская картина мира предполагает чрезвычайную фрагментированность, «осколочность» реальности и вместе с тем постоянную «интертекстуальность», постоянную взаимосвязь, бесконечные полагания и отсылки, которые и конструируют бесконечные связи и сочетания. Возможно, опасения по поводу того, что «доведенные до предела, постмодернистские критические построения грозят разрушить основы исторической науки» небеспочвенны – но эти же самые построения предлагают иные основы, не являющиеся чем-то чуждым или пришедшим извне и продолжающие линии «традиционной» историографии. Там, где А.Гуревич видит лишь «постмодернизм»..., который «фиксирует внимание на разрыве с

<sup>82</sup> См. Pierre Vidal-Naquet. A Paper Eichmann (1980) - Anatomy of a Lie (Introduction), translated by Jeffrey Mehlman in: Assassins of Memory. – N.Y: Columbia University Press, 1992.

<sup>83</sup> Chartier R. Fictionality, Narrativity, Objectivity //Actes/Proceedings of the 18<sup>th</sup> International Congress of Historical Sciences. – Montreal: CISH, 1995. – P.152

<sup>84</sup> См. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М.: Искусство, 1984. – 350 с.; Человеческое достоинство и социальная структура: Опыт прочтения двух исландских саг.// Одиссей. Человек в истории. 1997. М., 1998. – С.5-31; Gurevich A. The Origins of European Individualism. – Oxford UK; Cambridge USA: Blackwell, 1995. – 321 p.

<sup>85</sup> Гуревич А.Я. Историк конца XX века в поисках метода. Вступительные замечания. //Одиссей. Человек в истории. 1996. – М.,1996. – с.176-177.

<sup>86</sup> Там же.

предшествующей исторической традицией», многие обращают внимание как раз на то, что постмодернистская критика не разрушила основания истории, но показала наличие сложного комплекса проблем, связанных, казалось бы, с очевидными и саморазумеющимися истинами: история еще не прошлое, нарратив еще не история, а исторический опыт взрослой белой мужской европейской части населения Земли вовсе не опыт *всего* человечества. Как «буферное состояние» или «переходный период», постмодернизм не отвергает «своих отцов из двадцатого века и своих дедов из девятнадцатого. Первую половину века он таскает не на горбу, а в желудке: он успел ее переварить»<sup>87</sup>.

Так постмодерн, наблюдаемый в историческом масштабе как дисконтинуитет истории, может интерпретироваться и как продолжение непрерывности в историографическом плане, когда происходит постоянное перемещение фокуса смысла в сферы, ранее не имевшие смысла. В этом ключе мы наблюдаем и появление таких новых направлений исторических исследований, как история повседневности, история ментальностей и устная история, и смещение исследовательских интересов в социальной истории.

Для иллюстрации<sup>88</sup> посмотрим на совсем недавнюю программу съезда Американской исторической ассоциации 2007 года, проходившего под красноречивым названием: «Неустойчивые объекты: историческая практика в смутное время».

В своей классификации тем, представленных на съезде американских историков (223 темы), мы не следовали тематическому индексу, который имеется в программе. Он насчитывает 82 наименования, среди которых фигурируют: «афро-американский» (24 темы), археология (1), архивы (4), искусство (3), «азиатско-американский» (2), Атлантика (5), биография (3), бизнес (7), католицизм (6), христианство (1), гражданская война (5), класс (4), «холодная война» (8), колониализм (17), компаративный (32), компьютер (1), потребление (7), преступления и насилия (5), культурный (36), диаспора (1), дипломатия (4), инвалидность (2), экономика (4), образование (11), окружающая среда (7), этничность (7), семья (6), феминизм (3), фильм (2), внешняя политика (5), геи/лесбиянки (3), гендер (15), глобальное/транснациональное (11), магистрат (3), историография (19), Холокост (2), идентичность (21), иммиграция (9), империализм (13), интеллектуальный (3), ислам (4), рынок работы (4), иудаизм (2), труд (9), закон (7), медицина (1), память (7), военный (3), модерн (11), музеи (5), музыка (2), национализм (14), коренные американцы (2), «устный» (1), мир (3), политический (28), популярная/массовая культура (9), культура книгопечатания (3), профессия (18), протестантизм (2), психология (1), публичный (16), публикации (3), раса (24), религия (14), революция (1), сельскохозяйственный (3), наука и технология (13), сексуальность (7), рабство (12), социальное (10), спорт (3), субалтерн (2), преподавание (15), город (9), война (4), женщины (16), всемирная история (14), первая мировая (3) и вторая мировая (3) войны.

Внимательный читатель заметит, что в сумме тем не получается 223 – в такой классификации они повторяются, естественным образом пересекаясь между собой, соответствуя сразу нескольким темам – например, «колониализм» и «афро-американский»; «феминизм», «гендер», «женщины»; «рынок работы» и «труд», что лишний раз демонстрирует условность любых классификаций. Вполне понимая это, мы все-таки попробовали выделить общие знаменатели, все-таки объединяющие тех же «женщин» с «феминизмом» или «этничность» и «национализм».

Итак, среди выше приведенных официально зарегистрированных тем заседаний<sup>89</sup> насчитывается:

■ историография, интеллектуальная история и проблемы преподавания истории (48);

<sup>87</sup> Эко У. Заметки на полях «Имени Розы», с. 638.

<sup>88</sup> См. таблицу 1. Анализ выполнен по: *Unstable Subjects: Practicing History in Unsettled Times*. American Historical Association: 2007 Annual Meeting Program. Atlanta, January 4-7, 2007.

<sup>89</sup> В эту статистику мы не включаем темы заседаний различных союзных с АХА (АНА – American Historical Association) ассоциаций и научных обществ, например, Американской католической исторической ассоциации, Центра изучения национальной истории, Американской ассоциации «История и компьютер», Американского общества церковной истории и т.д.



- исследования идентичности (38);
- гендерные исследования, феминизм, изучение сексуальности (34);
- постколониальные исследования, исследования этничности и национализма (26);
- «репрезентации» исторического опыта в истории (15);
- изучение глобализационных и миграционных процессов в истории (12);
- «разное» (41) – темы, которые мы не стали подвергать классификации на основе, пусть даже и условных, критериев. Тем не менее здесь даже для неискушенного исторической информатикой глаза очевидно выделяются такие темы, как политическая история (Переоткрытие американского консерватизма; Новые нарративы американского либерализма 20 ст.; Монархия, знать и политическая культура в период религиозных войн; «Рандеву с Новыми Правилами»: вызовы консерватизму в послевоенной Америке и др.); компаративные подходы (Компаративные реакции на геноцид; Железные дороги, модернизация и география в компаративистской перспективе; Просвещение и книготорговля в компаративистской перспективе и др.); история питания (Контроль над питанием и политическая власть: продовольственные запасы как политический рычаг в Европе XX в.; Чья еда? Класс, потребление и малый бизнес в пищевом производстве; Пища в латино-американской истории, Поедающая Америка: диетическая, особая и корпоративная пища в американской послевоенной культуре и др..).

В целом следует заметить, что темы, «традиционно» считающиеся фундаментом истории – социальные институты, экономические отношения – либо представляют явное меньшинство, либо заметно трансформировались, приняв «микроуровневую» и «культурную» окраску: «Котрабандист, его вдова, иезуиты и их наместник: две истории из торговли жемчугом периода раннего модерна», «Жажда модернизации: маскулинность, мексиканская миграция и динамика американской национальной принадлежности» или «Автомагистрали: case studies инфраструктуры и национальной идентичности».

Конечно, появление этих же направлений можно и должно интерпретировать и с иных позиций – а именно с позиций появления новой в общем течении культурно-философских идей постановки проблемы «идентификации» и «Другого». Проблема соотнесения себя и другого, определения себя через другого и попытки отказа от старого, «модернистского» конфликтно-репрессивного типа решения проблемы «свой» -- «чужой» в постмодернистском мышлении несут в себе философский и универсально мировоззренческий смысл. Как пишет Г.Кнабе, «деление на «своих» и «чужих», социальное, социально-психологическое, национально-географическое (без колебаний мы можем здесь добавить и «историческое» -- О.Ш.), всегда воспринималось здесь как привычное, как почти абсолютная норма. ... Противопоставление «своих», т.е. граждан, и «чужих», т.е. варваров, в античном сознании, столкновение аристократических и буржуазных жазненных укладов в рамках сословной монархии...»<sup>90</sup> – список можно продолжать практически бесконечно, ибо история состоит из примеров решения дихотомии «свой» / «чужой» (хотя, естественно, к ним не сводится). Обостренное переживание этого противопоставления и поиски его решения являются весьма актуальным фактом постмодернизма.

Понятно и во многом логично обосновано осуждение постсовременными либералами культурной традиции, согласно которой за пределами «своей» территории остаются "чужие", изгои – женщины, не-белые, сексуальные меньшинства, психические больные, заключенные. Из соображений «политической корректности» многие вообще говорят о табуировании понятия «чужой» в самых разных сферах культурной практики. Как показывает Кнабе (сам в общем-то довольно критически настроенный к постмодернистским рационализациям постсовременных ощущений), «утрата понятия, ощущения и положения "чужой" возникла из в высшей степени либеральных, гуманистических мотивов. Выяснилось, однако, что таким образом упраздняется понятие, ощущение и положение "свой", а это в свою очередь ведет к утрате исходной основы всякой либеральности и любого гуманизма - автономной личности и

<sup>90</sup> Кнабе Г. Принцип индивидуальности, постмодерн и альтернативный ему образ философии, с.2.

стоящего за ней универсального, философского и бытийного принципа – принципа индивидуальности»<sup>91</sup>. Именно в этом видит Г.Кнабе основное противоречие попыток решения постмодернистами контроверзы «свой» / «чужой».

Острые критики постмодерна с самого начала было направлено против тоталитарных режимов 1920-1940-х гг., и сутью возникших отсюда умонастроений было отвращение к строю жизни, при котором человек растворялся в тотальном множестве. «Постмодернистская картина мира, отсюда возникавшая носила (и носит) альтернативный характер: либо всевластие общественного целого, по природе своей репрессивное, либо всевластие ни перед кем и ни за что не ответственной личности, по природе своей освободительное. Поэтому оппозиция "свой" / "чужой" могла быть воспринята только как агрессия тех, кто обозначен словом "свой", против тех, кто обозначен словом "чужой" и, соответственно, переживалась как нравственно и исторически неприемлемая»<sup>92</sup>.

Представление о постоянной соотнесенности пронизывает весь постмодернистский дискурс. «Локальность» / «глобальность», «здесь» / «там», «Я» / «Другой», «свой» / «чужой». Первый член этих оппозиций предполагает субъективное осознание этого положения, но и второй член возникает как результат соотнесения, из «моего» взгляда, охватывающего глобальное целое и тем самым его конструирующего. «Противоположность локального и глобального, здесь и там, Я и Другого, таким образом, задана, но одновременно - поскольку она есть форма и результат моего восприятия - и снята, причем тот и другой полюс этих оппозиций лишен конкретной человеческой наполненности»<sup>93</sup>.

Ситуация смысловой наполненности по отношению к дихотомии «Я» / «Другой» особенно актуальна ныне среди западных интеллектуалов (мы еще вернемся к «практическому» преломлению этой сферы в последующих частях). «Говорят, что Лакан сводит структуры бессознательного к языковым, но посмотрим, что стоит за этим сведением. У Леви-Строса еще можно было думать о некоем духе, законы которого отражаются как в языковом, так и в социальном поведении. Напротив, у Лакана порядок символического конституируется не человеком и не духом, конституирующим человека, но *он сам конституирует человека*<sup>94</sup>: "и в самых глубинах человеческого существа схватывание *символического*" происходит как "навязывание себя сцепляющимися в некую последовательность себя означающими"<sup>95</sup>. Порядок символического, цепь означающих, есть не что иное, как манифестация бессознательного, воспроизводящего в себе и проявляющего разнородные образования: сны, несовершенные поступки, симптомы и объекты желания.

«Субъект» по Лакану, полагается лишь лингвистически, поскольку субъективность есть понятие относительное, исходящее исключительно из практики взаимоотношений субъектов, индивидуального взаимодействия, где индивид (и его представления о себе и других) уже вписан в культурную среду. Таким образом, сама оппозиция субъект/объект, предопределяется и поддерживается речью, дискурсом. Иными словами, вне языка быть человека не может<sup>96</sup>.

"Вот почему, если человек в состоянии помыслить символический порядок, то это потому, что он уже в него включен. Впечатление, что он выстраивает его сознательно, возникает от того, что человек сумел встроиться в этот порядок в качестве субъекта лишь благодаря специфической данности собственной воображаемой связи с себе подобным. Однако это встраивание и это вхождение возможно только с помощью слова и на пути слова"<sup>97</sup>.

---

<sup>91</sup> Там же, с.4.

<sup>92</sup> Там же.

<sup>93</sup> Там же, с.6.

<sup>94</sup> Lacan J. *Ecrits*. Paris, 1966, p.46. Цит. по: Эко У. *Отсутствующая структура. Введение в семиологию*. – ТОО ТК «Петрополис», 1998. – с.328.

<sup>95</sup> Lacan J. *Ecrits*, p.11.

<sup>96</sup> Ильин И.П. *Постмодернизм. Словарь терминов*. – М.: ИНИОН РАН (отдел литературоведения), INTRADA, 2001. -- С.355.

<sup>97</sup> Lacan J., p.53.

"Субъективность с самого начала имеет дело не с реальностью, но с синтаксисом, рождающим маркировки"<sup>98</sup>.

Для разъяснения Лакан в работе «Логическое время» приводит пример с тремя заключенными. Мы цитируем его здесь, руководствуясь анализом, проведенным другим философом, а также семиотиком, лингвистом, литератором У.Эко. Итак, директор тюрьмы сообщает трем заключенным о том, что каждому из них на спину прикрепят кружок: всего кружков пять, три белых и два черных. Два кружка при этом неизбежно окажутся лишними, но заключенные не знают, какие именно. Каждому заключенному будет предоставлена возможность посмотреть на спины двух других заключенных, при этом он не будет знать, какой именно кружок на спине у него самого. Однако же он должен определить это логическим путем, а не путем угадывания, и если, выйдя за дверь вместе с директором, заключенный сообщит ему, какой у него кружок и при помощи какого неопровержимого рассуждения он это узнал, его отпустят на свободу. Сказано — сделано, директор прикрепляет на спины троих заключенных три белых кружка. Каждый из них видит два белых кружка, на спине у других и не знает, какой кружок у него, белый или черный. Итак, заключенный А, взятый нами для примера (при том что двое других думают то же самое одновременно), попытается решить эту задачу с помощью *exemplum fictum*, т. е. он подумает: «Если бы у меня был черный кружок, то В, видя белый кружок на спине С и, стало быть, понимая, что его собственный кружок может быть либо черным, либо белым, подумал бы: "Если бы у меня тоже был черный кружок, то С, видя черный кружок у А и черный же у меня, понял бы, что его кружок может быть только белым и направился бы к выходу. Коль скоро он этого не делает, то это значит, что мой кружок белый, и он сомневается". Придя к этому заключению, В направился бы к выходу, будучи уверенным, что его кружок белый. Если он этого не делает, то это потому, что у меня (А) кружок белый и В видит два белых кружка, терзаясь теми же сомнениями, что и я». И тогда, уверенный в том, что у него белый кружок, А собирается встать. Но в тот же самый миг, придя к такому же выводу, два других заключенных направляются к выходу.

Видя их намерения, А задерживается. Ему приходит в голову, что они выходят не потому, что их положение одинаково, но потому, что у него (А) действительно черный кружок и его партнеры пришли к тем же самым выводам, но на несколько секунд позже. Итак, А останавливается. Но останавливаются также В и С, проделавшие ту же самую мыслительную операцию. Их действия убеждают А в том, что у него действительно белый кружок. Если бы его кружок был черным, то его задержка не разрушила бы их логических построений и они бы уверенно шли к выходу; но раз они остановились, то это значит, что оба находятся в том же положении, т.е. каждый видит по два белых кружка. Итак, А выходит, и В и С выходят вместе с ним, потому что они сделали те же выводы<sup>99</sup>.

Такая логика возможна и неопровержима лишь потому, что здесь задействованы временные сдвиги – и умозаключения об умозаключениях другого. Организующим началом же этих рассуждений является возможность того момента, когда *«мыслящий субъект начинает мыслить другого»* (курсив О.Ш.). Как пишет Эко, именно наличие Другого с большой буквы дает возможность каждому из трех заключенных самоотжествиться (белый или черный), "измеряя" себя другим.

Лакан приводит и другой, менее эксцентричный пример: логическая и психологическая механика игры в чет-нечет, в которой я, выбирая ход, пытаюсь представить себе, что думает противник о том, как я себе его представляю, чтобы загадать чет, будучи точно уверенным в том, что он ожидает нечет, и наоборот. В тот миг когда мне удастся представить себе его представление о моих мыслях о нем, мы оба оказываемся внутри некой объемлющей нас обоих логики: логики Другого<sup>100</sup>.

Так кто же этот «тот, кто думает во мне»? Сам вопрос об истине возможен, когда язык уже есть: тот язык, в котором бессознательное утверждается как речь Другого, того Другого,

<sup>98</sup> Ibid, p.50.

<sup>99</sup> Эко У. Отсутствующая структура, с.330

<sup>100</sup> Там же, с.58, 59

«который даже к моей лжи взывает как к гарантии собственной истинности»<sup>101</sup>. Задаваясь этим вопросом и следуя логике Лакана, У.Эко делает вывод: «этот Другой, стоящий за несостоявшимися действиями и за самим безумием, а равно и за ходом мысли мудреца..., не может быть ничем иным, кроме как Логосом. И не окажется ли тогда этот Логос (Дух, по Леви-Стросу), манифестирующийся в бессознательном в той мере, в какой оно — дискурс Другого, сцеплением означающих, собственно языковыми закономерностями, *языком как детерминирующей структурой* (курсив О.Ш.)<sup>102</sup>?

Итак, Другой есть в самом общем смысле язык, причем язык как детерминирующая структура, причем, структура бинарная, та самая, которой столько занимались лингвисты от Соссюра до Якобсона, та самая, что лежит в основе алгебры Буля (и стало быть, работы ЭВМ) и теории игры: цепь означающих формируется при помощи наличия и отсутствия признака<sup>103</sup>.

«Сцепление означающих как единственная реальность сближает психоанализ с любой другой точной наукой. Пример с тремя заключенными свидетельствует, что к решению задачи приходят не с помощью психологических выкладок, но опираясь на непреложную комбинаторику представлений Другого. Так что если заключенных трое, то для правильного решения нужны два шага вперед и одна остановка, и если бы их было четверо, то понадобилось бы три шага и две остановки, если бы пятеро — четыре и три остановки»<sup>104</sup>.

Лакановское Бессознательное раскрывается У.Эко либо как некая трансцендентальность (но не трансцендентальный субъект), или как хранилище архетипов, отворяющееся время от времени и выпускающее на свободу мифы и обычаи. Интерсубъективная логика и темпоральная природа субъекта (вспомним о трех заключенных и о временном разном, без которого их дедукция оказалась бы невозможной) как раз и образуют пространство бессознательного как дискурса Другого<sup>105</sup>. Говоря о дискурсе Другого как пространстве бессознательного, детерминированного языком в условиях интерсубъективной логики и темпоральной природы субъекта, У.Эко высказывает упрек структуралистам психоаналитического (лакановского) толка: руководствуясь их концепцией, «всякое научное исследование, если оно проведено достаточно строго, должно независимо от разнообразия исследуемого материала выдавать один и тот же результат, сводя всякий дискурс к речи Другого. Но поскольку механизм такого сведения был предложен с самого начала, исследователю не остается ничего иного, как доказывать эту гипотезу *par excellence*. В итоге, всякое исследование будет считаться истинным и плодотворным в той мере, в какой оно нам сообщит то, *что мы уже знали*. Самое поразительное открытие, которое мы совершим, структуралистски прочитав "Царя Эдипа", будет заключаться в том, что у царя Эдипа есть эдипов комплекс; ну а если при прочтении обнаружится еще что-то, то это что-то окажется чем-то *лишним*, привеском, непрожеванной мякотью плода, не дающей добраться до косточки "первичной детерминации"»<sup>106</sup>.

Несмотря на критику, именно осмысление «Другого» в философии, семиотике, литературной критике повлекли за собой сложные политико-социальные процессы, ориентированные на постоянное осмысление наличия «Другого», рефлексии над проблемами соотношения себя с «Другим», уважение к этому «Другому». Этот своего рода «культ Другого» (мы не говорим здесь о всем известной «политкорректности») нашел отражение в росте таких сфер истории, как постколониальные, гендерные исследования, и дал тот огромный импульс изучению проблем идентичности, который мы наблюдаем среди историков (см. Таблицу 1). Первую колонку в предложенном анализе тем, звучавших на съезде Американской исторической ассоциации 2007 г., мы произвольно назвали «История идентичностей: афро-американцы/ индейцы и раса». С тем же успехом мы могли все три первые три колонки

<sup>101</sup> Там же, с.524, 525

<sup>102</sup> Эко У. Отсутствующая структура, с.331

<sup>103</sup> Там же, с. 332.

<sup>104</sup> Lacan J. Ecrits, p.212.

<sup>105</sup> Ibid, p.814.

<sup>106</sup> Эко У. Отсутствующая структура, с. 334.



(«Идентичность/ афро-американцы/ раса», «Постколониальные исследования/ этничности/ национализма», «Гендер, феминизм, сексуальность») объединить тем общим, что их связывает – это исследования идентичности и «Другого».

Мы еще вернемся к этим исследованиям в последующих главах, пока же нужно констатировать, что процесс самосознания так называемых «меньшинств» (определяемых так по расовому, религиозному, национальному, гендерному признакам), потребность в “своих” историях, открытие тем и людей, до этого времени “спрятанных” от истории, привели к оформлению новых предметных областей историографии, освоению новых методов исследования, появлению иных подходов и направлений в исторической науке. Это – женская, или с недавнего времени представленная в трансформированном виде, гендерная история. Это – и устная история, ставящая целью не только зафиксировать непосредственные свидетельства уходящих участников истории, создать новый вид источников и интерпретировать их, но и представить для истории новый дискурс. Это – и история повседневности и микроистория, которые направлены на “описание” быта людей в истории и пытаются открыть для историографии жизнь людей, “спрятанных” от истории на протяжении всех предшествующих эпох.

Все эти области являются по сути своей новыми направлениями исторической мысли, так как имеют свою идеологию, цели и методологические основы. Одной из них, можно сказать, даже определяющей, является постмодернистское понимание мира как текста, признание его многонаправленности, дискретности, его наполненности скрытыми смыслами прошлых дискурсивных практик, определяющих и наше восприятие настоящего.

Еще одним признаком, а для многих жупелом постмодернизма стало недоверие к тому, что мы называем «реализмом». Это недоверие вновь сопряжено с лингвистическим поворотом, который так характерен для деконструктивизма и постструктурализма (основной сферой его воздействия вновь стали философия и литература, в основном в их франко-американских вариантах -- Ж.Деррида, М.Фуко, Ж.Делез, Ю.Кристева, Дж.Миллер и др.).

Мы говорим о “лингвистическом повороте” и в истории в целом. Главными его составляющими становится влияние методов и подходов литературоведения и лингвистики, причем коренным отличием нашего времени от предшествующего объявляется признание литературы в качестве своеобразной модели науки вообще. Кроме того, “лингвистический поворот” предполагает признание доминирующей роли языка, его смыслов, структур, стереотипов, символики как в творчестве историка, так и в целом в человеческой культуре.

Ядро многих дискуссий постмодернистского толка связано с решением проблемы классического противопоставления “сущность”/ “ее проявление”. Постулат «двойной прозрачности» подвергся, во-первых, осмыслению как постулат, во-вторых, прошел критику как необходимый постулат.

Идея о разграничении между собственно “бытием” в истории и тем, как оно представлено в историческом сознании, уже давно тревожила умы философов, историков, литературоведов. Опасно, как писал Ж.Лакан, предполагать, что поверхность и есть реальность. Это противопоставление “being versus appearance” стало сегодня одним из самых, так сказать, “угнетающих” историков моментов исторического творчества. Что реальнее для историка: понять “проявления сущности”, взятые в культуре, или попытаться проникнуть в “само прошлое”? Исключительность, специфичность “поверхности-представления” в истории приходится интерпретировать с пониманием, что хотя она всегда и имеет корни в собственно “бытии” – истории, но никогда не совпадает.

Основная причина, почему такое совпадение невозможно, лежит в языковой природе человеческого существования. Язык, являясь нашей средой обитания, определяет и существующие мифологемы, которые проникают в сознание незаметно, в процессе культурной социализации. Изучая дискурсивные практики той или иной эпохи, мы приходим к пониманию того факта, что язык отражает (и конституирует!) и отношения власти, и представление



человеком своего мира, и гендерные роли. “Мир может быть познан только в форме литературного дискурса”, он открывается человеку “лишь в виде рассказов, нарративов о нем”.

В то же время язык играет не только пассивную роль “зеркала” нашего мира, но и активно влияет на общество. Язык создает нас так же, как и мы создаем его. Усваивая языковые конструкции, мы воспринимаем и формы, и стереотипы мышления. Наш язык – это продукт определенной культурной традиции, связанной специфическими приобретенными способами речи – тропами.

Это утверждение имеет особую ценность для понимания природы исторического творчества. При написании истории язык предлагает историку уже готовые конструкции, куда тот “вписывает” исторические события. И вот тут мы приходим к тому, что делает деятельность историка весьма похожей на работу литератора -- порядок, который историк приписывает событиям и их интерпретация, являются чем-то сродни литературному сюжету.

Благодаря языку фиктивный элемент присутствует и в литературе, и в истории, но их коренное отличие состоит в осознании исторической основы, элемента реальности исторического прошлого. Если литератор повествует о фактах, хоть и типичных для своего общества, но все же вымышленных, и его работа является плодом фантазии, то историк имеет дело с фактами прошлого, имеющимся в его распоряжении практическим материалом.

Еще со времен Хайдеггера утверждается представление о герменевтике как об онтологии. Бытие проявляется в виде феноменов, которые являют себя миру через язык. Бытие вообще, “бытие, которое *может быть понято*, есть язык”. В мире же постструктурализма сам текст приобретает онтологический статус. История представляется как текст, при этом всякая наука – это наука о тексте или форма деятельности, порождающая текст. В результате вся деятельность историка, как и представителей иных дисциплин, является постоянным поиском “смыслов”, бесконечным подразумеванием, отсылкой от одного означаемому к другому.

В результате мир превращается в бесконечное множество взаимодействующих и полагающих друг друга смысловых инстанций. И именно в этом тезисе следует перейти к пониманию той роли, которую играет сегодня литературоведение. Именно из этой сферы приходят и распространяются в различных дисциплинарных и предметных областях подходы и методы, связанные с деконструктивистским взглядом на мир.

С приходом в историю понятия “деконструкции” (литературоведческий вариант постструктурализма) изменяется не только и не столько методология исследовательской работы, сколько сам образ мышления историка. Сама деконструкция направлена на выявление внутренней противоречивости текста, обнаружение в нем скрытых и незамечаемых не только неискушенным читателем, но и самим автором “спящих” остаточных смыслов. Эти остаточные смыслы достались нам в наследие от речевых практик прошлого, закрепленных в языке неосознаваемых стереотипов, которые тоже в свою очередь бессознательно и независимо от автора текста трансформируются под воздействием языковых клише его эпохи<sup>107</sup>.

Деконструктивистски-ориентированными становятся сегодня многие предметные сферы и поля исследований историков. Более того, некоторые направления изначально возникали и переживали свое становление под прямым влиянием деконструктивизма и теории нарратива. Женская и гендерная история, а также их теоретические обоснования, феминизм и постфеминизм с самого начала своего развития шли по пути деконструкции “традиционных”, мужских дискурсивных практик (Дж.Скотт, Н.З.Дэвис, Л.Хант и другие).

Мы видим, что концепции деконструктивизма, сам лингвистический поворот определяют как гносеологическую, так и онтологическую части современной историографии. С ними связаны “возврат нарратива”, переосмысление искусства рассказа. Английский историк Л.Стоун связывает эти явления с возникновением новых исследовательских областей и направлений в историографии – история “народной культуры”, “история ментальностей”, “повседневная история”, “устная история”<sup>108</sup>.

<sup>107</sup> См. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм.

<sup>108</sup> См. Stone L. The Past and the Present. – Boston; London; Henley, 1981. – 274 p.

Лингвистический поворот сегодня во многом обусловлен и стремлением вернуть истории утраченную ею в связи с увлечением квантификацией и макроуровневыми исследованиями былую популярность в общественном сознании. Исторические труды, насыщенные количественным материалом, ориентированные на изучение структур и процессов в истории, на системно-структурный анализ, и выполненные в рамках так называемой “социальной истории”, имели огромное значение для повышения статуса истории как науки и продолжают играть большую роль для генерализации исторического процесса, выявления перспектив истории. Однако они же оказали определенное влияние и на падение читательского интереса, и на “кризис доверия”, характерного и для бывшей советской, и для западной историографии. Опасность “вписывания” исторических фактов в уже готовые универсалистские схемы объяснения истории, умалчивание иных, противоречащих этим схемам данных, оказалась вполне реальной.

В результате многие историки видят в возвращении к традиционным формам написания истории, к искусству повествования на новом теоретическом уровне генеральную линию сегодняшней истории.

Между тем, в спорах о сущности истории по-прежнему актуальным оказывается проведение границы между собственно “историей” и “прошлым”. Идея о том, что история – это разнообразные взгляды, теории и конструкции, созданные историками, сама по себе не нова. Дискуссии позитивистов и неоиdealистов, связанные со смыслом творчества историка или степенью его “научности”, заложили основы этой идеи еще в 19 столетии. Но только в период постмодернистского влияния эта идея приобретает характер водораздела, ограничивающего основные концепции (пост)современности об истории.

Так, в историческом сознании все более укореняется идея о том, что каждое исследование источников, этого, казалось бы, верного залога “истинности” и “объективности” исторических интерпретаций, является своего рода расшифровкой скрытых в них значений. Но каждое раскодирование есть новое кодирование. Помимо того, что наши интерпретационные решения основываются на наших же собственных установках, мировоззрении, даже на эмоционально-психическом состоянии, они пропитаны духом и кодами того дискурса, в котором жили люди – составители источника, его редакторы, его последующие комментаторы и, наконец, мы сами, воспроизводящие устоявшиеся, впитанные в процессе социализации, а потому не замечаемые, скрытые смыслы.

С этой точки зрения история (как историография, как взаимодействующая совокупность исследований) представляется в виде особой конструкции, содержащей эти и многие другие элементы “проекций” и “скрытых смыслов”. Из этого рассуждения так и проступает образ истории в виде субъективного нарратива, сконструированного историками.

Прошлое представляет собой несистематизированный хаос до тех пор, пока его не коснулась рука историка. Сам процесс написания истории требует осмысления исторических событий, поступков, личностей в контексте некоего теоретического порядка, некоего заранее имеющегося у историка намерения (отсюда так часто и негативно обсуждаемая “интенциональность” истории как вида творчества). Это намерение или теория неминуемо связаны со временем, в котором живет историк. Таким образом, история видится нам лишь под углом зрения сегодняшнего дня: не все прошлое есть история, а только то, что по меркам нашего времени проявляется как исторически значимое. Так, для английского историографа Кейта Дженкинса история – это и есть, по сути историография (исследования, тексты, отличные от “прошлого”); прошлое существует, по определению, только в модальности текущих историографических репрезентаций. Попробовав продолжить эту линию, получаем, что в таком случае историография – это философия истории, осмысление этих «историографических репрезентаций».

Большинство исследователей сегодня в той или иной степени принимает постмодернистские, постструктуралистские и деконструктивистские идеи, считая, что они могут помочь обнаружить те ценности, интересы, условия исторической реальности, которые скрываются под поверхностью текста.

Рассматривая мир как текст, а текст как «бесконечную игру означающих и означаемых», постструктурализм с самого начала декларировал возможность “заменить тиранический мир значений свободой бесконечного разнообразия”<sup>109</sup>. В специальной главе, посвященной попытке реализации этой возможности в историографии – интеллектуальной истории, мы попытаемся рассмотреть ее плюсы и минусы.

В целом, говоря о постмодерне, следует заметить, после довольно непродолжительного периода признаний в пользу его уникальности, наиболее распространенным мнением становится более умеренное: «Очевидно, более правы те теоретики (например, У.Эко и Д.Лодж), которые считают неизбежным появление подобного феномена при любой смене культурных эпох, когда происходит слом одной культурной парадигмы и возникновение на ее обломках другой... Ощущение исчерпанности старого и непредсказуемости нового, грядущие контуры которого неясны и не обещают ничего определенного и надежного, и делает постмодернизм, где это настроение выразилось явственнее всего, выражением «духа времени» конца XX в., очередным *fin du siècle*, вне зависимости от того, насколько влиятельным в литературе, искусстве, критике и философии он является на сегодняшний день»<sup>110</sup>.

Нельзя быть ни апологетом, ни противником постмодерна, как невозможно быть «за» или «против» дождя. Состояние постмодерна уже есть, и его можно понимать как буфер, который ограничивает нечто «старое» и «новое», или как «новую когнитивную эпоху в истории человечества»<sup>111</sup> -- в зависимости от идеологии или темперамента. Однако надо признать, что цивилизация приходит в некое состояние, имеющее объединяющие черты в философско-исторической, культурологической, экономической рефлексии, и само слово «постмодерн» всего лишь его констатирует, но не объясняет. И если одни видят мир постмодерна как хаос, «лишенный причинно-следственных связей и ценностных ориентиров», другие говорят о мире децентрированном, представляющем сознанию лишь в виде иерархически неупорядоченных фрагментов<sup>112</sup>, третьи считают прямым его продолжением (а может быть, и *vice versa*) так называемую глобализацию.

---

<sup>109</sup> After Poststructuralism: Interdisciplinarity and Literary Theory. Ed. Easterlin N., Riebling B. Evanson, Ill.: Northwestern University Press, 1993. – 234 p.

<sup>110</sup> Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм, с.233

<sup>111</sup> Ионин Л. Г. Новая магическая эпоха. // Постмодерн: новая магическая эпоха. / Отв. ред Ионин Л.Г. – Харьков: Изд-во Харьковского университета, 2000.

<sup>112</sup> Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм, с.205

### 1.3. Постмодерн и глобализация: «в пустыню Реального»

Можно предположить, что будущее за относительно небольшими самоорганизующимися сообществами, основанными на единстве мировоззрений. Разделение труда в них постепенно будет минимизироваться. Структура их будет организовываться по-разному в зависимости от типа метанарратива, лежащего в основе каждого из них: от идеального равенства до средневековой иерархии, от либеральной демократии до кровавого тоталитаризма. Но никто не будет сражаться за права человека, потому что каждый станет жить в том сообществе, которое он для себя выбрал... Насилие виртуализируется и станет не предметом легитимации, а ее средством, то есть не идеология будет служить орудием легитимации власти, а власть - орудием легитимации идеологии, т.е. реализации виртуального продукта... Все происходящее будет происходить в реальном времени, то есть истории не станет, также, как не станет социологии, а во всем происходящем не станет смысла.

*Л.Ионин. Постмодерн: новая магическая эпоха*

Приведенный эпиграф взят не из фантастического романа. Это попытка логического допущения авторов коллективного сборника работ, посвященных осмыслению постмодерна. Всего лишь продолжение мысли «если следовать принципам когнитивного стиля постмодерна».

Что же мы можем ожидать от реализации этих принципов? Отказ от функционального рассмотрения обществ как продуктов взаимодействия структур. «Основанием интеграции крупномасштабных сообществ, если нынешние тенденции будут реализовываться и далее, не может быть ни ценностный консенсус, ни систематическое насилие. И для того, и для другого в современном обществе остается все меньше места. Для первого – по причине виртуализации идеологий и плюрализации стилей и образов жизни, для другого – по причине снижения витальности современного человека, также вызываемого виртуализацией страстей»<sup>113</sup>.

Итак, мы вплотную подошли к представлению процессов, которые в своей совокупности носят громкое название «глобализация». Сейчас поломанные из-за проблем глобализации копыя можно выстроить в огромный забор, а разногласия и разброс мнений по-прежнему остаются непреодолимо большими.

Глобализация капитала на основе высоких технологий, универсализация государственного устройства, противоречия между формальной, институализированной организацией власти и сетевой формой управления, унификация культуры, глобализация рынков, потребления, постепенное замещение национально-государственной системы международных отношений геоэкономической конструкцией межглобальных отношений, разрастание негосударственных организаций (и террористических в том числе), огромное усиление процессов миграции, небывалая роль средств массовой информации .... -- на современном этапе человечество, по всей вероятности, приходит к сочетанию этих систем на совершенно новом уровне. Осознавая процессы глобализации как интенсификацию мировых социальных отношений, Э.Гидденс пробовал почти идилически нарисовать в 1990 г. картину постмодернистского общества, связывающую многоуровневое демократическое участие, “систему-после-бедности” (социализированная экономическая организация, преодоление войны, система планетарной помощи и др.), демилитаризацию, гуманизацию технологий в одно неразрывное целое<sup>114</sup>.

Когда начинается глобализация? Некоторые соотносят ее начало с модернизацией Европы, началом Нового времени, другие отмеряют ее от времени складывания первых монополий, третьи – связывают ее с периодом незадолго до первой мировой войны, четвертые – с последним десятилетием XX века. Ясно, что корни мондиализации, глобализации, или как бы

<sup>113</sup> См. Ионин Л.Г. Постмодерн: новая магическая эпоха.

<sup>114</sup> Гидденс Э. Постмодерн // Философия истории. Антология. – М.: Аспект Пресс, 1995. -- С.341.

мы ее ни называли, складывания новой ситуации в рамках всего мира, уходят глубоко в прошлое и связаны с такими процессами, как формирование концепций гражданского общества, демократии, государственного суверенитета, а затем и мирного сосуществования, мировой безопасности и т.д. Эти идеи довольно долго оставались тем идеологическим фоном, на котором происходила модернизация. Красивым идеологическим фоном. Одновременно складывание монопольного капитализма, информационные революции и высокотехнологичная промышленность изменяли мир с бешеными темпами.

И наконец, как отмечает российский аналитик А.Некlessа, в конце XX века возникает устойчивая тема Нового мирового порядка с заглавной буквы в русле американоцентричных схем современной эпохи<sup>115</sup>. «Это поистине замечательная идея – новый мировой порядок, в рамках которого народы могут объединиться друг с другом ради общей цели, для реализации единой устремленности человечества к миру и безопасности, свободе и правопорядку»<sup>116</sup>, -- прокламировал Джордж Буш-старший в 1991 г. Правда, при этом он добавлял, что «лишь Соединенные Штаты обладают необходимой моральной убежденностью и реальными средствами для поддержания этого нового миропорядка».

Дальнейшие события показали, что в принципе американский президент был прав. Прав в том смысле, что именно США взяли на себя функцию мирового судьи и полицейского, сделав своим сообщником ООН. Последние десятилетия XX в. показали, что система мировой безопасности трещит по швам, а эйфория, царившая на Западе по поводу «распада социалистического лагеря» и «всеобщей демократизации», радостное предвкушение «хороших сторон» глобализации сменились новыми разочарованиями, страхом перед терроризмом, настороженностью по отношению к перспективам этой самой глобализации и к возможностям постмодерна в целом.

Проблема – в расхождении основополагающих для западной цивилизации векторов политической демократизации и экономической либерализации; а на уровне мировой культуры кризис прямо проявляется в расщеплении процессов модернизации и вестернизации. Ситуация подъема национально-религиозных движений на «Востоке» является таким ответом: болезненно проходящая в них модернизация порождает выступления против «Запада», его моделей, ценностей и противоречий<sup>117</sup>.

Можно ли спрогнозировать, что возобладает в процессах глобализации и правы ли мои французские приятели, рьяно защищающие свою национальную идентичность (и выступающие фактически не столько против модернизации, сколько против ее «изнанки» – эффектов вестернизации, постколониализма, миграции), на деле доказывая верность традиции со всеми ее четырехстами видами сыров (рискну не согласиться с цифрой «360» у Р.Барта) и покупая продукты не в «американских» супермаркетах, а в местных лавках. Или наше будущее – за концепцией номадизма Ж.Аттали, тоже француза, рисующего кочевника будущего, самодостаточного и независимого, живущего в обществе портативных и не привязанных к месту вещей, преобразующих саму организацию труда<sup>118</sup>.

Многочисленные исследователи глобализационных процессов часто обнаруживают «беззащитность» именно в этом пункте: каковы взаимосвязи постмодерна, «постмодернистской чувствительности» и глобализации? Совершенно очевидно, что они пересекаются, но вот предполагают ли друг друга? Глобализация ставит проблемы, теоритическое осмысление которых постмодернизм как концептуальное оформление постмодерна создавал уже давно: «Другой», «мультикультурализм», мозаичность «репрезентаций» и «опытов», относительность «истины», «мир-как-текст»... Та же

<sup>115</sup> См. Неклесса А.И. Эпилог истории, или Модернизация versus ориентализация // Постиндустриальный мир: центр, периферия, Россия. Московский Общественный Научный Фонд; Институт мировой экономики и международных отношений РАН. М., 1999. – С.21-56.

<sup>116</sup> Цит. по: Неклесса А.И. Эпилог истории, с.22.

<sup>117</sup> <http://godlas.myweb.uga.edu/home.html> ; <http://www.uga.edu/islam/islamwest.html#Alterity> ; <http://leb.net/~aljadid/editors/>

<sup>118</sup> См.: Attali J. Lignes d'horison. – Paris: Fayard, 1990. – 214 p.



глобализация, однако, порождает и обратные феномены: вместо «мультикультурализма» – гомогенизация культур, вместо преодоления европоцентризма и культуры инаковости – «вестернизация», вместо исследования интертекстуальности – «усреднение» культуры и всеобщая цитатность.

Еще одним ярким проявлением глобализации культуры является феномен, который У.Эко называет «метизацией культур». «Европу, - пишет Эко, - ожидает именно такое будущее, и ни один расист, и ни один ностальгирующий реакционер ничего тут поделать не смогут»<sup>119</sup>.

Неизбежное осуществление подобного прогноза основано на том, что «феномены, которые Европа все еще пытается воспринимать как иммиграцию, в действительности представляют собой миграцию»<sup>120</sup>. В отличие от иммиграции, которая в принципе может регулироваться со стороны государства, феномены миграции «всегда как стихийное бедствие случаются, и ничего не поделаешь». Мультикультурализм, соответствующая метизация населения и преодоление государственного регулирования реализуют коренные исходные импульсы постмодерна: освобождение жизненного поведения от контроля властей, примат человеческого по определению хаоса над бесчеловечным по определению порядком, преодоление антиномии "свой" / "чужой" – следовательно, торжество тотального либерализма<sup>121</sup>. Эти прогнозы высказывались в конце 1990-х по-прежнему актуальны; спустя десятилетие еще сильнее обнажая проблемы европоцентризма, осмысления инаковости, социального противостояния и конфликта, к преломлению которых в истории мы апеллируем в нашей книге постоянно, но более подробно еще вернемся в третьей части.

Конечно, массовые миграции (добровольные и насильственные) случались в истории и раньше, однако, как отмечает известный исследователь А.Аппадюрай, но когда они сочетаются с небывалой волной образов, сценариев и ощущений, проводимых средствами массовой информации, то мы имеем дело уже с новым порядком нестабильности в производстве современных идентичностей<sup>122</sup>.

Прогнозы – прогнозами, но уже зримы новые, наряду с моделью европоцентричного, а затем северо-американского порядка, поколения сценариев грядущего. Среди них, как пишет А.Неккесса, проступает вероятность контрнаступления мобилизационных проектов; господство постхристианских и восточных цивилизационных схем; перспективы развития глобального финансово-экономического кризиса с последующим кардинальным изменением основ социального строя; будущая универсальная децентрализация либо геоэкономическая реструктуризация международного сообщества... Существуют и ориенталистские схемы обустройства мира эпохи постмодерна – от исламских, фундаменталистских проектов до конфуцианских концептов, связанных с темой приближения “века Китая”. Зримо проявилась также вероятность глобальной альтернативы цивилизационному процессу: возможность *распечатывания* запретных кодов антиистории, освобождения социального хаоса, выхода на поверхность и легитимации мирового андеграунда<sup>123</sup>.

Кроме того, к концу XX века так называемая периферия (по отношению к европоцентризму) создала ответную цивилизационную волну, «реализовав повторную встречу, а затем и синтез поднимающегося из вод истории Нового Востока с секулярным Западом» -- ответ восточных обществ, по-своему воспринявших феномен модернизации, в ряде случаев полностью отказавшихся от его культурных корней, но зато воспринявших его внешнюю оболочку<sup>124</sup>.

<sup>119</sup> Эко У. Миграции. Терпимость и нетерпимость. // Эко У. Пять эссе на темы этики. – СПб.: Симпозиум, 1997, с.75-90.

<sup>120</sup> Там же.

<sup>121</sup> См.Кнабе Г. Принцип индивидуальности, постмодерн и альтернативный ему образ философии.

<sup>122</sup> Arjun Appadurai, *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. – Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 1996. – P.4.

<sup>123</sup> Неккесса А. Эпилог истории, с.2; см. также нашу мемуарную работу американского политолога Сэмюэля Хантингтона «Разрыв цивилизаций», радикально подводящую идею наличия «цивилизаций» к мысли о неизбежности окончания между ними.

<sup>124</sup> Там же.

Мы видим эклектичную, неравновесную конструкцию глобального сообщества, со всеми ее плюсами и минусами в виде равновзвешенного мира, высоких технологий, стандартизации уровня жизни, унификации товаров массового спроса, все более суррогатной массовой культуры и т.д. На этом фоне усиливаются голоса тех аналитиков, которые отмечают явные признаки де-модернизации, пробуждение процессов социальной и культурной инверсии, новой мировой анархии (например, паразитарные механизмы в валютно-финансовой сфере)<sup>125</sup>, возникновение «феномена Глубокого Юга, объединяющего в единое целое и трансрегиональную неокриминальную индустрию, и «трофейную экономику» новых независимых государств, и тревожные признаки прямого очагового распада цивилизации (ярким примером чему могут служить Афганистан, Чечня, Таджикистан, некоторые африканские территории...)», возрождение и прорыв фундаменталистских моделей (а равно и соответствующих политических инициатив) на обширных просторах мировой периферии<sup>126</sup>.

Эта сложная ткань, сотканная из многих элементов, прорвалась, в каком-то смысле показав свою «изнанку», а возможно, и «наметки» на будущее, почти два года назад, когда в историю вошла трагедия с символическим и уже слэнговым «911». Бомбардировки Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года послужили не только шоком, но и имели историко-философские последствия.

На самом деле, история и философия не так далеки от реального течения жизни, как это представляется некоторым критикам. Мы уже не раз говорили о том, что основой основ постмодернистской чувствительности было «либеральное уважение к духовной глубине Другого», возведение в ранг идеологического идола понятия инаковости. На таком фоне террористический акт 11 сентября был не только неожиданным. Он был невозможен как преступление против гуманизма и всей постмодернистской идеологии, культивировавшей полифонизм, терпимость, текстуальность, восприятие Другого. В результате широкое распространение получили голоса тех, кто торопился заявить об «окончании века постмодернистского деконструктивистского скольжения смыслов: теперь мы вновь нуждаемся в устойчивых и однозначных взглядах»<sup>127</sup>. Как пишет известный сегодняшний философ, психоаналитик Славой Жижек: «К несчастью, сам Юрген Хабермас (в своем выступлении после получения премии от немецких издателей в октябре 2001 года) присоединился к этому хору, подчеркнув, что время постмодернистского релятивизма ушло. (Во всяком случае, события 11 сентября сигнализируют о крайнем бессилии хабермасовской этики – должны ли мы сказать о том, что между мусульманами и либеральным Западом имеет место «искаженная коммуникация»?) Точно также правые комментаторы... незамедлительно заявили об окончании американского «отдыха от истории» -- ударе реальности, разрушающей изолированную башню либеральной терпимости и теории культуры, фокусирующейся на текстуальности»<sup>128</sup>.

Жижек указывает, что на проблемы противопоставления либерального Запада и «исламского фундаментализма» можно смотреть как на противоречия в рамках *одной и той же* цивилизации, связанные с взаимодействием глобальных экономических интересов. В этом же ключе следует понимать существование международных террористических организаций как форму, в которой националистический и/или религиозный «фундаментализм» приспособился к глобальному капитализму<sup>129</sup> (причем, как отмечают многие аналитики, террористические организации построены по сетевому принципу – той самой сетевой организации, которая является порождением глобализации, Интернета, высоких технологий,

<sup>125</sup> Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию. М.: Прогресс – Традиция, 2001. – 304 с.; Арсеенко А. Глобализация: социальные изменения и последствия в преддверии XXI века. // Постмодерн: новая магическая эпоха. Ред. Л.Г.Ионин. – 247 с.; Бондарев А.К. Эпистемологические аспекты глобализации. // Проблемы современной экономики, N 1(1). Экономическая глобализация. Экономика информационного общества. Экономика и экология; Герасимов Г. Заповеди по Дарвину. // Новое время. № 2880, 7 января 2001.

<sup>126</sup> Неклесса А. Эпилог истории, с.4.

<sup>127</sup> Жижек С. Добро пожаловать в пустыню Реального. – М.: Фонд «Прагматика культуры», 2002, с.41.

<sup>128</sup> Там же, с.42.

<sup>129</sup> Там же, с.45.

роста гражданского общества в западной традиции!). Единственная возможность понять, что же произошло 11 сентября, состоит в том, чтобы рассматривать эти события *в контексте антагонизмов глобального капитализма*.

Расхожая фраза, часто повторявшаяся в первый год после этой трагедии, что «после 11 сентября ничто не может быть прежним», -- символизирует попытку осознания этих событий как водораздела, как рубежа, после которого необходимо новое осмысление культурного опыта. Результаты такого переосмысления противоречивы – от утверждений средств массовой информации о том, что антиглобализм больше не актуален, до представления о том, что шок от бомбардировок Всемирного торгового центра показал бессодержательный характер постмодернистской теории культуры, ее разрыв с «реальной жизнью»<sup>130</sup>.

В данном случае более взвешенной, хотя и более эмоционально «удаленной» представляется позиция, которую описывает Жижек. «Дилемма теории культуры такова: либо она будет заниматься (после шока 11 сентября, и добавим от себя, шока интервенции в Ирак, логично предвиденной в свое время тем же Жижеком – О.Ш.) теми же проблемами, открыто признав, что она борется против угнетения *внутри* первого мира капиталистической вселенной, а это означает, что в случае разрастания конфликта между западным первым миром и внешней угрозой ему она вынуждена будет заявить о своей верности американской либерально-демократической системе, или, делая рискованный шаг в сторону радикализации собственной критической позиции, она поставит под вопрос саму эту систему»<sup>131</sup>.

Трагедия 911 и события, последовавшие за ней, поставили в тупик многих интеллектуалов. Проблема морального выбора, или выбора в период обострения противоречий глобализации, оказалась слишком болезненной и сложной. Некоторые аналитики поставили под сомнение весь ход постмодернистской мысли, начиная от его мультикультурализма, идолизации «инаковости» Другого, релятивизма и заканчивая его неприязнью к метатеории в целом. Иные же, напротив, следуя постмодернистскому духу, попытались оценить опыт происшедшего с позиций Другого, а именно мусульманского мира (не случайно, в средствах массовой информации, словно мантра, повторялись слова о том, что ислам – это крупная религия, ничего общего не имеющая с терроризмом<sup>132</sup>). Еще более радикальной оказывается позиция, которую занимают сегодня многие аналитики. Не принимая навязываемого идеологической машиной утверждения о том, что американцы невинны в атаке со стороны Третьего мира и показывая социально-экономические и психолого-культурные причины арабского экстремизма, они логически выводят тезис о виновности самой жертвы. Именно такой представляется позиция многих психологически (и психоаналитически) ориентированных историков, практически сразу же откликнувшихся на трагедию<sup>133</sup>.

За некоторыми исключениями, реакция американских историков (и их официальных органов – Journal of American History, American Historical Review) также состояла в следовании этим двум крайним позициям: либо принятие на себя частичной вины за то, что случилось 11 сентября и за агрессию в Ираке<sup>134</sup> (как следствие действий сил глобального капитализма и

<sup>130</sup> Жижек С. Добро пожаловать в пустыню Реального, с.56.

<sup>131</sup> Там же, с.57.

<sup>132</sup> Там же, с.41.

<sup>133</sup> Основные положения психоисториков сводятся к следующему: (1) травма детства, характерная для ислама и фундаменталистских течений; (2) циклы групповых фантазий показывают уровень тревожности в американском обществе, требующий «выброса»; (3) анализ карикатур выявляет «готовность» к теракту – террористы «воспользовались» уже «нарисованной» идеей – см. L.deMause, The Childhood Origins of Terrorism; J.Lachkar, The Psychohistorical Make-up of a Suicide Bomber // The Journal of Psychohistory, 2002, Vol 29, # 4; M.Everett, Bush, Cheney, Rumsfeld and 9/11: A Scandal Beyond What Has Been Seen Before // The Journal of Psychohistory, 2005, Vol 32, #3; R.Trahair, A Psychohistorical Study of Political Cartoons Using Q-Method; H.-J.Wirth, 9/11 as a Collective Trauma // Journal of Psychohistory, 2003, Vol 30, #4.

<sup>134</sup> Когда 22 сентября 2001 года Деррида получил премию имени Теодора Адорно, в своей речи он говорил о бомбардировках Всемирного торгового центра: «Мое безоговорочное сочувствие жертвам 11 сентября не мешает мне сказать это громко: в отношении этого преступления я не считаю, что никто не виновен в политическом плане». Цит. по: Жижек С. Добро пожаловать в пустыню Реального, с.67.

противодействие ему со стороны исламского фундаментализма), либо попытки исторического, философского, культурологического осмысления ислама, джихада, истоков исламского экстремизма и т.п.<sup>135</sup>

И та, и другая позиция взаимодополняют друг друга, но не снимают проблемы морального выбора. «Единственное последовательное решение состоит в том, чтобы отвергнуть само это противопоставление и признать оба положения одновременно. Сделать это можно только прибегнув к диалектической категории всеобщности: нельзя выбирать между этими двумя позициями, каждая из них является односторонней и ложной. ...Выбор между Бушем и бен Ладеном нам не подходит, они оба ведут войну против нас»<sup>136</sup>. Так же неверна постановка вопроса о выборе «демократия или фундаментализм», поскольку неверен сам язык этого выбора. «Можно ли, на языке этого выбора, выбрать «фундаментализм»? Проблематичным в том способе, которым правящая идеология навязывает нам этот выбор, является не «фундаментализм», но скорее сама *демократия*: как если бы единственной альтернативой «фундаментализму» была политическая система парламентской либеральной демократии»<sup>137</sup>.

Столкновение процессов глобализации с Востоком, поднимающимся в своей собственной версии модернизации (так левый нарратив трактует исламский фундаментализм – как своего рода «модернистов», как феномен *внутри* современного глобального капитализма<sup>138</sup>), обнажило еще одну проблему, связанную с «постмодернистской чувствительностью».

Многokrратно повторенный всеми средствами массовой информации вид врезающегося во вторую башню Торгового центра самолета... Лица испуганных плачущих людей с фотографиями своих близких... Бесконечные рассказы о том, как мы впервые услышали о трагедии и что делали... И вновь и вновь кадры падающих башен и ужасающих развалин... Несмотря на это *навязчивое повторение*, нас не покидало ощущение ирреальности происходящего, так, как будто все это мы уже видели. Казалось, что мы были готовы к подобным образам, словно очерченным заранее в фильмах-катастрофах, на страницах газет и журналов. Любопытно, что психоаналитически ориентированные исследователи практически одинаково интерпретируют эту ситуацию: групповые фантазии (как их понимают американские психоисторики) или социальные фантазмы (в лаканианском варианте) послужили материалом для реализации террористами задолго до того, как произошли в действительности<sup>139</sup>. Парадоксально, но в отличие от распространенного мнения о том, что взрывы в Нью-Йорке были вторжением реального в иллюзорное благополучие развитых стран, последовательная лаканианская интерпретация, предлагаемая С.Жижекком, дает противоположную картину: «это не реальность вошла в наши видения, а видение вошло и разрушило нашу реальность»<sup>140</sup>.

С другой стороны, именно 11 сентября люди по всему миру столкнулись с парадоксом «дереализации», как об этом пишет С.Жижек: новости постоянно повторяли, что погибли тысячи, было удивительно, что мы не видели никакой крови и тел..., в противоположность репортажам о катастрофах в третьем мире, переполненных страшными кровавыми деталями – это еще раз показывает, что даже в подобные трагические минуты «расстояние, отделяющее Нас от Них, от их реальности, сохраняется, и по-настоящему ужасные вещи происходят *там*, а не *здесь*»<sup>141</sup>. Отчуждение человека от реальности, исчезновение различия между субъектом и объектом, между реальностью и ее репрезентацией, знаковость существования, подмена понятий «иметь» и «быть» -- все это также проявления эры постмодерна... и глобализации.

<sup>135</sup> См. Journal of American History, Vol.89, #3, September 2002; Journal of World History, Vol. 14, #1. March 2003.

<sup>136</sup> Жижек С. Добро пожаловать в пустыню Реального, с.59.

<sup>137</sup> Там же, с.10.

<sup>138</sup> Kuniholm Bruce R. 9/11, the Great Game, and the Vision Thing: The Need for (and Elements of) a More Comprehensive Bush Doctrine // The Journal of American History, Vol.89, #2, September 2002, p.426

<sup>139</sup> см. Journal of Psychohistory.

<sup>140</sup> Жижек С. Добро пожаловать в пустыню Реального, с.23.

<sup>141</sup> Там же, с.20.



Не случайно символом и необходимым элементом постмодерна и глобализации (а по некоторым оценкам, и их прямым предвестником) стало создание Интернета, всемирной компьютерной информатизационной сети. «Когда в конце 1969 года руководители военного министерства США, опасаясь, что в случае войны одна ракета противника может точным попаданием уничтожить их компьютерный центр, а вместе с ним и все собранные в нем сведения, поручили специалистам рассредоточить компьютеры министерства, в то же время связав их в единую сеть, по которой свободно циркулировала бы вся информация, заложенная в каждом компьютере, они наверное меньше всего думали о современных течениях в философии. Эти течения заставили о себе вспомнить, когда через несколько лет слились в умонастроение постмодерна, а из разработанной по заказу министерства схемы родился Интернет. Взаимосвязь того и другого стала одной из важнейших характеристик культуры конца XX века»<sup>142</sup>.

Темпы роста Интернета как феномена экономической, культурной, психологической жизни, настолько велики, что многие, уже не задумываясь, принимают его как данное. Между тем, как пишет обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Т. Фридмен, «когда Буш-старший оставил свой пост в 1993 году, Всемирная паутина состояла примерно из 50 страниц. Сегодня их миллиард или два. Когда Буш-старший оставил свой пост, почти никто из ваших знакомых не имел электронной почты, а большинство думало, что Всемирная паутина используется для ловли мух на Ниле»<sup>143</sup>.

Всемирная информационная сеть обеспечивает не только свободный доступ любого к практически любой информации, фактически реализуя философский порыв постмодерна к свободе личности, мультикультурализму, создавая небывалые возможности для самообразования, освобождая от государственного контроля и подводя базу под многочисленные НГО и сетевые структуры. Интернет порождает и поддерживает реальность галлюцинаторную, фрагментирует целое и в каком то смысле провоцирует даже «смерть автора» в трактовке Ролана Барта. Так, широко известный в Америке и России бывший советский диссидент и постмодернист М.Эпштейн, указывает, что «постмодернистская суть Интернета состоит в упразднении - не обязательном, но возможном и соблазнительном - ответственности автора за сообщение, им переданное. Несоответствие между, с одной стороны, информационной мощью системы, способной донести ваше высказывание до миллионов персональных компьютеров во всех уголках земного шара, а с другой - никем не контролируемой степенью вашей компетентности... создает у участника интернетовского общения чувство игровой легкости. Возникает соблазн и возможности в любой момент соскользнуть в несерьезность и иронию, столь полно соответствующие атмосфере постмодерна... Суждению предшествует выбор и решение; суждение, - говорил Бахтин, - это поступок. В таком "поступке" человеческая индивидуальность реализуется и сталкивается с другим "поступком", с другой индивидуальностью. Их диалог, - объяснял тот же Бахтин, - основа не только восприятия литературного произведения, но и культуры вообще. В пространстве и во времени культура и история только и живут в так понятом диалоге, сотканые из самореализующихся индивидуально-жизненных потенциалов. *Интернет - это впервые возникший механизм, в котором заложена принципиальная возможность, хотя и спорадической, но по масштабу глобальной, замены общения и сообщества с ответственно диалогической структурой общением и сообществом, где такая структура факультативна и произвольно избирательна* (курсив - О.Ш.). Эта ирония и самоирония прохождения индивидуального сообщения через сверхиндивидуальный канал и стали называться постмодерном»<sup>144</sup>.

<sup>142</sup> Кнабе Г. Принцип индивидуальности, постмодерн и альтернативный ему образ философии.

<sup>143</sup> Цит. по: Герасимов Г. Заповеди по Дарвину. Глобализация бросает вызов, от которого можно отвернуться, но нельзя увернуться // Новое время. № 2880. 7 января 2001.

<sup>144</sup> Эпштейн М. Интернет как словесность. // Пушкин: тонкий журнал читающим по-русски, 1998, № 1 (6-7), 1 мая, с.45. Цит.по: Кнабе Г. Принцип индивидуальности, постмодерн и альтернативный ему образ философии.



Надеюсь, читателю передалась увлеченность автора фантазмагорической, фрагментированной, противоречивой и вместе с тем цельной картиной постмодерна (впрочем, мы и не ставили задачи всеобъемлющего анализа такого огромного комплекса феноменов).

Ситуацию сумятицы «характеристик» и «перспектив» передала Джейн Флэкс, подводя их под «всего лишь» три (но зато какие!) кардинальные черты, которые несет в себе постмодерн.

- «смерть человека», поскольку постмодернисты стремятся разрушить/деконструировать классические концепции человека и природы, рассматривая их как лишь кажущиеся реальными благодаря своему натуралистичному гриму, но на самом деле фиктивные и сконструированные в рамках языковых игр и социальных практик. Человек навечно запутался в паутине фиктивных смыслов, в цепи означающих, в которой субъект есть лишь другая позиция языка;
- «смерть метафизики» -- постмодернисты обвиняют европейскую традицию, со времен античности, особенно Платона, в попытке сконструировать философскую систему, в которой нечто Реальное могло бы быть и было представлено в мысли. Но на самом деле нет внешнего, трансцендентного, сознания. То, что классики называли сознанием, на самом деле – проявления дискурса. Наши ощущения, идеи, намерения или восприятие – все заранее предустановлено. Нет метафизической «истины» -- это тоже эффект дискурса.
- и наконец, «смерть истории» -- постмодернисты считают, что идея истории-как-процесса и истории-как-прогресса является выдуманной. «Человек конструирует истории, которые он называет Историей, с целью найти и оправдать свое место во времени»<sup>145</sup>

Понятно, что перечень последствий далеко не исчерпывается этим, однако, на наш взгляд здесь сконцентрированы основные.

Как писал Ж.-Ф.Лиотар в «Постмодернистском уделе» (The Postmodern Condition), «девятнадцатое и двадцатое столетия дали нам так много террора (как следствие социальных экспериментов создания Целого – О.Ш.), как только человек может пережить. Мы заплатили достаточно высокую цену за ностальгию по Целому и за примирение концепции и чувственности, непосредственного и коммуникативного опытов. На фоне всеобщих требований умиротворения мы можем услышать высказывания за возвращение террора, за реализацию фантазии, чтобы овладеть реальностью. Ответом должно быть следующее: давайте вести войну против тотальности; давайте станем свидетелями представляемого; нужно культивировать различия и спасти честь имени».

Ситуация резкого приращения знания ведет к росту его специализации, что соответственно, создает тенденцию к замыканию исследователей в узком кругу «своей» отрасли. Та метатеория, против которой выступал постмодернизм, исчезает из культурного сознания, но вместе с ней исчезает и возможность охватить общую картину, так называемое Целое. Исчезает, оставляя после себя разрозненные нити дискурсов, сплетающихся в ткань истории. Или «историй». И если время гимнов постмодернизму и его главной боевой силе – постструктурализму, уходит (а в последующих главах мы постараемся дать более развернутую картину этого «ухода» и его обсуждения среди западных интеллектуалов), то что приносит этот новый дискурс в историографию? Парадоксальный, но все же закономерный факт: интеллектуальная история, гендерная теория и другие «детища» постмодернистского состояния в культуре дают новые рефлексии постмодерна – будучи во многом результатом «лингвистического поворота», они сами становятся мощными орудиями его переосмысления.

Возможно, именно тоска по метатеории создала новое течение в историографии, на поверхности следующее постмодернистскому духу недоверия к Тотальности, но в исследовательской практике осуществляющее попытки интеграции осколков дискурса в единую картину. Итак, в следующей главе мы постараемся раскрыть основные проявления

---

<sup>145</sup> Flax, Jane. Thinking Fragments: Psychoanalysis, Feminism, and Postmodernism in the Contemporary West. – Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1990. – P.33.

лингвистического/дискурсивного поворота в истории и формы его воздействия на историографию.

## Часть 2. ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДИСКУРСИВНОГО ПОВОРОТА

### 2.1. «Язык, на котором не мы говорим, но который разговаривает нами»<sup>146</sup>

Только то, что написано, дает мне  
существование, ибо оно называет меня.  
Derrida J. Edmond Jabès et la question du livre (p.107)

Не так давно ко мне обратился мой бывший студент за советом по поводу «так называемого лингвистического поворота». В своем письме он ссылался как на непреложный факт на необходимость применять методы лингвистики, причем упоминал множество различных школ и имен, а между тем, меня не покидало ощущение «разницы кодов», которые мы используем, употребляя это словосочетание – «лингвистический поворот». Лишь прочитав письмо еще раз, я осознала, что, как и многих, термин «лингвистический» в нем весьма обманчиво направил моего корреспондента к лингвистике. Несмотря на то, что труды лингвистов действительно сыграли главную роль в распространении идей структурализма и постструктурализма в историографии, все же мы не должны забывать, что «лингвистический поворот» в отношении истории подразумевает не столько науку *лингвистику*, сколько своеобразную тональность, подход к изучению любого явления как имеющего *языковой (лингвистический)* характер. Влияние лингвистики и особенно литературоведения на историю проявляется, таким образом, в стремлении рассматривать язык как предельное онтологическое основание мышления и деятельности.

Итак, вторую главу о «лингвистическом повороте» и его значении для историографии мы начнем с утверждения тезиса о том, что центральными мотивами лингвистического поворота мы полагаем признание языкового характера мышления, распространение подходов литературоведения на гуманитарное знание, идеи «мира как текста».

Следует отметить, что историки в бывшем Советском Союзе *приходили* (я использую именно такую временную форму, поскольку этот процесс еще далеко не завершен) к представлению о языковом характере мышления, и соответственно, культуры и истории, путем, отличающимся от того, которым шел Запад. Теоретическое осмысление и обоснование «лингвистического поворота» не предшествовало практике, а напротив, двигалось за реалиями жизни в арьергарде. И если в западной историографии идеи изучения дискурсивных практик как сферы культурного производства породили такие обширные направления исторических исследований, как новая культурная история, история повседневности, устная история (а также гендерная история, которая имеет мощную установку на примат языка, символики, повседневности – что вполне закономерно, поскольку женщин в истории можно «услышать» именно в этих сферах), то к нам поначалу пришла практическая сторона, и сами эти исследования породили интерес и попытки осмысления (за исключением того направления, которое взяли последователи Тартусской школы и Ю.Лотмана, получившую мировое признание концепцию М.Бахтина – правда, преимущественно в литературоведении).

Осмысление языковой природы считалось в советской традиции прерогативой языкознания, в лучшем случае литературоведения или философии, но никак не истории или социальных наук. И это, позволим себе такую оговорку, не случайно, поскольку признание примата языка логично ведет к признанию сконструированности исторических произведений по тем же принципам, что и литературные (и близости истории к литературе). Соответственно, говорить о ведущей роли истории, историческом прогрессе и т.п. в условиях господства теоретического наследия максизма-ленинизма тогда становилось проблематичным. Именно поэтому, в отличие от довольно быстрого освоения постсоветской историографией наработок школы «Анналов», новой культурной истории, гендерной истории, устной истории, только к

<sup>146</sup> Эко У. Отсутствующая структура, с.335.

концу 1990-х гг. начинается волна «разоблачений» исторического исследования как творчества, а истории как литературы.

Между тем, вне осмысления языкового характера мышления, деконструкции механики формирования языковых форм, осознания дискурсивности культурного пространства, наличия фигур-троп и в обыденной речи, и в исследовательском труде, -- опыт новой культурной истории, как и других «новых» направлений в современной историографии представляется в урезанном виде. И чтобы не развивать здесь тему пребывания исследователя в «башне из слоновой кости», просто сошлемся на тот вполне понятный факт, что история не может оставаться исключенной из общего культурного дискурса постмодерна, знаковым элементом которого является внимание к языку.

В свое время я была поражена фактом мифологизации собственных представлений на примере, приводившемся в замечательном междисциплинарном исследовании российского лингвиста И.Сандомирской «Книга о Родине».

Пример из ее личного опыта иллюстрирует стереотипы, скрывающиеся в каждом из нас. «Когда в школе мы изучали „Горе от ума“, учитель спросил класс, как мы понимаем крылатое выражение „И дым отечества нам сладок и приятен“. Восьмиклассники середины 70-х, пионеры и комсомольцы, воспитанные на советских фильмах, книгах и песнях о войне, мы дали интерпретацию следующего рода: если на наше Отечество нападут враги и сожгут его дотла, то даже и в таком „ущербном“ виде оно будет дорого сердцу патриота. По-видимому, повод для такой интерпретации возник в связи с присутствием в афоризме смысла пожара, огня, горения, которые мы немедленно интерпретировали в духе современных нам фильмов о войне, в стилистической тональности известной стихотворной строчки „Враги сожгли родную хату“. Полное несоответствие стилистики нашей интерпретации значению атрибутов “сладок” и “приятен” мы проигнорировали, проявив не только филологическую невинность, но и языковую глухоту. Примат заготовленной и уже прочно сидевшей в нашем сознании конструкции оказался абсолютным»<sup>147</sup>.

На самом деле, через целую цепочку заимствований и цитат (Грибоедов-Державин-Овидий-Гомер) мы выходим на образ о «дыме отечества – дыме родного очага, который сдувает с кровли ветер, и передает этот образ настроение воина, который собирается в поход и заранее грустит по родному дому, предпочитая богатой военной добыче один только запах родного жилища»<sup>148</sup>.

Исследование подобных искажений, цитат и заимствований, переданных в устной традиции или историографически, становится сегодня важной сферой культурной археологии языка, а осмысление их в категориях истории повседневности, культурной, гендерной историй – неотъемлемой частью современной историографии.

Но даже здесь исследователи осознают «объективное» препятствие к «объективному» исследованию – устройство памяти как таковое, причем памяти не только исследуемого носителя культуры, но и самого исследователя. Как пишет та же И.Сандомирская, «мы видим прошедшие эпохи через призмы стереотипов и знаний, внушенных нам собственным воспитанием и образованием, в преломлении картины мира культурного и социального круга, к которому мы принадлежим, сквозь топографическую сетку „само собой разумеющегося“ на когнитивной карте локального знания сегодняшнего дня. При таких обстоятельствах изучение культуры ушедшей эпохи неизбежно сводится к переводу ее понятий на свойственную исследователю культурную идиому. Внутреннее видение (или внутренний редактор?) схватывает при чтении старых документов то, что узнаваемо, то, что соответствует актуальному опыту читающего»<sup>149</sup>.

В плену собственного языкового подсознания (или в «сладком» плену своего неведения – трактовка может варьироваться) и самой природы мышления, мы не замечаем их

<sup>147</sup> Сандомирская И. Книга о Родине: опыт анализа дискурсивных практик. – Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 50, Wien 2001. – С. 155.

<sup>148</sup> Там же.

<sup>149</sup> Там же, с.156.

особенностей или закономерностей, они есть с нами, и мы не ощущаем их присутствия. А когда ощущаем, то в поисках первоначального смысла вновь упираемся в его последующие искажения. И искажения даже более тонкие, чем может показаться на первый взгляд, поскольку идеологические конструкции, в том числе историографические категории, как признает Сандомирская, часто не имеют автора и опираются на *ощущение* традиции, а не на традицию как таковую. «Подобно народному творчеству, культурное конструирование не имеет категории авторства. Удачная конструкция создает по себе ощущение цитатности, даже если история ее изобретения еще свежа. Такое „цитатное” переживание события, такая заведомая фразеологичность любого имени создает чувство соприсутствия Большинства („здорового смысла”) или чувство соприсутствия Времени („исторической традиции”). Это значимости, которые создаются исключительно припоминающим (напоминающим) действием языковой фразеологии. Однако, именно на неточных цитатах, которые современники вчитывают в собственную культурную историю, и покоятся традиции „воображаемых сообществ”»<sup>150</sup>.

Парадоксальна с точки зрения возможностей познания и ситуация с осознанием природы языка, речи как таковых. Язык является настолько глубоко погруженной структурой, что человек не может вернуться в непосредственность до-языкового бытия, пока к нему применимо название «человек». И в то же время, именно ситуация наличия языка (внутренней речи у Л.Выготского, тормозной доминанты у Б.Поршнева, символической системы, рождающей разрывы и запаздывания у Ю.Лотмана) ставит нашу позицию в мире как фундаментально опосредствованную, а следовательно проблематичную «с самого начала». Так, М.Аркадьев, рассуждая о постоянном присутствии в человеке языковой, символической, знаковой «пленки», приводит данные психофизиологических экспериментов, из которых следует, что реакции человека на многие, существенно важные внешние раздражители замедлены по сравнению с аналогичными реакциями животного примерно на 1 сек. И возможно, что причиной этой задержки является именно скрытая речевая деятельность. «Язык как бы вынуждает нас останавливаться и осуществлять свой выбор там, где “раньше” это без запинок делал “инстинкт”. “Непосредственная” же, т.е. доязыковая позиция остается как бы “позади”, “за спиной” человека, хотя и соприсутствует в нем как уровень его “животной” телесности»<sup>151</sup>.

Эта «языковая пленка» неустранима. Именно она вносит специфический разрыв в отношение Мир/Человек, и она же, в конечном счете, дает средство для осознания и описания этого разрыва. Более того, само указанное отношение структурно определимо только через наличие этой языковой пленки и этого разрыва... Чаще всего мы просто не в состоянии замечать эту ситуацию, поскольку бессознательно отождествляем эту «языковую пленку» с миром.

Принимая еще сосюрковский тезис о том, что «границы моего мира – суть границы моего языка», мы приходим к осознанию, что сам язык обуславливает и типы, и образ мышления, и особенности культуры той или иной эпохи.

Еще в 1930-е гг. американские лингвисты выдвинули гипотезу о том, что «мысли индивидуума контролируются непреклонными законами или образцами языка, которые он не осознает». Мысль эта, развитая в современном деконструктивизме, литературоведении и других проявлениях дискурса второй половины двадцатого века, во многом определяет и состояние, и перспективы историографии.

Итак, с одной стороны, мы говорим об определяющем влиянии языка на культурное сознание эпохи. И все же, с другой, не можем забывать об обратной стороне монеты – о воплощении в языке ключевых символов культуры той или иной эпохи. Известная фраза Р. Лэйкофф о том, что «язык использует нас в такой же степени, в какой мы используем его», является сегодня показательной для исторического сознания. Иными словами, использование

<sup>150</sup> Там же, с.155.

<sup>151</sup> Аркадьев М.А. Лингвистическая катастрофа Тезисы Межвузовской научной конференции «Особенности философского дискурса». Москва, 5-7 февраля 1998 г. – М.: Изд-во УРАО, 1998. С.11-15.



языка, с одной стороны, неотъемлемо от повседневной жизни, с другой – конституирует саму нашу жизнь.

Эта идея приобрела фундаментальный смысл и, развитая в современном деконструктивизме, литературоведении и других культурных проявлениях второй половины XX века, во многом определяет и состояние, и перспективы историографии сегодня.

Мы умышленно оставляем за рамками своих рассуждений о «лингвистическом повороте» такие огромные домены, как общая лингвистика и ее, условно говоря, «прикладные» направления – психолингвистика, социоллингвистика, когнитивная лингвистика, а также необъятные поля логической семантики, модальной логики, теории речевых актов (от Л.Выготского и Ж.Пиаже до Г.Фреге, К.Льюиса, Д.Остина и У.Куайна) и т.д. Как историограф, меня интересует сама идея о языковом характере мышления и вытекающие из нее онтологические и гносеологические последствия для истории. Разумеется, мы не претендуем на «анализ» ключевых моментов лингвистического поворота «вообще», и сознательно признаем некоторую «конспективность» этой части – главное содержание ее заключается в «изложении» для историков основных идей лингвистического поворота и его следов в истории и теории истории.

Каковы же основные составляющие лингвистического поворота в теоретическом плане, если исходить из его мотива о языковом характере мышления и переноса подходов и методов (в частности, об использовании последних речь пойдет в параграфах, посвященных Х. Уайту и новому историзму) литературной критики на все гуманитарное знание?

Мир воспринимается человеком посредством языка и осмысливается через язык. Это специфически-человеческое восприятие конституирует воспринимаемый человеком мир как текст, наполненный семиотическими связями. Следует констатировать две главные позиции по поводу возможностей познания этой конструкции: познание невозможно вообще, исходя из языкового характера самого этого познания / познание возможно в той мере, в какой мы отдаем себе отчет о языковом характере любого знания (поскольку мир – семиотическое образование, то оно может быть расшифровано).

Следуя тезису классического структурализма, все элементы текста (а мы повторяем, что под «текстом» в традициях «лингвистического поворота» понимается культура в целом) взаимосвязаны и связь эта носит трансуровневый характер. Исходя из тезиса классического постструктурализма, эта связь проявляет себя в виде повторяющихся единиц разных уровней (мотивов, троп...).

Согласно классическому психоанализу и постфрейдской аналитической психологии, оказавшихся на перекрестии огня в баталиях лингвистического поворота, «в тексте нет ничего случайного -- самые свободные ассоциации являются самыми надежными, и за каждым поверхностным и единичным проявлением текста лежат глубинные и универсальные проявления, носящие мифологический характер»<sup>152</sup>. Каждый элемент текста имеет прямые (деннотативные) и косвенные (коннотативные) значения, которые определяются контекстом самого текста и его соотношения с миром. Эти соотношения носят диалогический характер (в терминологии М.Бахтина) или характер полилога (Ю.Кристева), складывающиеся между автором, читателем и исследователем (в непосредственном историографическом контексте – между источником, автором, исследователем, текстом, читателем).

Известный российский языковед и философ В.Руднев так конституировал свои взгляды, и это кажется нам показательным примером, катехизисом во времена лингвистического поворота: «текст — это системное единство (1), проявляющее себя посредством повторяющихся мотивов (2), выявляемых при помощи метода свободных ассоциаций (3), обнаруживающих скрытые глубинные мифологические значения (4), определяемые

<sup>152</sup> Руднев В. Винни Пух и философия обыденного языка. // Милн А. Winnie Пух. Дом в Медвежьем Углу / Пер. с англ. Т. А. Михайловой и В. П. Руднева; Аналитич. ст. и коммент. В. П. Руднева. М.: Аграф, 2000. -- С.14.

контекстом, с которым текст вступает в сложные взаимоотношения (5), носящие характер межмировых отношений между языком текста и языком реальности (7), строящихся как диалог текста с читателем и исследователем (8)»<sup>153</sup>.

Постулат о тождестве языкового оформления сознания с самим сознанием завоевывает центральное место в литературоведении уже к 1950-м гг. Позже этот процесс «захватывает» и остальные домены гуманитарного знания. Разумеется, мы не ставим здесь задачу доказать или опровергнуть саму эту идею. Наша задача – рассмотреть и изложить для историков основные моменты процессов, связанных в единое целое термином «лингвистический поворот» с его «*Loquor ergo sum*» («говорю, следовательно, существую») в противовес классическому «*Cogito ergo sum*». Может быть, точнее даже «пишу, следовательно, существую», поскольку с лингвистическим поворотом мир представляется порождением именно письменного сознания, «Гуттенберговой цивилизации», состоящей из необъятной совокупности текстов.

Согласно хрестоматийному высказыванию идейного лидера постструктурализма Ж.Деррида, «ничего не существует вне текста»<sup>154</sup>, и «любой индивид в таком случае неизбежно находится «внутри текста», т. е. в рамках определенного исторического сознания, насколько оно нам доступно в имеющихся текстах. Весь мир в конечном счете воспринимается Деррида как бесконечный, безграничный текст, как «космическая библиотека», по определению Винсента Лейча, или как «словарь» и «энциклопедия», по характеристике Умберто Эко»<sup>155</sup>.

Напомним ставшую уже довольно распространенной идею о том, что наше мышление цитатно, а культура – интертекстуальна. В этом отношении можно привести пример опросов на тему Родины, которые проводились среди молодежи Москвы, Петербурга и Харькова. Отвечая на вопрос о том, что означает для респондента такое, казалось бы, знакомое нам с детства слово «родина», «опрашиваемый раздражался потоками стереотипных словосочетаний из советской пропаганды, неявными цитатами из патриотической песни, приводил воспоминания детства, как две капли воды напоминающие тексты из школьных хрестоматий, увлеченно описывал личные переживания, не отличимые от эпизодов советского кино, или выражал собственные политические убеждения, как будто списанные с культурных программ политических партий. Таков дискурс о Родине: здесь поневоле все цитируют всех. Говорить о Родине легко, но чрезвычайно трудно при этом быть оригинальным».<sup>156</sup>

Пример деконструирования дискурса родины, располагающегося «одновременно везде и нигде», который приводит И.Сандомирская в своей работе, представляется нам весьма значимым, поскольку образ родины для всех национальных культур оказывается одним из самых важных в общей картине мира и, соответственно, порождает не просто интерес со стороны «чистой науки», но и непосредственно связан с социальными запросами сегодняшнего дня.

При употреблении «родина», возникает множество ассоциаций- репрезентаций Родины: плакат „Родина-мать зовет“ военного времени, песни, текст торжественного обещания пионеров Советского Союза, напечатанный на задней обложке школьной тетрадки, уличные плакаты к „красным датам“ и многое, многое другое. «Патриотическая пропаганда, которую советский идеологический режим направлял на меня и моих соотечественников, слилась с ландшафтом памяти: язык официальной доктрины все теснее сплетается с личными воспоминаниями, образуя нераздельное общее и целое символического пейзажа Родины»<sup>157</sup>.

Все это было, все это верно для того поколения, которое еще несет в себе воспоминания-конструкции советского времени. После развала Советского Союза мы потеряли не только ощущение целостности и ясности (в идеологии, в философии, в истории и т.д.) – мы потеряли большую Родину, складывавшуюся сложнейшим образом из советской риторики, дискурса «малой родины»-Белоруссии, идеологических наслоений. В каком состоянии находится

<sup>153</sup> Там же, с.15.

<sup>154</sup> Derrida J. *Of Grammatology*. – Baltimore: John Hopkins University Press, 1976. – P.158.

<sup>155</sup> Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. -- С.354.

<sup>156</sup> Сандомирская И. Книга о Родине: опыт анализа дискурсивных практик, с.27.

<sup>157</sup> Там же.

общественное сознание в условиях образовавшейся ниши? Похоже, российские антропологи, историки, лингвисты, социальные психологи открывают это поле гораздо быстрее белорусских специалистов. Какие идеологические клише можно противопоставить полустершимся воспоминаниям со времен «братского союза» «республик-сестер». «Нявольніцтва, жабрацтва так нас зъела»? «Купляйце беларускае?» «За Беларусь?»

Приходится констатировать, что это новое для белорусской историографии поле, и перед белорусскими исследователями стоят огромные задачи анализа словесных, поведенческих коллективных репрезентаций, разработки тем, связанных с идеологией и языковыми практиками в современных условиях.

При этом, конечно, перед исследователями встают не только барьеры языкового характера мышления, но и проблемы различий символической репрезентации реальности в культуре. Например, для большинства историков логичным представляется утверждение о том, что чем дальше, казалось бы, от нас то историческое время, с которым мы работаем, тем труднее нам вообразить, что происходило там на самом деле, тем труднее составить “каркас”, “подогнать”, найти подходящие формы в современной реальности, чтобы вообразить “реальность прошлую”. Но французский мэтр истории Ж.Дюби свидетельствует об обратном: “Позиция медиэвистов является гораздо менее безопасной, чем у этнологов, анализирующих экзотические общества, или даже чем у писателей античной истории, поскольку культура, которую они изучают, это в большой степени их собственная культура; для них трудно достаточно дистанцировать себя; несмотря на самих себя, они остаются узниками ритуалов и системы ценностей, которые не сильно отличаются от тех, что они изучают и хотели бы демифологизировать; они могут легко распознавать только их внешние, публичные, формальные проявления”<sup>158</sup>.

Вероятно, представление о том, что исследователь находится в плену «ритуалов и ценностей», клише собственной культуры, осознание цитатности/интертекстуальности культуры не могло прийти раньше, так же, как и осознание языкового характера мышления в целом не могло прийти (а если и приходило – то совсем в иных терминах, не будем «достраивать» взгляды Гердера или Канта до постмодернистской взаимообусловленности культура/человек/язык) философам 18 ст. Только в условиях подвижности населения, «метизации» как выразился У.Эко, в условиях глобализации культурных штампов, роста связанности мира и скоростей передачи информации мы можем говорить о процессе внедрения представлений о всеобщей цитатности и интертекстуальности культуры в массовом сознании.

Письмо/говорение, применение языка в целом уже означает использование тех или иных концепций («красный», «любовь», «справедливость», «женщина» и т.п.), которые мы принимаем в соответствии с нашими конвенциями о том, что они означают. Мой трехлетний сын, уже прожив два года во Франции, никак не мог понять, почему французы вместо «простого» пожелания здоровья в русском «*здравствуйте*» используют «*bon jour*», хотя «тоже хотят поздороваться». Прошло немного времени, и он научился просто переключаться с одного языкового «регистра» на другой и не искать соответствия.

Или возьмем пример, который приводит С.Тер-Минасова: чтобы назвать «*палец*» по-английски, необходимо уточнить, что имеется в виду: палец руки или ноги, и если руки, то какой палец, потому что, как известно, пальцы руки, кроме большого, у англичан называются *fingers*, большой палец — *thumb*, а пальцы ноги — *toes*. Русскому словосочетанию *десять пальцев* эквивалентно английское *eight fingers and two thumbs* [восемь пальцев и два больших пальца], а *двадцать пальцев* — это *eight fingers, two thumbs, and ten toes* [восемь пальцев, два больших пальца (на руках) и десять пальцев (на ногах)]. Форма выражения одного и того же кусочка реального мира вызовет у русского, изучающего английский язык, ощущение избыточности (зачем делить пальцы на *fingers, thumbs, toes?*), а у англичанина, изучающего русский язык, — недостаточности (три разных с точки зрения английского языкового мышления понятия объединены в одно — *палец*)<sup>159</sup>.

<sup>158</sup> Duby G. *Love and Marriage in the Middle Ages*. – Cambridge, Oxford: Polity Press, 1994. -- P.22.

<sup>159</sup> Тер-Минасова С.Г. *Язык и межкультурная коммуникация*. – М.: Слово/SLOVO, 2000. – С.50.

Причина лингвистической неэквивалентности состоит в том, что слова всегда имеют культурные коннотации, со-значения, подразумевания, и даже и при элементарном счете на пальцах мы считаем по-разному: большинство представителей «западного мира» разгибает пальцы наружу, мы же загибаем их внутрь, закрывая ладонь, как бы закрывая свое «Я».

Как писал Р.Барт («Миф как семиологическая система»): «В любой семиотической системе постулируется отношение между двумя элементами: означающим и означаемым». Когда мы говорим «розы», то подразумеваем и другие коннотации, например, «любовные чувства»; в результате – возникает нечто третье, а именно «розы, отягощенные чувством», т.е. знак.

Примеров подобного рода – бесчисленное множество, и мы можем говорить о культурных различиях, отраженных в языке, или речевом сознании, создающем эти различия. Так, «мы можем сказать о людях, животных, и даже о любом предмете неживого мира: *домик, домищека, домичек, домок, домушка; ложечка, вилочка, кастрюлька, сковородочка* и т. д. Всему этому богатству английский язык может противопоставить только слово *little или dear little: little cat* [букв. маленькая кошка], *dear little dog* [букв. милая маленькая собака], но до высот *dear little fork/spoon/frying pan* [букв. милая маленькая вилка/ ложка/сковорода] англоязычному человеку не подняться... – и не просто потому, что в английском языке нет такого количества и разнообразия уменьшительно-ласкательных суффиксов, а главным образом потому, что у них этого нет и в менталитете. А в менталитете нет, потому что нет в языке, они не приучены языком к таким “нежностям”»<sup>160</sup>.

Слово как единица языка («означающее», *signifier*) соотносится с неким предметом или явлением мира («означаемое», значение слова, *signified*). «Однако не только эти предметы или явления могут быть совершенно различными в разных культурах (*дом* эскимоса, китайца, киргиза и англичанина — это очень разные дома). Важно, что различными будут и культурные понятия об этих предметах и явлениях, поскольку последние живут и функционируют в разных мирах и культурах. За языковой эквивалентностью лежит понятийная эквивалентность, эквивалентность культурных представлений»<sup>161</sup>. Гораздо труднее, если рассматриваемое слово является идеологической конструкцией, за которой, как в приводившемся примере с Родиной, кроются многочисленные идиоматические культурные смыслы, полузабытые цитаты, воспоминания, всевозможные клише и ассоциации.

Мишель Фуко нашел вдохновение в отрывке из сейчас уже клишированного рассказа Х.Л.Борхеса «Аналитический язык Джона Уилкинса», где есть такая «китайская классификация» животных, которые подразделяются на: «а) принадлежащих Императору, б) бальзамированных, в) прирученных, г) молочных поросят...» и т.д.<sup>162</sup>. Фуко констатирует: «Предел нашего мышления - то есть совершенная невозможность мыслить таким образом - вот что сразу же открывается нашему взору, восхищенному этой таксономией; вот какое экзотическое очарование иного способа мыслить предстает перед нами под покровом аполога»<sup>163</sup>.

«Экзотическое очарование иного способа мыслить» открывается нам не только при чтении литературных сюжетов, но и в научных трудах по антропологии и этнолингвистике. Так, американский антрополог Л.Бохэннен сделала попытку пересказать шекспировского «Гамлета» жителям Западной Африки. В результате, оценки, которые они давали хрестоматийным для европейской культуры героям и событиям, сильно отличались от привычных нам. Так, «Клавдий — молодец, что женился на вдове брата, так и должен поступить хороший, культурный человек, но нужно было это сделать немедленно после смерти мужа и брата, а не ждать целый месяц. Призрак отца Гамлета вообще не уложился в сознании: если он мертв, то как он может ходить и говорить? Полоний вызвал неодобрение: зачем он

<sup>160</sup> Там же, с.153-154.

<sup>161</sup> Там же, с.53.

<sup>162</sup> См. Борхес Х.Л.. Аналитический язык Джона Уилкинса. Оправдание вечности. // Борхес Х.Л. /Коллекция: Рассказы; Эссе; Стихотворения. – СПб.: Северо-Запад, 1992. – С.355-356.

<sup>163</sup> Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб.: А-сэд, 1994. – С.28-37.

мешал дочери стать любовницей сына вождя — это и честь и, главное, много дорогих подарков. Гамлет убил его совершенно правильно, в полном соответствии с охотничьей культурой туземцев: услышав шорох, крикнул «что, крыса?», а Полоний не ответил, за что и был убит. Именно так и поступает каждый охотник в африканском лесу: услышав шорох, окликает и, если нет человеческого отклика, убивает источник шороха и, следовательно, опасности»<sup>164</sup>.

Итак, использование языка, с одной стороны, неотъемлемо от повседневной жизни, с другой – конституирует саму нашу жизнь. “Сама по себе мысль – словно бесформенное облако, ее форма не является внутренне детерминированной. Не существует идей, predeterminedных заранее, как нет ничего отчетливо-ясного до языковой структуры”<sup>165</sup>.

Такая точка зрения стала отправной для многих современных исследователей, ориентирующихся в особенности на историческую антропологию, культурную историю, гендерную историю и исследующих языковое сознание той или иной эпохи, деконструирующих дискурсивные практики, стереотипы, культурную символику, ритуалы и т.п.

---

<sup>164</sup> См.: L. Bohannan. Shakespeare in the Bush. Applying Cultural Anthropology. Ed. by A. Podolefsky / Peter Brown. Mayfield Publishing Company, 1991. Цит. по Тер-Минасова С.Г. Указ.соч., с.23.

<sup>165</sup> Saussure F. Course in General Linguistics. – London: Duckworth, 1983. -- P.110.



## 2.2. Структуралистские и постструктуралистские регистры лингвистического поворота

Представители нашего поколения обычно, а иногда и гневно, вопрошают: чья история? чья наука? чьим интересам служат те иные идеи или истории? Брошен вызов всем претензиям на универсальность, выраженным в таких фразах, как “люди (“men”)– это...”, “естественно, наука утверждает...” и “как все мы знаем...”.

*Joyce Appleby, Lynn Hunt, Margaret Jacob. Telling the Truth About History. New York, London: W.W. Norton and Company, 1994 (p.4)*

Каковы бы ни были многочисленные составляющие ситуации постмодерна (а они так варьируются, что многие исследователи относят сюда все: «от кибер-панка» до «смерти метанарратива», от «фанзинов» до «Фуко»), сейчас нас интересует, главным образом, основные линии влияния его важнейшей составляющей – лингвистического поворота – на гуманитарное знание вообще, и на историческое сознание, в частности.

Мы исходим из того, что главными характеристиками лингвистического (или «дискурсивного», как иногда его называют по главному слогану – изучению *дискурса*) поворота являются его мотивы о языковом характере мышления и перенос подходов литературоведения на все гуманитарное знание. “Переосмыслить все еще раз в терминах лингвистики!”, восклицал Фредерик Джеймсон в нашумевшем сборнике Ричарда Рорти «Лингвистический поворот»<sup>166</sup>.

В целом, понятие «лингвистического поворота» варьируется в зависимости от того, представители каких дисциплин дают ему определение, и следует отметить тот печальный факт, что мнения историков на сей счет не только конфликтуют между собой, но и представлены неизмеримо слабее, нежели позиции философии, лингвистики и культурологии. В самом общем виде, лингвистический поворот может быть осмыслен с точки зрения того, что в принципе любую философскую, эпистемологическую, психологическую и т.п. проблему он *обращает в проблему о языке*.

Некоторые исследователи относят старт «лингвистического поворота» еще к началу XX в., выделяя в качестве главной его первую часть: лингвистическую, с осмыслением языковой обусловленности мира. Мы склоняемся к акцентированию в нем второй позиции, связанной с «литературоведческим» уклоном, а в теоретическом плане – с влиянием уже не структурализма, а постструктурализма. При этом многое из теоретического багажа структурализма остается базовым и для постструктуралистов.

Следует выделить, что главной особенностью наступления постструктурализма (и по мнению некоторых исследователей перехода постмодерна с его «структуралистского» периода к постструктуралистскому) является «*движение от лингвистической к литературной модели*»<sup>167</sup> (курсив О.Ш.). Эта трансформация происходит тогда, когда «акценты в исследованиях переносятся со “знака” на “текст”, с “языка” на “дискурс”»<sup>168</sup>. И если, согласно Ж.Деррида, «речь» суммируется как «письмо», то ее восприятие является «чтением» (интерпретацией), а не «слушанием».

И не только литературная критика, но все формы дискурса начинают рассматриваться как текстуальные, как литературные, как то, что может быть проанализировано в терминах «риторики». Литературная критика становится моделью для аналитических работ во всех

<sup>166</sup> Jameson F. “The Prison-House of Language” in: *The Linguistic Turn*, ed. Richard Rorty. – Princeton: Princeton University Press, 1975. – P.243.

<sup>167</sup> Berman A. *From the New Criticism to Deconstruction: The Reception of Structuralism and Post-Structuralism*. – Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1988. -- P.175.

<sup>168</sup> *Ibid.*, p.176.

областях гуманитарного знания – и, собственно, именно тогда «лингвистический поворот» начинается.

Постулируя основные составляющие лингвистического поворота в социальных науках – признание исследователями языкового характера мышления, перенос подходов и методов литературоведения, влияние постструктуралистской идеологии – и анализируя их «фон» в общей картине гуманитарного знания, мы не можем оставить без внимания те проявления, которые в последнее время стали «огневыми точками» теоретических баталий. Баталий, где направления, бывшие довольно долгое время «союзными»<sup>169</sup>, начинают выступать как непримиримые враги.

Главным полем для критических выступлений являются построения постструктурализма, или его «литературоведческой версии» -- деконструктивизма, и в целом их онтологические и гносеологические, как сказали бы во времена классической философии, последствия.

Расхожая фраза о том, что структурализм был реакцией на «плоский» позитивизм, скрывает огромный пласт собственной историографии. Действительно, изначальный пафос структурализма был направлен на «модернизацию» гуманитарных наук с учетом опыта позитивистских попыток их перестройки, «подтягивания» под уровень естественных наук. Возникший на заре XX в., структурализм в самом общем смысле определяется как направление во многих сферах гуманитарного знания, ставящее в качестве основной задачи исследование структуры объектов. Однако подспудно идеология структурализма (как позднее и постструктурализма) кроется в лингвистическом детерминизме: язык сам по себе становится объяснительным принципом.

Генеалогия структурализма восходит к Ф. де Соссюру (в частности его «Курс общей лингвистики», 1915) -- первому, кто определил предмет лингвистики (язык), его закономерности и создал исследовательскую методiku. Выделив особенности «языка» (социального феномена) и «речи» (индивидуального феномена), Соссюр тем самым конституировал основное: «речь», в отличие от «языка», принадлежит говорящему и является актом его воли и разума. «Сама по себе мысль – словно бесформенное облако, ее форма не является внутренне детерминированной. Не существует идей, предопределенных заранее, как нет ничего отчетливо-ясного до языковой структуры»<sup>170</sup>. Таким образом, язык структурирует мир; весь известный мир обусловлен используемым языком. Знак (слово) объединяет означающее, акустическую целостность, и означаемое, «концепцию». Эти «два элемента, составляющие лингвистический знак, являются психологическими и связаны в мозгу по ассоциации»<sup>171</sup>.

Лингвистические идеи Соссюра были восприняты многими его современниками (параллельно развивались идеи так называемого русского формализма, а затем Пражского кружка – Н.Трубецкой, Р.Якобсон, В.Пропп, Л.Ельмслев и др.). В то же время традиционно выделяется новаторская роль «отца французского структурализма» Клода Леви-Стросса, который применил методы языкознания в практике антропологических исследований («Элементарные структуры родства», 1949; «Печальные тропики», 1955; «Первобытное мышление», 1962). Его работы, уже давно ставшие классикой истории распространения структурализма среди гуманитарных дисциплин, основанные на принципе отождествления строения языка и культуры, дали первый значимый пример использования подходов лингвистики к неязыковому материалу.

Подобная установка, констатирует российский автор Г.К.Косиков, «открывала путь для переноса лингвистических, а затем и структурно-семиотических методов в любые гуманитарные науки в той мере, в какой они получали возможность выделять в своем

<sup>169</sup> О «союзе», например, феминизма и постмодернизма см. *Feminism/Postmodernism*. Ed. Linda Nicholson. – N.Y.: Routledge, 1989. – 348 p.

<sup>170</sup> Saussure F. *Course in General Linguistics*, p.110.

<sup>171</sup> *Ibid.*, p.66.

материале «язык» и «речь», «диахронию» и «синхронию», «варианты» и «инварианты» и т.п. ... Унификация гуманитарных наук под знаком лингвистики – такова была методологическая установка структурализма»<sup>172</sup>.

Интересное наблюдение по этому поводу мы находим у американского исследователя А.Бермана: «Возможно, что подход Леви-Стросса к мифу сродни подходу медицинских учебников к болезни, для которой они указывают симптомы, причины и прогнозы безо всякого внимания к личности носителя этой болезни (хотя не существует болезни отдельно от ее носителя)»<sup>173</sup>.

Работы К.Леви-Стросса, А.-Ж. Греймаса, Р.Барта (в особенности бартовские «Мифологии», 1957; «Система моды», 1967) и др. послужили мощным толчком к выработке идеологии «знака» в культуре и созданию семиологии, основанной на научном эмпиризме – традиции, идущей еще от таких представителей английской философии, как Гоббс, Локк, Беркли, Юм. Главным орудием структурализма в борьбе за «научность» гуманитарного знания была разработка и применение понятия «структура», ее основных особенностей (целостность, саморегулируемость, изменяемость), а в связи с этим – решение проблемы субъект/объект, выработка понятия «структурного объяснения» (в противовес генетическому или причинно-следственному объяснению).

Появление и распространение постструктурализма было во многом парадоксальным, поскольку как раз тогда, когда структурализм начал свое «победное шествие» по мировым научным центрам и превратился в своеобразную моду, внутри него самого уже наметился радикальный сдвиг, изменивший и перечеркнувший то, за что он ратовал. А.Берман, например, считает, что, когда структурализм и позже постструктурализм пришли в Америку, они были приняты в атмосфере, где американские литературные критики пытались сохранить самое понятие «я», которое вообще-то французские мыслители как раз и разрушали. *«Хотя французская теория была воспринята – благодаря своей подразумеваемой научной базе, политической легитимности и, что особенно важно, возвышению, даже возвеличиванию, статуса языка – теория в Америке, с точки зрения «Я», научности и эмпиризма на самом деле двигалась в направлении, противоположном европейскому»*<sup>174</sup>. Цитата выделена мною умышленно – ведь по поводу проникновения постструктурализма в советскую (и постсоветскую) гуманитарную мысль напрашиваются те же параллели. Действительно ли это наблюдение Бермана у нас? В принципе, это утверждение спорно и для Америки, ведь уже целое поколение гуманитариев не мыслит себя вне произведений П.де Мана, Ф.Джеймсона, А.Блума, Дж.Х.Миллера и др. Поэтому говорить, что американская историография из-за ее изначального эмпиризма не восприняла идеи «новой критики», деконструктивизма и вообще постструктурализма, было бы неверным. Восприняла, и довольно быстро.

Что же о «постсоветском» варианте распространения, то тут приходится помнить о фундаменте, заложенном еще русскими «формалистами», лингвистическим структурализмом Н.С.Трубецкого и Р.О.Якобсона, «лингвистическим» прочтением литературы В.Шкловского, Р.Якобсона, О.Брика, Ю.Тынянова, Б.Томашевского, Б.Гаспарова, Б.Эйхенбаума, философией диалогизма М.Бахтина), Тартусской школой и Ю.Лотманом – которые, в свою очередь, оказывали заметное влияние на французских и американских постструктуралистов.

Тем не менее, именно из-за устоявшихся традиций в русской лингвистике «освоение» деконструктивистских идей имело затяжной характер. «Деконструкция, воспринимавшаяся в 1992 году с понятным (и весьма небольшим) инерционным отставанием как главная интеллектуальная мода Соединенных Штатов, была, конечно, в принципе несовместима с ценностными установками русского филологического сообщества<sup>175</sup>», -- признается

<sup>172</sup> Косиков Г.К. «Структура» и/или «текст» (стратегии современной семиотики) // Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму. – М., Прогресс, 2000. – С.3.

<sup>173</sup> Berman A. From the New Criticism to Deconstruction: The Reception of Structuralism and Post-Structuralism, p.131.

<sup>174</sup> Ibid., p.4.

<sup>175</sup> Козлов С. На rendez-vous с «новым историзмом» // Новое литературное обозрение, 2000, №42.

российский критик Сергей Козлов. Освоение территории деконструктивизма шло, главным образом, через практику, «прикладные» исследования, а язык «деконструкций» и «культурных метафор» усваивался интуитивно. Тем не менее, в течение каких-то 5-7 лет постструктуралистские «веяния» распространились среди российских литературных критиков и лингвистов, реже – историков.

Как будут складываться «взаимоотношения» постструктурализма и белорусских исследователей, покажет время, но уже сейчас мы можем констатировать растущий интерес и «модную» эйфорию, а также смешение идей, периодов и жанров: к нам приходят постструктуралисты структуралистского разлива, и классики структурализма зачастую получают ярлык постмодернистов...

Понятно, что ситуация, связанная с «модностью» данного течения, постепенно нормализуется. Приобретет ли постструктурализм «нормативный» характер у нас, зависит от того, насколько он окажется «адекватен» сегодняшней реальности в Беларуси, с одной стороны, и от ответов белорусских гуманитариев на постструктуралистские «вызовы» с другой.

Конечно, рассуждая о теоретическом багаже постструктурализма, следует акцентировать его отличие от структурализма в плане осмысления проблемы «языка». В период своего «структуралистского осмысления» язык рассматривался как целостность структуры фонетических различий, система понятий, каждое из которых имеет соответствия в объективной реальности. При этом хотя идеи о нерепрезентативности языка появились уже в среде структуралистов, кардинальный пересмотр проблемы эмпирического соответствия стал актуальным только с приходом постструктурализма.

А.Берман показывает, как постепенно выстраивалась идеология постструктурализма, и прежде всего, вокруг признания, что четкая связь между «означающим» (“signifier”) и «означаемым» (“signified”) в теории Соссюра является ее же теоретической слабостью. «”Означаемое”, которое соответствовало локковской «идее», могло быть всегда редуцировано в нерепрезентационной теории языка до бесконечности дополнительных означаемых... Эта связь была разорвана Ж.Лаканом (Ecrits, 1966), а затем М.Фуко (The Order of Things, 1966). В работах Ж.Деррида (особенно Of Grammatology, 1967; Writing and Difference, 1967; Margins of Philosophy, 1972) «означаемое» исчезло окончательно»<sup>176</sup>.

Даже принимая существенную оговорку о том, что постструктуралистская теория представляет собой скорее «комплекс представлений, поскольку постструктуралисты отличаются крайним теоретическим нигилизмом и отрицают саму возможность какой-либо общей теории»<sup>177</sup>, все же следует отметить такой ее общий знаменатель, как «постмодернистская чувствительность». Здесь сказывается и влияние М.Хайдеггера, создателя и одного из главных проводников концептуального принципа «поэтического мышления» начала-первой половины XX в. Влияние Хайдеггера чувствуется и в работах корифея литературного постструктурализма – деконструктивизма – Ж.Деррида, и в работах многих других постмодернистов, воплощающих так называемую «постмодернистскую чувствительность», которая ориентирована на осознание литературного мышления. Ведь если исходить из постструктуралистской посылки (особенно представителей Йельской школы, отличающихся в этом плане большим философским релятивизмом и скептицизмом), что человеческому мышлению вообще присущи метафоричность и риторичность, и его природа по сути художественна, и само мышление в принципе художественно, -- тогда открывается постструктуралистская онтологизация «текста», «повествования», «нарратива» -- традиция, восходящая к Хайдеггеру и его представлению о герменевтичности самого Бытия, вскрывающей смысл слова «бытие».

Французский постструктурализм, с самого начала направивший свое внимание на критику структуры, на ее «децентрацию», на анализ неструктурируемого, на перенос

---

<sup>176</sup> Berman A. From the New Criticism to Deconstruction: The Reception of Structuralism and Post-Structuralism, p.4.

<sup>177</sup> Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм, с.6.



исследовательских акцентов с репрессивного «центра» на «границы», ставивший акцент на всем иррациональном, на неприятии целостности и пристрастии ко всему случайному, фрагментарному и нестабильному, очень четко совпал (или, лучше сказать, взаимодействовал) с общим интеллектуальным настроением против буржуазной «структуры» общества, бунтарским духом студенческого движения и идеологической атмосфере Франции второй половины 1960-х гг. Не случайным было и его развитие среди левых интеллектуалов (группы «Тель Кель», «Шанж»), и быстрое распространение среди гуманитариев, поднявших его как знамя противодействия заскорузлости системы, эпатажа буржуазного (а именно: картезианского) мировосприятия, развенчания буржуазных (а именно: структуралистских и позитивистских) стереотипов мышления.

В тонком деле анализа основных столпов классической философской теории («Я», «познание», «свобода», «истина»), обратимся к профессионалам. Г.К.Косиков, разбирая основной конфликт «философский рационализм versus структурализм и постструктурализм», пишет: «В рамках “декартовско-кантовской” онто-гносеологической модели мироустройство понимается как рационально самоупорядоченная и внутренне осмысленная целокупность, управляемая универсальными закономерностями, а человеческая субъективная организация, со своей стороны, непосредственно выводится из этой объективной организации бытия. Отсюда следует, что – в силу онтологической причастности человека к мирозданию – человеческое мышление и предстоящая ему реальность обладают одинаковой природой, а именно: составляя сущность мира, разум составляет и сущность человека, вследствие чего мировая целокупность полностью доступна рациональному постижению (принцип тождества бытия и мышления: “порядок идей” соответствует “порядку вещей”), что и гарантирует привилегированное положение человека в мире... Само сознание отождествляется с разумом и с познавательной способностью человека (человек приравнивается к своему разуму), ... как носитель сверхиндивидуального рационального сознания – как “трансцендентальный субъект”, чей разум оказывается источником беспредпосылочного, универсального и абсолютно достоверного знания о мире». При этом «философский рационализм утверждает, что на уровне сознания нет ничего такого, что не попадало бы в сферу самосознания и не получало бы там адекватного отражения, что сознание, следовательно, в точности таково, каким оно само себя представляет (по формуле “я = я”)»<sup>178</sup>.

Глобальные противоречия в этих установках (что заметили еще такие мыслители, как Ницше и Шопенгауэр) вылились в кризис классической философии. В результате возникли «антропологические учения, положившие в основу следующие тезисы: 1) разум не составляет сущность мира; поэтому 2) мир не тождествен познающему сознанию; 3) само сознание не равно разуму и не может быть к нему сведено (большая часть душевной жизни совершается за его пределами, помимо него и ему неподконтрольно); 4) сознание не является ни первичной, ни беспредпосылочной точкой отсчета в человеке, но, напротив, представляет собой сложную функцию дорефлективных и иррефлективных процессов»<sup>179</sup>.

Подобные идеи многие авторы видят как продолжение теоретического наследия эмпиризма (*esse est percipi*, Беркли), представленного английскими философами Гоббсом, Локком, Беркли, Юмом. А.Берман говорит, что для английских эмпиристов человеческое мышление не являлось целостностью, которая могла посредством своих рациональных операций постичь истину, предопределенную ей самой природой – напротив, мышление имело возможность выработки методологии, основанной на определяемых психологических механизмах, а содержание знания определялось “опытом”»<sup>180</sup>.

<sup>178</sup> Косиков Г.К. «Структура» и/или «текст»: стратегии современной семиотики. //Французская семиотика: от структурализму к постструктурализму, с. 15.

<sup>179</sup> Там же, с.16.

<sup>180</sup> Berman A. From the New Criticism to Deconstruction: The Reception of Structuralism and Post-Structuralism, p.7.



При этом А.Берман сравнивает движение английской «субъективно-идеалистической» мысли от Гоббса, Локка к Юму с эволюцией, проделанной структуралистами: от Соссюра через Леви-Стросса к Деррида<sup>181</sup>.

Все описанное выше перестает быть для историков некоей абстракцией и начинает таить в себе конкретные «пользы» и «угрозы» тогда, когда главные «болевые» точки – скептицизм и релятивизм по вопросам истины, познания, «я» -- касаются практики историка, ведь «вера в реальность прошлого и его познаваемость является центральной для исторической работы»<sup>182</sup>.

Как писали в своей совместной работе Дж.Эпплбай, Л.Хант и М.Якоб, «скептицизм и релятивизм – обоюдоострые мечи. Они могут адресовать свою критику власти, но они же ставят под вопрос любую отрасль знания»<sup>183</sup>.

Важнейшим следствием постструктуралистской теории выступает деконструктивистская теория текстового анализа и идея деконструкции вообще<sup>184</sup>, понимаемая как выявление внутренней противоречивости текста, обнаружение в нем скрытых «остаточных смыслов». Современный лидер интеллектуальной истории Дональд Келли так сформулировал главную идею деконструктивизма: «деконструкция может рассматриваться как последняя «децентрация» человечества: переворот, подобный тому, который Коперник совершил в астрономии, Дарвин – в биологии, Фрейд – в психологии, Деррида требует сделать в терминах языка»<sup>185</sup>.

Одна из центральных идей постструктурализма об интертекстуальности (Ю.Кристева) преломляется, например, в историографии как представление истории в виде «бессознательного интертекста» (М.Фуко) – представление, в свою очередь, скрывающее множество коннотаций: и то, что «бытие есть язык», и то, что бытие носит бессознательный характер, поскольку «власть» есть машина подавления и продукт дискурса одновременно; здесь скрывается и лагановское «реальное — воображаемое — символическое» (как дань и противовес фрейдовскому «Оно — Я — Сверх-я»); и крушение стереотипа «прозрачности» текста и наличие в каждом тексте отсылок, аллюзий, цитат и т. п. из других текстов.

Постструктуралистский акцент на изучении дискурсивных практик, дискурса как языкового сознания, распространение категории «эпистема» как проблемного поля культуры нашли широкое распространение в исследовательской практике, а представления о прерывистом характере истории и ее «дисконтинуитетах» (М.Фуко) составляют сегодня уже почти традиционное «онтологическое» видение истории.

Взгляды на субъектно-объектные отношения в контексте постмодернизма («смерть автора», популяризованная Р.Бартом, «речевые акты», «читатель», «эффект реальности») повлекли за собой и пересмотр всего столь значимого для гуманитариев комплекса «автор-текст-читатель». «Траектория мысли, исходящей из предположения об исчезновении автора произведения и приходящей к предположению об исчезновении самого произведения, которое вбирается всепоглощающим языком, вековечно выговариваемым тысячами уст»<sup>186</sup>, говоря

<sup>181</sup> Ibid., p.21-22.

<sup>182</sup> Appleby J., Hunt L., Jacob M. Telling the Truth About History, p.8-9.

<sup>183</sup> Ibid.

<sup>184</sup> Термин «деконструкция» сам по себе несет множество коннотаций. Деконструкция деконструкции разна, она варьируется в зависимости от теоретической принадлежности, и весьма заметно. Так, ссылаясь на известного английского литературоведа Э.Истхоуп, И.П.Ильин выделяет пять типов деконструкции: (1) деконструкция текста с целью изучения процесса его порождения; (2) фукольдиданская деконструкция как процедура обнаружения интердискурсивных зависимостей дискурса; (3) «левый деконструктивизм» как проект уничтожения категории «литература» посредством выявления дискурсивных и институциональных практик, которые ее поддерживают; (4) «американская» деконструкция в духе Поля де Мана, доказывающая, что любой текст отличается от самого себя в ходе его критического прочтения, и этот другой текст, текст уже читателя, благодаря саморефлексивной иронии приводит к той же неразрешимости; (5) дерридианская деконструкция как выявление, анализ и уничтожение традиционных бинарных оппозиций. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм, с.177.

<sup>185</sup> Kelley D. Horizons of Intellectual History: Retrospect, Circumspect, Prospect // The History of Ideas: Canon and Variations. Ed. By Donald R. Kelley. – Rochester: University of Rochester Press, 1990. – P.321.

<sup>186</sup> Эко У. Отсутствующая структура, с.336.

схематично, сводится к тому, что «письмо по отношению к пишущему перестает выступать как средство, становясь тем “местом, в котором происходит его мышление”, поскольку “не он мыслит на своем языке, но его язык мыслит им, мысля его вовне”»<sup>187</sup>.

Под влиянием постструктурализма заметно изменился весь облик гуманитарного знания -- не только литературоведение, но и история, и другие социальные науки несут на себе его отпечатки (достаточно сделать беглый обзор ведущих мировых исторических журналов *American Historical Review*, *Annales: Histoire, Sciences Sociales*, *Daedalus*, *English Historical Review*, *Journal of Contemporary History*, *Journal of Interdisciplinary History*, *History and Theory*, *History Today*, *Past and Present*, *Journal of Modern History*, *Historische Anthropologie*, *Quaderini Storicі* и др.), «где на смену структуралистскому аскетизму пришли элегантный гедонизм и иронический скепсис, а подчеркнутая строгость квазиматематических построений уступила место свободной импровизации и непринужденному эссеизму»<sup>188</sup>.

И если Берман говорит в 1988 г., что в американской историографии идеи постструктурализма не прижились в их европейской форме (дескать, потому, что американской культурной атмосфере свойственен философский эмпиризм<sup>189</sup>), то уже в 2000 г. Кейт Виндшаттл констатирует (надо отметить, с большой горечью) успех, который постструктуралистские, деконструктивистские идеи имеют в последнее десятилетие в англоязычной университетской среде<sup>190</sup>.

Хотелось бы специально остановиться на этой книге К.Виндшаттла: она замечательна тем, что доводит до логической точки рассуждения деконструктивистов, примененные к истории. Но вот только до логической ли?

Книга эта начинается с известного наблюдения: истории как интеллектуальной дисциплине уже более 2400 лет, и все это время «сущностью ее было то, что она пыталась рассказывать правду, описывать как можно лучше то, что происходило на самом деле»<sup>191</sup>. А вот со второй половины XX в. историки, отдавая дань моде, вдруг увлеклись идеей о том, что «мы можем видеть прошлое только через перспективу нашей собственной культуры, и, следовательно, то, что мы видим в истории – это наши собственные интересы и заботы, отраженные от нас»<sup>192</sup>. Таким образом, центрального звена, на котором история основывалась, констатирует Виндшаттл, больше нет: «не существует фундаментального отличия между историей и мифом».

Виндшаттл удивлен тем, что история, которая в отличие от социологии, антропологии, психологии, часто увлекавшихся новомодными теориями, всегда стояла на пьедестале непоколебимой неприкосновенности, теперь тоже подвергается изменениям. В этом, пожалуй, он грешит против истины, поскольку история никогда не была чужда переменам, и возникновение тех же «социологии», «антропологии» обязано именно увлечению историков новыми идеями. Но в целом позиция К.Виндшаттла ясна: подходы литературной критики для такой дисциплины, как история, являются смерти подобными.

Виндшаттл делит угрозы для истории на такие виды: (1) множество литературных критиков и теоретических социологов, которые пытаются писать свои версии истории (видимо, Виндшаттл имеет ввиду исследования Ф.Анкерсмита – О.Ш.); (2) многие историки-

<sup>187</sup> *Les chemins actuels de la critique*. Ed. J.Poule, Paris, 1967, p. 246. Цит. по: Эко У. *Отсутствующая структура*. Введение в семиологию, с.336.

<sup>188</sup> Косиков Г.К. *Указ.соч.*, с. 5.

<sup>189</sup> При этом тот же А.Берман все-таки вынужден сделать оговорку о том, что предпосылки к распространению «импортированного» из Европы деконструктивизма были в Америке, ссылаясь на работы Н.Хомского в области лингвистики; Т.Куна в сфере создания весьма близкой постструктурализму критической теории (*The Structure of Scientific Revolutions*, 1962); критицизм Н.Фрая (*Anatomy of Criticism*, 1957). См. Berman A. *From the New Criticism to Deconstruction: The Reception of Structuralism and Post-Structuralism*, p.1.

<sup>190</sup> Windschuttle K. *The Killing of History: How Literary Critics and Social Theorists Are Murdering Our Past*. – San Francisco: Encounter Books, 2000. -- P.x.

<sup>191</sup> *Ibid.*, p.ix.

<sup>192</sup> *Ibid.*, p.x.

профессионалы, принявшие аргументы деконструктивизма и создающие работы, которые можно было назвать враждебными (например, «тропология» в отношении истории Х.Уайта, «новая интеллектуальная история» -- О.Ш.); (3) те историки, которые частично инкорпорировали в свои работы идеи деконструктивизма (видимо, подразумеваются исследования дискурсивных практик, культурной символики и т.д. – О.Ш.), не подозревая, что принятие одного из элементов в потенциале уничтожит все, на чем зиждется история.

Таким образом К.Виндшаттл сводит все споры, развернувшиеся вокруг теоретического багажа постструктурализма, к одной позиции: принципы постструктурализма чужды самой природе гуманитарного знания, и малейшая уступка ему приводит к неизбежному кризису.

Несмотря на этот «крик души», мы должны все же констатировать, что история, как и другие гуманитарные дисциплины, не может стоять на пьедестале непоколебимой неприкосновенности, да она не была чужда переменам и раньше, проходя трансформации от истории-очевидицы или церковной истории к истории-антикварству, истории-метанарративу, социальной истории и т.п. «Лингвистический поворот» как следствие постструктуралистских изысканий происходит во всех сферах культуры, и идет он по пути лишения «науки» ее приоритета быть моделью для всего знания, поставив во главу угла язык и подходы литературоведения. Ни одна дисциплина, в том числе и история, не может избежать влияния постструктуралистских идей, как бы отрицательно (и положительно) не выступали его критики (и апологеты).

Там, где кто-то видит только «моду» и знак принадлежности к интеллектуальной элите или «посвященности», есть тенденция реальности, от которой, перефразируя слова Г.Герасимова, «можно отвернуться, но нельзя увернуться», а потому нужно пытаться ее понять. Она уже породила множество феноменов в культуре и все еще продолжает подпитывать умонастроения и дальше, причем смыкается и совпадает с процессами в области технического развития и общекультурными движениями (информационные технологии, глобализация, массовое производство и т.п.).

Лингвистический поворот не плох и не хорош, он просто есть, и с ним приходится считаться всем гуманитариям, в том числе и историкам. Продуктивной представляется позиция открытости по отношению к «инсайтам» постструктурализма (и лингвистического поворота), в противовес истерии по поводу «смерти истории» или попыток игнорирования реалий постструктуралистской историографии.

К.Виндшаттл далеко не одинок в своем, мягко говоря, негативном отношении к постструктурализму и вообще к постмодерну. Культурная реакция на события 9/11, «французские восстания» в пригородах и др. породила новую волну недоверия и критики постструктуралистских объяснений (например, последние работы лаканиста Славоя Жижека или Терри Иглтона<sup>193</sup>).

Лингвистический (дискурсивный, культурный), антропологический повороты неразделимы. Как сиамские близнецы, они представляют собой симбиотический союз, в котором каждый элемент связан с другими. Даже деконструктивистские ноты (пост)современной историографии, вызывающие наибольшую критику со стороны историков-практиков (например, идей Х.Уайта о родственности стилей и методов построения исторического нарратива литературному жанру), не должны рассматриваться обособленно от ее общей антропологической направленности, поскольку они имеют общие корни, связи и следствия.

---

<sup>193</sup> Терри Иглтон – лидер английского литературоведческого постструктурализма, автор книги, считающейся учебником по литературной теории (*Literary Theory: An Introduction*. Basic Books, 1983), совсем недавно опубликовал работу, практически развенчивающую постмодернистскую идеологию – «После теории» (*Eagleton Terry, After Theory*. Basic Books, 2004).

### 2.3. Феминизм и постструктурализм: общие основы и противодействия

Мы дестабилизуем основы «мужчины», если продолжим свои разрушительные поиски определения себя как женщин. Процесс, который дает нам правдивое понимание Женщины, бесконечен.  
*Drucilla Cornell. What Is Ethical Feminism?// In Feminist Contentions: A Philosophical Exchange. Ed. Nicholson, Linda. New York, London: Routledge, 1995*

В то время, как распространение постмодернистских взглядов стало всеобщим, чуть ли не стихийным бедствием, если не заблуждением, когда многие отождествляют себя с постмодернизмом только потому, что имеют согласие с ним по какому-то одному или нескольким пунктам (а за этим одним пунктом, как мы пытались показать выше, в постмодернистской чувствительности стоят многочисленные и взаимосвязанные последствия), составляющие его постструктурализм и лингвистический поворот ставят перед гуманитариями многочисленные проблемы.

Рассмотрим эти проблемы на примере «взаимоотношений» первых двух с гендерной теорией и феминизмом. Конечно, читатель может поинтересоваться, а чем, собственно, обоснован выбор именно этого примера? Во-первых, в силу «самоопределения».

Американская исследовательница Джейн Флэкс однажды написала: «как феминистка и женщина, я сталкиваюсь с всеобщим присутствием и центральным положением гендера, непосредственным опытом переживания структур его доминирования и подчинения. Как философ, получивший образование в посткантовскую эпистемологическую эру, я признаю, что вопросы познания и его границ неизбежны. Постмодернизм создает самые радикальные и беспокоящие разрушения на этой эпистемологической территории... Как политолог, я не могу игнорировать проблемы власти и правосудия. Каждая из теорий постмодернизма вносит важный вклад в переосмысление традиционных ценностей»<sup>194</sup>.

«Не добирая» такого количества идентификаций, я все же поддаюсь соблазну отождествить свою позицию с этой. С таким лишь дополнением: полифоническая благодать сосуществования гендерной теории и постструктурализма заканчивается там, где начинается вопрос о знании – этот вопрос, поставленный в радикальной манере, обнажает основное противоречие самого постструктурализма. Проблемы познания и крайнего релятивизма в этом вопросе становятся неприемлемыми для любого течения, претендующего на создание полноценной теории, и гендерная теория в этом смысле показательна. И именно с этим моментом в теоретической мысли связано проявление конфликта в поначалу «мирно» взаимодействующих постструктуралистской и гендерной теориях.

Во-вторых, выбор примера отношений гендерной и постструктуралистской теорий связан с этой самой их первоначальной (и подчеркивавшейся апологетами) близостью и даже «партнерством», с тем, что «язык» и «гендер» как социальные феномены и как понятия, казалось бы взятые из разных уровней анализа, имеют радикально общую черту, которая делает их аналитиков союзниками: они настолько встроены в социальную жизнь и человеческое мышление/восприятие, что не замечаются. Они как бы «природно» присущи человеку (именно этим пользуются противники построенных на их осмыслении теорий) и тем самым не осознаются.

И все же, «история взаимоотношений» феминистской и постструктуралистской критики свидетельствует о многочисленных разногласиях в их «совместной жизни».

Все та же феминистка, психоаналитик и постмодернист Джейн Флэкс высказывает основной упрек постмодернизму вообще и постструктурализму в частности: «проблема скорее в том, что постмодернисты репрессировывают, исключают и стирают некоторые голоса и вопросы,

<sup>194</sup> Flax J. Thinking Fragments: Psychoanalysis, Feminism, and Postmodernism in the Contemporary West, p.4.

которые должны быть услышаны. Этот «выключенный» и репрессированный материал состоит из многих идей и социальных отношений, которые как считают феминисты и теоретики психоанализа, являются центральными для понимания «Я», знания и власти. Следовательно, постмодернистские дискурсы должны объектом дополнений и взаимных вопросов со стороны других»<sup>195</sup>.

Парадоксально, но факт: постструктурализм, создав критику западной философии знания и ратуя за «открытость» позиций, сам претендует на репрезентацию истины, создавая непреодолимые барьеры для теории и голосов «других», в числе которых оказывается и гендерная теория.

Так, Д.Флэкс обвиняет многих постмодернистов в невключении женщин в контекст исследований. Определяя Р.Рорти, М.Фуко и Ж.Деррида как центральные фигуры постмодернизма, она анализирует взгляды каждого. О Рорти она пишет, что он не видит разные точки зрения внутри human: «Несмотря на его акцент на исторически специфическом и прагматическом основании всего знания, он не в состоянии признать, что в одной культуре опыты людей и групп могут радикально отличаться... Подозрительно считать, что разные гендеры вовлечены в одни и те же «языковые игры»<sup>196</sup>.

Когда речь идет о М.Фуко, то Флэкс признает, что он, правда, упоминает женщин как один из субъективированных, маргинализированных и сопротивляющихся элементов внутри современной культуры. Но, ратуя за дисконтинуитеты в истории, локальные истории, Фуко не включает в них женщин. Его интересует более широкая тема – сексуальность и власть (даже биологическая власть), и он часто противоречит феминистским теориям. Д.Флэкс приводит пример такого противоречия, указывая, что Фуко считает биовласть порождением модерна, но это идет в разрез с теорией феминизма о том, что женское тело было «колонизовано» гораздо раньше – многочисленными способами, на пересечении знания и власти.

И, наконец, признанный авторитет постструктуралистской деконструкции Ж.Деррида в оценке Д.Флэкс тоже выглядит «ущербно»: хотя он и считает гендер одной из ассиметричных и фальшивых дихотомий (идея еще Бовуар о фальшивости «симметрии» мужчина/женщина), свою деконструкцию он осуществляет с «мужской» позиции. Он подвергает деконструкции ценности, «традиционно» приписываемые женщинам (тело, а не сознание; чувство, а не мышление; пре-эдипово, а не эдипово состояние; мать, а не отец; удовольствие, а не производство; природное, а не культурное; стиль, а не истина). Женщина (и мужчина, и сексуальное различие) должны быть деконструированы и оторваны от всех своих исторических, специфических или биологических референтов.<sup>197</sup>

Неудивительно, что в процессе своего анализа Д.Флэкс делает вывод о том, что «постмодернизм в равной мере неадекватен в своих попытках интерпретации или исключения из поля зрения гендера... Несмотря на риторику «женского прочтения» («reading like woman») или отмену «фаллоцентризма», многие постмодернисты-мужчины, вероятно, не осознают глубоко укорененную в гендере природу своих собственных мнений и интерпретаций западной традиции... В постмодернистских философиях женщина все еще используется как Другой или как зеркало для Мужчины. Речь женщины конструируется по их правилам – или женщина молчит вообще»<sup>198</sup>.

Не меньшие трудности испытывают постмодернисты-мужчины, пусть и сочувствующие феминистским взглядам, исходя из их интеллектуальном родстве. Так «новый историст» Луи А. Монроз (о «новом историзме» мы будем говорить позже), пишет о том, что не может «с полным правом претендовать на звание феминиста» и, ссылаясь на статью Стивена Хита, объясняет, почему: «Феминизм имеет непосредственное отношение к мужчинам - хотя бы потому, что феминизм, безусловно, меняет и их, что он предлагает новые способы существования в этом мире женщин и мужчин, объединенных общим стремлением положить

<sup>195</sup> Flax J. Op.cit., p.191.

<sup>196</sup> Ibid., c.211.

<sup>197</sup> См.: Derrida J. Spurs: Nietzsche's Styles. – Chicago: University of Chicago Press, 1979.

<sup>198</sup> Flax J. Op.Cit., p, 225, 226.



конец реальности ущемления прав женщин. Однако это отношение по необходимости есть в какой-то мере отношение исключения: ведь это женское движение, это их голосам и действиям суждено вызывать перемены и переоценку ценностей. Феминизм - это их, а не наши, голоса и действия - вне зависимости от того, насколько мы "искренни", "доброжелательны" и т.п. Мы всегда судим с мужской позиции, определяющейся присущими нашему полу инстинктами господства и присвоения, т.е. всем, против чего и ведется борьба, что подлежит изменению...»<sup>199</sup> Говоря не столько о тщетности попыток установить свою собственную, мужскую, взаимосвязь в феминизме, сколько о «все нарастающих подозрениях в ее необходимости», Монроз пишет о важности для «мужчин наладить конструктивный диалог с феминизмом, сколь бы одиозными ни казались такие попытки. Одна из возможных форм такой инициативы со стороны мужчин - внимание мужской научной общественности к социально-историческим истолкованиям гендерной и мужской субъективности, а также наше метакритическое внимание к влиянию на нашу интеллектуальную и профессиональную практику и систему взглядов нашей гендерно обусловленной позиции»<sup>200</sup>.

Иную подоплеку, аргументацию и оценки мы находим у известной феминистки Сейлы Бенхабиб. Проводя аналогию между союзом феминистских теоретиков и «новых левых» в 1980-х с альянсом (или мезальянсом) феминизма и постмодернизма, С.Бенхабиб задается вопросом: может ли феминизм принять постмодернизм в качестве своего теоретического партнера? И дает отрицательный ответ, поскольку «теорию нельзя считать зрелой, если она не дает анализа сексизма»<sup>201</sup>. С другой стороны, она признает необходимость некоей эпистемологии, потому что феминизм – это скорее социальная критика, которая нуждается в некоем философском обосновании. Может ли быть им постмодернизм? Лишь в том случае, если он включит в свой анализ гендер; до этих пор «феминизм и постмодернизм являются концептуальными и политическими союзниками», но не более того.

Данная статья демонстрирует те противоречивые чувства, которые обуревают многих феминистских критиков по отношению к постструктуралистской теории. Именно к постструктуралистской, поскольку в пылу дискуссий зачастую теряется представление о различиях. Следовало бы разграничить смыслы «постмодернизм» и «постструктурализм»<sup>202</sup> -- и тогда те основные «претензии», которые высказывают теоретики феминизма, обратились бы именно к постструктурализму. И ими бы стали все те же вопросы об истине, знании и «я», которые постструктурализм поставил перед всеми гуманитариями.

Более того, и появление феминизма тоже может с полным основанием считаться одним из проявлений «состояния постмодерна» (понятно, что суфражизм, как и идеи феминизма, возникли гораздо раньше, однако современная гендерная теория ассоциируются со второй половиной XX в.). Демократизация общества, включение в него голосов людей, стоявших «на границах» по отношению к «центру» власти, переписывание истории с позиций культурного многообразия, лишение науки ее короны и статуса модели и источника истины... – все это взаимосвязанные феномены: «то, что они появились одновременно, не совпадение»<sup>203</sup>.

В непосредственной связи с этим стоит мысль Нэнси Фрэйзер о том, что постмодернизм – это нечто «большее, чем постструктурализм. Он включает не только Фуко, Деррида и Лакана, но и таких теоретиков, как Хабермас, Грамши, Бахтин и Бурдьё, создавших альтернативные

---

<sup>199</sup> Heath Stephen. *Male Feminism // Men in Feminism* / Ed. Alice Jardine and Paul Smith. New York and London, 1987. 1-32. P. 1, Цит. по Луи А. Монроз *Изучение Ренессанса: поэтика и политика культуры* // Новое литературное обозрение. № 42, 2000.

<sup>200</sup> Там же.

<sup>201</sup> Benhabib S. *Feminism and Postmodernism: An Uneasy Alliance*. // *Feminist Contentions: A Philosophical Exchange* / Ed. Nicholson, Linda. – New York, London: Routledge, 1995. – P.25

<sup>202</sup> Об этом упоминает и Д.Батлер (см. Butler J. *Contingent Foundation: Feminism and the Question of "Postmodernism"* / *Feminist Contentions: A Philosophical Exchange*. Ed. S.Benhabib, J.Batler. – New York: Routledge, 1995. – 176 p.), но при этом она все же стоит на позиции разграничения полей феминизма и деконструкции.

<sup>203</sup> Appleby J., Hunt L., Jacob M. *Telling the Truth About History*, p.3,4.

схемы сигнификации»<sup>204</sup>. В качестве критерия такого «включения» Н.Фрэйзер принимает их теоретизирование в рамках «лингвистического поворота». В таком случае, парадигма «лингвистического поворота» представляется даже еще «больше», чем постмодернизм, и уж «куда больше», чем постструктурализм! Насколько правомерно такое суждение?

«Лингвистический поворот» как термин часто используют, чтобы показать «лингвистическое измерение» мышления, нарратива, теоретизирования и т.п. В этом смысле, действительно, теоретическая мысль приняла «лингвистическое направление» еще в начале XX в. (выше мы коротко показывали развитие структуралистских изысканий от Соссюра и Леви-Стросса к Деррида), однако эта мысль была связана с эволюцией от структурализма к постструктурализму, от «языка» к «речи», и проходила она не столько в сфере «чистой» философии, сколько в области литературной критики. И собственно «лингвистический поворот» (если иметь в виду «классическую» терминологию, звучавшую у сборнике *Linguistic Turn: Recent Essays in Philosophic Method* (Чикаго, 1967) под редакцией Р.Рорти) должен ассоциироваться не столько с признанием языка моделью мышления (что, действительно, мы встречаем уже у Хайдеггера), сколько с теми параметрами, которые идут от литературоведения: не «язык», а «речь», «письмо»; не просто методы лингвистики, а литературной критики; «литературность», «художественность» мышления; акцент на интертекстуальности культуры; деконструкция и т.д.

Те же революционные признания, которые совершила эволюция структурализма к своей пост-версии, не могли не придать совершенно иной облик как философии, так и всему гуманитарному знанию. Как следствие, постмодернизм бросает вызов детерминизму и причинности, либеральной демократии и гуманизму, объективности, необходимости и истине. Поэтому, говоря о соотношении понятий (1) «постмодернизм»; (2) «постструктурализм»; (3) «лингвистический поворот», мы все же предпочитаем делать акцент на иерархии «1→2→3», а не наоборот.

Н.Фрэйзер видит среди всех диспутов о взаимоотношениях феминизма с постмодернизмом три основные позиции: (1) хабермасовская перспектива, ориентированная на истинность межсубъективной коммуникации; (2) фукольдианская перспектива, ориентированная на плюралистичные, случайные, исторически специфические и укорененные во власти дискурсивные режимы, которые конституируют различные субъектные позиции (например, позиции мужчин и женщин – О.Ш.); (3) лакановско-дерридианская перспектива, ориентированная на маскулинный, фаллоцентричный символический порядок, который угнетает все феминное, и в то же время скрывает свою собственную беспочвенность<sup>205</sup>. (Следует отметить, что последняя перспектива фактически реализована в т.н. постфеминизме, или постмодернистском феминизме, представленном именами Ю.Кристовой, Э.Сиксу, Л.Иригарай и др.)

Вместо того, чтобы выбирать между этими тремя подходами, Фрэйзер предлагает выработать интегрированный четвертый, феминистский. Смысл его должен заключаться в том, чтобы в анализ возникновения и циркуляции культурных значений гендера включить язык, а также интегрировать в нем социальные и исторические контексты, расположенные во времени и месте.

Иную попытку «оправдать» пребывание представителей гендерной теории под сенью постструктуралистских идей делает Полин Росно. Она выстраивает свою мысль на признании широкого диапазона постмодернистских идей, а в соответствии с этим – на классификации этого многообразия с позиции его «положительности» или «отрицательности». Она выделяет

---

<sup>204</sup> Fraser N. Pragmatism, Feminism and the Linguistic Turn / *Feminist Contentions: A Philosophical Exchange*, p.157.

<sup>205</sup> Fraser N. Pragmatism, Feminism and the Linguistic Turn / *Feminist Contentions: A Philosophical Exchange*, p.157.

«утверждающий» (affirmative) (естественно, к этой группе Росно причисляет и феминистских критиков); и «скептический» постмодернизм<sup>206</sup>.

Если первые проповедуют пересмотр «субъекта» и рождение нового постмодернистского индивида, то вторые выступают за «смерть субъекта», «смерть автора» (т.е. нет ни автора, ни свободы, а есть лишь набор дискурсов – О.Ш.). В то время, как по вопросу об историческом процессе, линейном времени, предсказуемой географии и пространства скептические постмодернисты вообще говорят о «конце истории», «положительные» постмодернисты, видят смысл истории в создании микро-нарративов, трансформации и большей гибкости в отношении понимания времени, пространства и истории, написании локальной истории.

В отношении принятия/непринятия «теории» и «истины», «скептики» и «оптимисты» также разнятся: в «скептическом» постмодернизме «теория» и «истина» отмирают и растворяются в релятивизме, поскольку язык трансформирует их в чисто языковые конвенции. Для «положительных», утверждает Росно, существует и «истина» – как относительная, персональная или специфичная для каждого сообщества, и «теория» – как децентрированная, гетерологичная, без притязаний на чью-либо привилегированность. С этой же позиции они исходят, оставляя, в отличие от «скептиков», возможность для эпистемологической репрезентации (и изучения символики, семиотики в истории и культуре).

Несмотря на свои усилия аргументировать эту схему, сама П.М.Росно делает оговорку о том, что ни один из упоминающихся в ее книге авторов-постмодернистов не может быть отнесен к первой или второй «чистой» категории<sup>207</sup>.

Мы не можем согласиться с концепцией Росно, выделяющей «положительных» и «скептиков» в постмодернизме, и по другой причине: в такой классификации заведомо присутствует «внешняя цель» -- апология тех направлений в социальных науках, которых автор считает «положительными» (по такой классификации гендерные исследования с легкостью вписываются в круг «позитивного» постмодерна). Как говорил Р.Барт, «вещи не могут означать в несколько большей или несколько меньшей мере: они либо означают, либо не означают; сказать, что они несут лишь поверхностное значение, — это уже и есть определенная позиция по отношению к миру»<sup>208</sup>.

Женские исследования демонстрируют «показательное» столкновение с дилеммой, фундаментальной для всего гуманитарного знания в условиях постмодерна: принятие «свободы-от-истины» требует и «свободы-от-теории», и в этом состоит главная трудность направлений и дисциплин, основанных на неких доминирующих теориях. Выступая союзниками в борьбе против модернистского понимания истины (исходящей из маскулинной позиции), гендерные исследования не вписываются в постструктуралистские рамки недоверия к метатеориям, метанарративам, релятивистского и тем более, скептического отношения к знанию.

Противоречие заключается и в том, что «постмодернистский взгляд не может быть для феминизма более приемлемым, нежели “мужской” взгляд»<sup>209</sup>. В то же время, согласно постмодернистам, все версии истины равноправны, и феминистская перспектива может оспариваться так же, как и любая другая. Естественно, что многие феминистские критики

---

<sup>206</sup> Rosenau P. M. Post-modernism and the Social Sciences: Insights, Inroads, and Intrusions. – Princeton: Princeton University Press, 1992. – P.ix.

<sup>207</sup> Известны и другие попытки классификации постмодернизма: Agger B. The Decline of Discourse : Reading, Writing, and Resistance in Postmodern Capitalism. New York: Falmer Press, 1990. – 238 с.; Griffin D. The Reenchantment of Science: Postmodern Proposals. – Albany: State University of New York Press, 1988. -- P.x-xi; Graff G. Literature Against Itself. – Chicago: University of Chicago Press, 1979. – P.55-60.

<sup>208</sup> Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова.— М.: Прогресс, 1989. -- С.228.

<sup>209</sup> Rosenau P. M. Post-modernism and the Social Sciences: Insights, Inroads, and Intrusions, p.85.

доказывают свою правоту или считают необходимым выработку своей собственной эпистемологии<sup>210</sup>.

Приведенные здесь размышления о проблемах взаимодействия феминистской критики (как показательного примера социальных наук вообще) с постструктуралистско-постмодернистской мыслью, требуют вывода, заключения. Хотя духу «постмодернистского» времени больше соответствует признание бесконечности и открытости как в плане теоретических соглашений, так и в разногласиях. Этим я и не премину воспользоваться, констатируя следующее:

-- «Лингвистический поворот» как следствие постструктуралистских изысканий происходит во всех сферах культуры (включая и политику, и даже экономическую теорию), и идет он по пути лишения науки приоритета быть моделью для всего знания, поставив во главу угла язык (речь, письмо, дискурс) и подходы литературоведения.

-- Ни одна дисциплина, в том числе и история, не может избежать влияния постструктуралистских идей, как бы отрицательно (и положительно) не выступали его критики (и апологеты). Там, где кто-то видит только «моду» и знак принадлежности к интеллектуальной элите или «посвященности», есть тенденция реальности, от которой «можно отвернуться, но нельзя увернуться», а потому нужно пытаться ее понять. Она уже породила множество феноменов в культуре и все еще продолжает подпитывать умонастроения и дальше, причем смыкается и совпадает с процессами в области технического развития и общекультурными движениями (информационные технологии, глобализация, массовое производство и т.п.).

-- Лингвистический поворот не плох и не хорош, он просто есть, и с ним приходится считаться всем гуманитариям, в том числе и историкам. Продуктивной представляется позиция открытости по отношению к «инсайтам» постструктурализма (и лингвистического поворота), в противовес истерии по поводу «смерти истории» или попыток игнорирования реалий постструктуралистской историографии.

-- Основные противоречия в рамках «лингвистического поворота» как тенденции влияния постструктуралистской ориентации современного литературоведения происходят не столько на уровне эмпирических исследований, сколько в области теории. При этом главные «болевы» точки определяются как скептицизм и релятивизм по вопросам истины, познания, «я».

Каков в этом смысле «урок» постмодернизма? «Поскольку никто не может быть уверен в конечной правоте своих объяснений, то необходимо слушать других. Все человеческие истории предположительны; никто не может иметь последнего слова»<sup>211</sup>.

В условиях такого «многоголосия» можно видеть различные перспективы. П.Росно, например, пишет о двух возможностях. Первая связана с разделением гуманитарного знания на две области: (1) вдохновляемая естественными науками, направленная на поиск причин социальных феноменов; (2) ведущая линию от гуманитарного знания (постмодернистского) и занятая критикой и исследованием языка и смысла. Второй сценарий заключается в интеграции постмодернизма в общее течение общественных наук; это путь компромисса, и «утверждающие» постмодернисты-«оптимисты» более всего для этого подходят<sup>212</sup>.

Рискнем выдвинуть «прогноз» и мы. Поскольку «посмодернизм» -- это своего рода «буфер», переходный период перед чем-то, чему еще не нашли ни названия, ни определения, в этом «буферном состоянии» крайние позиции, выдвигаемые постструктуралистами (или доведенные до своей логической «чистоты», как, например, вопросы об истине, знании, «я»), вероятно, не станут определяющими. «Следы» постструктуралистской идеологии в будущем могут быть такими же, какими сегодня философы видят, например, наследие Беркли, Юма, Канта; а более «частные» ее проявления в гуманитарном знании в будущем могут выливаться в

<sup>210</sup> См., например, Di Stefano C. Dilemmas of difference: Feminism, Modernity, and Postmodernism // *Feminism/Postmodernism*, ed. Linda J. Nicholson. New York: Routledge, 1990. – P.63-82; Harding, Sandra. *Feminism, Science, and the Anti-Enlightenment Critique* // *Feminism/Postmodernism*.

<sup>211</sup> Appleby J., Hunt L., Jacob M. *Telling the Truth About History*, p.10.

<sup>212</sup> Rosenau P. M. *Post-modernism and the Social Sciences: Insights, Inroads, and Intrusions*, p.180-181.

более критический подход к науке, в возрастающую специализацию и фрагментацию исследований, мультикультурализм.

В попытках размышлять над проблемами взаимодействия идей постструктуралистско-постмодернистского комплекса и феминизма (и находясь в таком же затруднении по поводу его оценок, как и в самом начале своих занятий – если не в большем), приходится согласиться с авторитетом в области литературоведения и постструктурализма Лионелом Госсманом. Обладая опытом более чем тридцатилетнего преподавания и литературоведческих штудий, он сделал признание, что так и «не смог развить собственную единую последовательную теоретическую позицию, и по тем же причинам, охватить чью-нибудь еще. Конкурирующие аргументы слишком часто кажутся мне в равной степени вынужденными, и если для некоторых идеологические или этические предпочтения могут иногда перевесить то, что разум сам по себе сделать не в состоянии, то в моем случае это не срабатывает»<sup>213</sup>. Искусственные построения теоретиков постмодернизма по отношению к искусственным же конструкциям типа «культура», «язык», «субъект», «идентичность», зачастую обладают в равной степени «вынужденностью», по терминологии Госсмана, и наши суждения о них, как ни прискорбно расписываться в собственном бессилии, тоже выглядят искусственными. Вопросы постструктурализма к гендерным теориям (либеральной, социалистической или радикальной ориентации) и вопросы феминизма к постструктурализму, являясь в целом показательными, тоже могут показаться кому-то искусственными. Искусственными до тех пор, пока они не касаются исследовательской практики, трансформирующей сами вопросы, которые исследовать задает своему объекту, и, безусловно, варианты ответов.

---

<sup>213</sup> Gossman L. *Between History and Literature*. – Cambridge, London: Harvard University Press, 1990. -- P.55.



### Часть 3. «КУЛЬТУРНЫЙ» ПОВОРОТ В ИСТОРИОГРАФИИ: ДИСКУРСИВНЫЙ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕКРЕСТКИ

#### 3.1. Основные черты «антропологического поворота»

Каждый день мачеха посылала мальчика-сироту охотиться на птиц. Однажды мальчик увидел в лесу на поляне гладкий круглый камень и услышал голос: «Рассказать тебе историю?» «А что это значит – рассказывать истории?» -- спросил мальчик. «Это означает рассказывать о том, что произошло давно. Если ты дашь мне своих птиц, я расскажу это». Так Сирота начал ходить к камню, слушать истории и отдавать птиц каждый день. Мачеха пыталась проверить, почему мальчик стал приносить меньше добычи, однако все, кого она посылала проследить за пасынком, оставались у камня, а затем приходили вновь и вновь. В конце концов, камень велел Сироте расчистить большую поляну и привести сюда всех жителей деревни, каждого с запасом еды. Мальчик сказал об этом вождю, и после этого два дня от восхода до заката солнца все мужчины и женщины деревни слушали истории. Когда второй день подошел к концу, камень сказал: «Я закончил! Вы должны хранить эти истории до тех пор, пока существует мир. Рассказывайте их своим детям и внукам. Одни будут помнить их лучше, чем другие. Когда вы будете приходить к мужчине или женщине за этими историями, приносите им еду, украшения или то, что у вас есть. Я знал, что происходило в мире перед нами; я рассказал вам это. Когда вы идете в гости, вы должны рассказывать эти истории. Вы должны помнить их всегда. Я закончил.»

*N. Z. Davis, Iroquois Women, European Women, in Feminist Postcolonial Theory. A Reader. Ed. Reina Lewis and Sara Mills. Edinburgh University Press, 2003.*

Несколько последних десятилетий показывают значительные изменения в историческом сознании и новые тенденции в историографии, связанные с переосмыслением ставших уже традиционными направлений исследований и появлением новых интересов познания и стратегий в отношении истории. Антропологизация исторической науки и ее ориентированность на микроуровневые исследования, междисциплинарность и образование новых предметных областей, лингвистический/дискурсивный поворот – эти черты определяют сегодня лицо «новой» историографии.

Уже в 1970 – 1980-е гг. в преобладавшей тогда социальной истории происходит сдвиг исследовательских интересов от изучения *макроуровневых* структур с акцентом на генерализацию и обезличивание (например, «производительные силы», «производственные отношения», «народ», «государство», «институты права») к исследованию прошлого с *микроуровня*, с позиций *индивидуального опыта*.

Кроме того, «антропологизация» понимания «культуры», позволяющая расширить ее определение как «реальное содержание обыденного сознания людей прошлых эпох, отличающиеся массовым характером и большой устойчивостью ментальные представления, символические системы, обычаи и ценности, психологические установки, стереотипы восприятия, модели поведения»<sup>214</sup>, изменяет и отношение к категории «социальный» – и в социальной истории наряду с классами, сословиями начинают изучаться социальные микроструктуры – семья, община, приход и т.д.<sup>215</sup>.

Такой переход от макроистории, анализирующей крупные структуры, к микроистории, направляющей усилия на изучение малых сообществ и «маленького человека», знаменовал переключение исследовательского интереса на историю повседневной жизни. При этом новые историки повседневности не идентифицировали себя с той «историей повседневности», которую предлагал в 1960-е гг. Ф.Бродель («Структуры повседневной жизни» в 3-т.

<sup>214</sup> Duby G. Problems and Methods in Cultural History // Love and Marriage in the Middle Ages, p.21.

<sup>215</sup> Репина Л.П. Смена познавательных ориентаций и метаморфозы социальной истории// Социальная история. Ежегодник. 1997. М.: Российская политическая энциклопедия, 1998. – С.20.

“Материальная цивилизация и капитализм”.<sup>216</sup> ). Их внимание было обращено не на материальные условия повседневности, а на то, как эти условия *испытывались* людьми.

Для становления микроистории знаковыми становятся работы Э.Томпсона “Формирование рабочего класса”, К.Томаса “Религия и упадок магии: изучение народных верований в Европе XVI-XVII вв”, П.Берка “Народная культура в Европе начала Нового времени”, Н.З.Дэвис “Общество и культура во Франции начала Нового времени”, К.Гинзбурга “Сыр и черви: космос мельника, XVI в.”, раскрывавшие индивидуальный опыт людей, повседневную жизнь “многих”, делавших акцент на “народной культуре”<sup>217</sup>.

С этого времени лозунг “Не История, а истории со множеством индивидуальных центров” приобретает все большее число приверженцев во всем мире.

Не случайно в историософских представлениях современных западных исследователей преобладает концепция прерывности, разнонаправленности, структурированности исторического процесса. И не только история подвергается такой “фрагментации”. Пожалуй, самым драматическим явлением XX века стала идея о дискретности, дробление всех сторон человеческой жизни. Первыми ее почувствовали математики, художники-авангардисты, открывшие новое представление действительности, *на самом деле* состоящей из фрагментов. Эта стилистика проникла буквально во все жанры искусства, литературу, кино, рекламную продукцию и т.д. Более того, она приняла философскую направленность. Идеи дискретности определяют сегодня и новый взгляд на взаимоотношение дискретного и непрерывного не только в науке и искусстве, но и в обществе<sup>218</sup>.

Именно идея дискретности нанесла окончательный удар по историзму как способу восприятия мира, прочно утвердившемуся в европейской историографии с XIX века и подразумевавшему целый «букет» взаимосвязанных подходов: преемственность, последовательность, «прозрачность» текста, важность исторического «контекста», нарратив... Практически все эти составляющие подверглись с середины XX века серьезному пересмотру, да и сам историзм уже к концу XX века становится «новым» – правда, подразумевая совсем иные идеи (о которых будет рассказано в следующей части).

Подобные социокультурные изменения сказываются и на образе представления прошлого в трудах историков. Что важнее для понимания истории: то, сколько было построено мануфактур во Франции в XVI веке, или то, как воспринимали люди перемены, связанные с их строительством? Что мы можем считать более информативным: рапорты генералов или солдатские письма женам? В связи с подобными вопросами, которыми сегодня задаются многие историки, возникают и новые образы истории: история повседневности, микроистория, история семьи, история детства, устная история и др. При этом смещаются не только акценты внимания историков, но сами способы и стили исторического повествования.

Даже в таких “традиционных” объектах исторического исследования, как история внешней политики, дипломатическая история, социальная история, главное внимание историка направляется не столько на макроуровень, где он замечает, как происходят военные события, заключаются договоры, конфликтуют экономические и политические интересы, сколько на образ жизни людей тех времен, на так называемую “вторую реальность”, которую они создавали, перерабатывая свою действительность. Поэтому вполне понятно, почему литературные и художественные произведения, фольклор, этнографические материалы, памятники повседневной жизни, быта становятся сегодня важнейшими историческими источниками.

<sup>216</sup> Braudel F. The Structures of Everyday Life. The limits of the possible.—London: Collins, 1981. – 623 p.

<sup>217</sup> См.: Thompson E.P. The Making of the English Working Class. – New York: Knopf, 1966. – 848 p.; Thomas K. Religion and the Decline of Magic: Studies in Popular Beliefs in 16<sup>th</sup> and 17<sup>th</sup> Century Europe. London: C.Scribner’s sons, 1971. – 716 p.; Burke P. Popular Culture in Early Modern Europe. -- London: Temple Smith, 1978. – 365 p.; Davis N.Z. Society and Culture in Early Modern France. – Stanford University Press, 1975; Ginzburg C. The Cheese and the Worms: The Cosmos of a Sixteenth-Century Miller. – New York: Penguin Books, 1978. – 274 p.

<sup>218</sup> См. Моль А. Социодинамика культуры. – М.: Прогресс, 1973. – 404 с.

Не «просто» социальная история или история гильдий в раннее новое время, но то, как, через какие каналы и в каких формах социальный капитал оказывал влияние на женщин<sup>219</sup>. Не «просто» историография Ирландии, а «прочтение ирландских историй: тексты, контексты, память<sup>220</sup>». Не «просто» история преступлений, но анализ их социального резонанса – и дискурса «сенсационализма» –культы сенсаций<sup>221</sup>. Не столько политическая история большевистского «Великого перелома», сколько такой его аспект, как закрытие церквей и конфискация колоколов: как это *воспринимали* жители российской глубинки; как колокольный звон стал местом пересечения сопротивления коллективизации, раскулачиванию и насильственному атеизму<sup>222</sup>. Американская историография наполнена примерами подобного рода: история войны за независимость в США раскрывается не только через политические события, но и через дискурс чувствительности<sup>223</sup>; рабство и гражданская война – через «голоса» их участников<sup>224</sup>, экономическое развитие – через культ потребительства<sup>225</sup>.

Возврат нарратива? Да. Сегодня многие говорят о возвращении старой «рассказывающей» истории. Истории, близкой к литературе по стилистике и по методам, связанной с главным – преобладанием описания в работе историка. Возможно, такая оценка сегодняшней ситуации в историографии и имеет под собой основания, но в целом, видимо, имеет место «возвращение нарратива» (под «нарративом» мы понимаем организацию исторического материала в хронологической последовательности вокруг преимущественно одного связного сюжета<sup>226</sup>) на новом витке и с новым теоретическим обоснованием.

Ставшее на Западе уже обыденным разочарование в «структурной» истории, отказ от генерализирующего «метанарратива» под предлогом его ненаучности, приводит сегодня к необыкновенной популярности «описательной» истории, ориентирующейся на микроподход, изучение человека, индивидуализацию и детализацию.

«Антропологический поворот» в историографии дает возможность историкам уже на новом уровне применять описания в своей работе. Из чего складывалась жизнь человека средневековья? Как жили в монастырях? Как наказывали преступников? Что составляло рацион человека во время Столетней войны? Какова символика и историческое измерение обычной трапезы? Как мужчины и женщины античности понимали любовь, семейную жизнь? Каковы были жизненные выборы у крестьян средневековой Европы? Эти и множество подобных вопросов занимают сегодня историков в той же степени, что и аспекты изучения «экономических отношений», существенно расширяя область познания истории за счет привлечения этнографических, литературных, антропологических, физиологических, психологических, экологических свидетельств.

Создание общества массового потребления, процессы демократизации в целом ведут к перестановке акцентов и в предметной области истории. Объектами изучения социально-ориентированной истории становятся не столько социальные структуры и процессы, сколько повседневный опыт людей, условия, в которых они жили.

---

<sup>219</sup> Sheilagh Ogilvie, How Does Social Capital Affect Women? Guilds and Communities in Early Modern Germany. // American Historical Review, 2004, Vol.109, #2. -- P.325-359.

<sup>220</sup> Reading Irish Histories: Texts, Contexts, and Memory in Modern Ireland. Ed. Lawrence W. McBride. – Portland: Four Courts Press, 2003. – 233 p.

<sup>221</sup> Joy Wiltenburg, True Crime: The Origins of Modern Sensationalism. // American Historical Review, 2004, Vol. 109, #5. – P.1377-1404.

<sup>222</sup> Richard L. Hernandez, Sacred Sound and Sacred Substance: Church Bells and the Auditory Culture of Russian Villages during the Bolshevik Velikii Perelom // American Historical Review, 2004, Vol. 109, #5. – P.1475-1504.

<sup>223</sup> Sarah Knott, Sensibility and the American War for Independence// American Historical Review, 2004, Vol.109, #1. – P.19-40.

<sup>224</sup> Scott Poole W. Never Surrender: Confederate Memory and Conservatism in the South Carolina Upcountry. Athens: University of Georgia Press, 2004. – 320 p.

<sup>225</sup> Wendy A. Woloson, Refined Tastes: Sugar, Confectionary, and Consumers in Nineteenth-Century America. Baltimore: John Hopkins University Press, 2002. – 277 p.; Carolyn Thomas de la Pena, The Body Electric: How Strange Machines Built the Modern American. New York: New York University Press, 2003.

<sup>226</sup> Stown L. The Past and the Present, p.74

Эта смена ориентиров в исторической науке происходит в результате острых дискуссий 1980-х гг. и носит название “*антропологического поворота*”. В результате, с одной стороны, акцент в исторических исследованиях перемещается на изучение собственно “человека-в-истории”, причем не столько созданных им и довлеющих над ним “структур”, сколько его непосредственного опыта в историческом процессе. С другой стороны, для изучения неосознанных социокультурных представлений людей прошлого, включенных теперь в понятие “культура”, историки стали широко использовать методы, заимствованные ими из культурной антропологии. Примером могут служить знаменитые “широкие/плотные описания” (“*thick descriptions*”), представляющие собой трансформированный вариант полевой работы, “ключевые символы” и “центральные темы” – одни из главных методов изучения культурного контекста, являющиеся теми видимыми нам элементами, которые содержат основную информацию о центральных способах мышления, нормах, идеях, ценностях общества. Культурная/социальная антропология с ее фокусом на “человеке-в-культуре”, “вживании” исследователя в культурную среду изучаемых обществ, на установлении связей между институтами современного общества и укладом “примитивных” обществ, не соприкоснувшихся с письменной технологической цивилизацией<sup>227</sup>, служила своего рода моделью для “новой” истории, провозгласившей своей главной задачей изучение опыта людей. Однако в отличие от антрополога, историк не имел возможности прямого наблюдения, поэтому “он должен изучать этот опыт косвенно, через символические и ритуалистические действия, которые вместе с намерениями индивидуума формируют текст, делающий возможным доступ к иной культуре”<sup>228</sup>. В связи с этим в историографии заметен поворот к исторической антропологии с ее семиотическим подходом к символическому в культуре.

Предметная область антропологии – примитивные общества, язык и искусство, традиции и обряды, повседневность, физическая природа человека и его окружение, – безусловно, оказала огромное влияние на становление новых направлений в исторической науке, предоставив ей ценный и разнообразный материал своих практических исследований и теоретических разработок. Среди них особенно выделяется концепция Культуры, которая “проглатывала” и делала своей составной частью не только экономические и социальные отношения, но и другие сферы культурной практики и производства. Представители школы “Анналов” добавили к этому свое понимание смысла культуры, включая в него и те нормы, ценности, идеи, которые бытовали в ту или иную историческую эпоху, социальное поведение и его символичность.

Представление о символичности в человеческой культуре становится одним из фундаментальных в историографии. “Все цивилизации создавали и сохранялись только при использовании символов...Все человеческое поведение состоит или зависит от символов... Символ является космосом человечества”<sup>229</sup>. В связи с этим особое внимание в историографии уделяется отныне исследованиям ритуалов, различных клише и словоформ, форм поведения, матримониальной сфере, так называемым “ментальностям” и др.

Новыми идеологами “культурной истории” становятся представители деконструктивистского, антропологического направлений (П.Берк, КГиртц, Ю.Кристева, П.Бурдьё, Э.Хобсбаум, М.Фуко и другие).

Необходимо подчеркнуть отличие такой давно существовавшей сферы в историографии, как история культуры, от “культурной истории”. И не только подходом к самому определению понятия “культура”, о чем уже говорилось выше, но и перемещением акцентов в изучении культурного содержания. Высшие достижения человеческой культуры являлись и достижениями верхних слоев общества. То же, как жили и как перерабатывали свою

<sup>227</sup> Mead M. Anthropology and an Education for the Future // The Teaching of Anthropology. American Anthropological Association Memoir 94, 1963, p.595.

<sup>228</sup> Geertz C. Thick Description: Toward an Interpretative Theory of Culture. // Geertz C. The Interpretations of Cultures. – New York: Basic Books, 1973. – 470 p.

<sup>229</sup> White L.A. The Symbol: The Origin and Basis of Human Behavior // Readings in Anthropology, ed. by J.D.Jennings, E.A.Hoebel. New York: McGraw-Hill, 1972, p.315.



материальную реальность в культуру, создавая “вторую реальность”, огромное большинство человечества – так называемые “простые люди”, -- оставалось за кадром. Тем не менее, для историка “и скромная кастрюля – такой же продукт культуры, как и соната Бетховена”<sup>230</sup>. Именно поэтому сегодня историки заявляют о необходимости изучать народную культуру (popular culture). Использование здесь английского термина вызвано реальной необходимостью подчеркнуть, что акцент в данном случае делается одновременно на понимании культуры как “низовой”, “народной”, “популярной”. Это безусловно не означает, что культурные историки не исследуют проявления культуры “верхов”. Так, история повседневности, например, изучает и жизненную реальность людей из высших эшелонов власти, аристократии, и рутину крестьян и ремесленников. И все-таки приоритеты многих культурных историков сегодня лежат в сфере исследования “народной культуры” (popular culture).

Подобное “широкое” определение культуры подразумевает немалое количество, да и не простое “количество”, а сложное взаимодействие разнообразных аспектов человеческого существования, связанных с поведением людей и технологиями, искусством и религией, бытовыми принадлежностями и манерой говорить, идеями и нормами общества. И в соответствии с тем, каких установок придерживается тот или иной писатель прошлого, обыгрывается его внимание к тем или иным аспектам культуры – исторического процесса.

До недавних пор белорусские историки занимались в основном исследованиями “традиционных” предметных областей исторического процесса. В то время, как в мировой историографии утвердились исследования, связанные с изучением таких проблем, как питание в истории, телесность, половые отношения, рутинная работа, досуг и способы его проведения, привычки и т.п. – с различных уровней производства и потребления, символики, индивидуального опыта людей, -- в Беларуси такая работа только начинается. Она связана, главным образом, с попытками историков, зачастую пока интуитивными, воспользоваться данными этнографии или литературы. В то же время они еще далеки от анализа взаимосвязи микроуровневых структур (например, семьи, института брака, воспитания, системы питания) с большими силами в истории, такими как изменения в экономике, политических системах, и не ставят целью проследить эволюцию той же символики семейной обрядности, повседневной жизни, родов и т.п.

Многие могут возразить: а как же труды Н.Улащика, А.Мальдзиса, опубликованные и еще больше неопубликованные работы о быте белорусов, их обычаях и повседневности?! Да, работы корифеев нашей историографии могли бы считаться первыми проявлениями «антропологического поворота» в истории, если бы они могли быть написаны на волне этого поворота. Культурализм, просвечивающий из «люстеров мемуарной литературы», является отражением антропологического интереса, исходящего все-таки из общего признания приоритета социально-экономического развития, под сенью метанарратива, которым была марксистская философия истории. «Культура», изучавшаяся в советское время нашими мастерами и стоявшая где-то на периферии материального производства и сельского хозяйства, отличается от «культуры» времен всеобщей «антропологизации». Нынешнее понимание «культуры» зачастую становится синонимом самой «истории» – суть культурной практики и производства.

Последние работы В.Носевича, Е.Гаповой, И.Чикаловой, Г.Дербиной<sup>231</sup>, делающие важный шаг в этом направлении, пока свидетельствуют о том, что знакомство с новыми

<sup>230</sup> Kornblum W. Sociology in a changing world. – Holt, Rinehart and Winston Inc., 1991, p.95.

<sup>231</sup> В.Носевич: Традиционная белорусская деревня в европейской перспективе. – Минск: „Технология“, 2004. – 530 с.; Женщины на краю Европы / Под ред. Е. Гаповой. – Минск: ЕГУ, 2003. – 436 с.; Женщины в истории: возможность быть увиденными. Под ред. И.Чикаловой. Минск: БГПУ, 2001, 2002, 2004. – 320 с., 312 с., 308 с.; Иной взгляд. Международный альманах гендерных исследований. – Минск: БГПУ, 2002. – 64 с.; Чикалова И.Р. Партии и власть в США и Великобритании: Гендерная политика в 1970-1990-е годы. Минск: Тесей, 2000. – 288 с.; Г.Дзержина. Права і сям’я у Беларусі эпохі Рэнесансу. – Минск: Технология, 1997. – 175 с.



подходами в белорусской историографии уже состоялось, но «дружба» с ними еще не стала прочной.

Для этого первого этапа не случайна часто происходящая произвольная подмена понятий, связанная с пока еще не устоявшимися в белорусской историографии статусами «истории повседневности» или «культурной истории». Опираясь этими терминами, белорусские историки зачастую не выходят за рамки истории материальной культуры или этнографии. Так, «история питания» в белорусской историографии понимает питание как «этнический элемент», в то время как исследователи историко-антропологической ориентации показывают, что «питание – фактор не только материальный, но и ментальный, так как зависит не только от климатических условий стран, уровня развития производительных сил и направленности хозяйственной деятельности в обществе, но и от всей совокупности представлений и ценностей (картины мира), свойственной его культуре, от культурных «кодов», которые в свою очередь указывают на значимые ценности в бессознательных установках общества»<sup>232</sup>.

Показательным является замечательный по своему фактическому содержанию и проделанной аналитической работе сборник статей, представленных на круглом столе «Великое княжество Литовское: история исследования в 1991-2003 гг» (16-18 мая 2003 г. в Гродно)<sup>233</sup>. В своих выступлениях участники из пяти стран – России, Беларуси, Литвы, Польши, Украины – говорят, главным образом, об историографии. Именно это слово после «Великого княжества Литовского» и «Речи Посполитой» имеет ключевое значение, и все работы имеют этот термин в своих заглавиях. Тем не менее, содержание этого термина здесь подразумевает исключительно историю изучения ВКЛ в ее различных сферах: историография социально-экономической истории ВКЛ, культурной, внешне-политической, конфессиональной. Несмотря на огромный фактический материал, лежащий в основе выступлений, ни один из белорусских участников не упоминает исследований, выполненных на основе антропологического, гендерного подходов, микро-анализа, культурной истории и т.п. Г.Я.Голенченко выделяет 11 выводов, из которых следует, что «Найбольш прыкметныя зрухі ў вывучэнні гісторыі Беларусі і ў пэўнай ступені ВКЛ XIII-XVIII стст. адбыліся ў даследаванні прафесійнай і традыцыйнай культуры, культурных сувязей, унутранай палітыкі, сацыяльнага і гаспадарчага жыцця, царкоўна-рэлігійных адносін, у некаторых спецыяльных навук (крыніцазнаўства, геральдыка, археаграфія, картаграфія і інш.), аднак «метадалагічны і метадычны узровень большасці навуковых прац не вельмі адрозніваецца ад папярэдняга перыяду»<sup>234</sup>. В.Голубев, размышляя об историографии социально-экономической истории ВКЛ, отмечает необходимость разделения этих понятий: социальная (изучение социальных структур и соотношения между ними) и экономическая (исследование общехозяйственного развития страны)<sup>235</sup>. В длинном списке солидных работ – ни слова о микро-уровневых исследованиях, гендерной стратификации или повседневности. История внешней политики, представленная А.Янушкевичем, также не имеет необходимости рассматривать символику, дипломатические церемониалы и другие антропологические аспекты темы<sup>236</sup>. Статья С.Морозовой, посвященная историографии конфессиональной истории ВКЛ, высвечивает

<sup>232</sup> Montanari M. Der Hunger und Überfluss: Kulturgeschichte der Ernährung in Europa. München, 1993. Цит. по: Арнаутова Ю.Е. Рецензия // Одиссей. Человек в истории. 1998. М: Наука, 1999. – с.357.

<sup>233</sup> Вялікае княства Літоўскае: гісторыя вывучэння у 1991-2003 гг.: матэрыялы міжнароднага круглага стала «Гісторыя вывучэння Вялікага княства Літоўскага у 1991-2003 гг. (Гродна, 16-18 мая 2003 г.). Адказ. рэд. С.Б.Каўн. – Мінск: Медисонт, 2006. – 544 с.

<sup>234</sup> Г.Я.Галенчанка. Беларуская гістарыяграфія гісторыі Вялікага княства Літоўскага XIII-XVIII стст. за 1991-2003 гг. // Вялікае княства Літоўскае: гісторыя вывучэння у 1991-2003 гг.: матэрыялы міжнароднага круглага стала, с.122.

<sup>235</sup> В.Голубев. Гістарыяграфія сацыяльна-эканамічнай гісторыі Вялікага княства Літоўскага XIII-XVIII стст. // Вялікае княства Літоўскае: гісторыя вывучэння у 1991-2003 гг.: матэрыялы міжнароднага круглага стала, с.124-137.

<sup>236</sup> Янушкевіч А. Беларуская гістарыяграфія знешняй палітыкі Вялікага княства Літоўскага: асноўныя тэндэнцыі і перспектывы развіцця // Вялікае княства Літоўскае: гісторыя вывучэння у 1991-2003 гг.: матэрыялы міжнароднага круглага стала, с. 139-147.

преимущественно макро-уровневый характер исследований белорусских историков в 1991-2003 гг.: история церкви как института, история конфессий, не верований-ощущений, история религии на ее макро-уровне, вне изучения ее микро-уровневого «отражения»<sup>237</sup>. Из статьи А.Семенчук очевидным становится авторское понимание культуры как состоящей из разделов: «народная или профессиональная, духовная или материальная»<sup>238</sup>.

Именно поэтому, когда российский исследователь А.И.Филюшкин, анализируя различные поля историографии ВКЛ и РП, трудности освоения источникового наследия, преодоления «москвоцентричной» концепции, указывает на смену исследовательских ориентиров в направлении «взаимовосприятия народов Восточной Европы, формирования у них национального самосознания и этностереотипов», а также констатирует как проблему «господство позитивистских школ» в сфере изучения ВКЛ и РП в России, – это встречает непонимание со стороны белорусских участников. Первый вопрос, поднятый в дискуссии известным белорусским историком Г.Я.Голенченко после выступления российских коллег, -- о мнимой архаичности позитивизма. Что не так с позитивизмом? Все так, только не одними фактами, уточнениями датировок, извлечением новых подробностей или документов жива история. «Позитивизм необходим как первый этап исследования, но затем следует идти дальше», -- аргументирует свою неудовлетворенность Филюшкин, «ведь мало выяснить факты, надо знать, что они означают, и главное – что они означали для участников тех событий, как они их трактовали». И продолжает: «Эта работа ведется по другим историческим методикам: исторической антропологии, культурной антропологии, с привлечением современных методов изучения национализма и империй»<sup>239</sup>.

Интересы и исторический опыт “маленького человека”, который был оставлен без внимания как политической историей XIX в., так и социальной историей XX в., условия его повседневной жизни, то, как эти условия испытывались, наличие ситуации выбора стали приоритетными объектами изучения для ведущих историков современности. П.Берк, К.Гинзбург, Н.Дэвис, К.Томас, Ж.Ле Гофф, Ж.Дюби, К.-Г.Фабер, Й.Рюзен и многие другие авторитеты “новой истории” ориентируются на написание культурной истории, где нарратив, индивидуум, микроподход играют центральную роль.

Разочарование в глобальных объяснительных схемах и универсальных концепциях в эпоху постмодерна коснулось всех сфер общественного сознания, -- политической, научной, и исторической в том числе. Это разочарование породило интерес к новой стороне исторического процесса, которая вытеснялась ранее политической, экономической, социальной историей. Эта сторона истории связана с опытом определенных групп людей и народов, их стремлением к идентификации. В результате ранее “выключенные” из истории темы приобрели самостоятельность – женская история, устная история, история национальных меньшинств (например, американских индейцев), история афроамериканцев и другие.

Кроме того, следует подчеркнуть, что эти новые направления в историографии были связаны со стремлением исследователей поставить человека и его опыт во главе исторической работы. Антропологизация исторических исследований и их переход на микроуровень нашли отражение и в расширении “территории истории” за счет включения в нее таких сфер, которые были связаны с деятельностью женщин. Доминировавшие до недавнего времени истории событийная, политическая, экономическая, избиравшие в качестве своих исследовательских объектов “видимые”, “неподвижные” пласты истории, абсолютно игнорировали ту часть жизни общества, которую принято называть “приватной” и где традиционно доминировали женщины.

<sup>237</sup> С.Марозава. Беларуская гістарыяграфія канфесійнай гісторыі Вялікага княства Літоўскага 1991-2003 гг. // Вялікае княства Літоўскае: гісторыя вывучэння у 1991-2003 гг.: матэрыялы міжнар.круглага стала, с.159-168.

<sup>238</sup> А.Семянчук. Найноўшая беларуская гістарыяграфія культуры Вялікага княства Літоўскага // Вялікае княства Літоўскае: гісторыя вывучэння у 1991-2003 гг.: матэрыялы міжнар.круглага стала, с.150.

<sup>239</sup> Филюшкин А.И. Изучение Великого княжества Литовского и Речи Посполитой в российской историографии 1990-х гг.: проблемы, тенденции и перспективы; Дискуссия // Вялікае княства Літоўскае: гісторыя вывучэння у 1991-2003 гг.: матэрыялы міжнар.круглага стала, с.8-15, 101.

Такое исключение женщин из поля зрения исследователей было обусловлено исторически: на протяжении столетий женщины устранились из публичной жизни и властных сфер, что делало их практически “невидимыми” для историков. Поскольку история представлялась полем битв, политических, дипломатических, экономических перипетий, то частная, семейная сфера жизни казалась не заслуживающей внимания. С другой стороны, мы не можем сказать, что историография античности, средневековья или Нового времени не оставила ярких женских образов, -- однако, все они, и Жанна Д’Арк, и Екатерина Великая, и Ефросинья Полоцкая вошли в нее как раз благодаря тому, что вели себя, выходя за рамки “женских” моделей поведения.

Специальный анализ исторических форм женского исключения – в экономической, политической, философской и даже языковой сферах, конечно, не входит в наши планы. Отметим только, что лишь в XX веке был сделан важнейший шаг, в корне меняющий взгляд от проблемы *предоставления* женщине *бóльших* прав к осознанию *асимметрии* кажущихся равновесными понятий «мужчина» / «женщина». Стереотипы вроде тех, что разделял Аристотель («женщина это мужчина, которому недостает некоторых качеств») прочно обосновались в нашем обществе и их отголоски можно найти и в настойчивых обоснованиях «женской роли» ее биологической природой, и даже в призывах дать матери возможность быть «хранительницей очага». “Проказа и прокаженные исчезли, но осталась сама система”, по словам М.Фуко. Культурная матрица, продолжающая штамповать привычки мышления.

Современные исследователи связывают традиционно-вторичное или подчиненное положение женщины в обществе с гендерным разделением труда, начало которому было положено в период перехода от охоты и собирательства, предполагавших равные доли мужчины и женщины в хозяйстве, к земледелию и скотоводству, усиливших роль мужчины и закрепивших стереотипы “мужчины-добытчика” и “женщины-хранительницы очага”. Социальное неравенство, имущественные интересы и властные отношения нашли отражение в гендерной стратификации общества.

Андроцентристский (от греч. *ándros* – “мужчина”) подход культивировался в истории со времен античности, где женщина не являлась субъектом гражданского права, поскольку считалась неспособной выйти за рамки своего природного предназначения, и соответственно, частно-семейной сферы существования. Так, “в античности женщины [и дети] жили совершенно удаленно [от мужчин]. Они редко показывались в общественных местах, оставались в своих комнатах, редко ели со своими мужьями...они редко проводили вместе дни<sup>240</sup>”.

Классическая Греция дает нам пример свободного гражданина – мужчины и его жены, не имеющей этого статуса, не вышедшей за рамки своего хозяйства и семьи. Неравенство между мужчинами и женщинами затрудняло их близость в духовном, интеллектуальном плане. Этим часто объясняют бисексуальность античного общества. Так, Плутарх констатировал: “любовь не имела ничего общего с женской половиной”<sup>241</sup>.

Подчиненное положение женщин и их выключенность из публичной сферы сохранялась и на протяжении средневековья, и в Новое время. “Естественной дефективностью” женщин объяснялся их низкий социальный статус (Фома Аквинский). Женщина, как пишет Ж.Дюби применительно ко Франции XII века, имела две ипостаси: тело ее принадлежало мужу, а душа – Богу<sup>242</sup>. С наступлением Нового времени появляются иные ноты в понимании “женского вопроса”, хотя в целом либеральная теория этого периода “демонстрировала ограниченность в вопросе распространения эгалитарных прав на новые группы граждан: женщинами

<sup>240</sup> Gurwith M. *The Twilight of the Goddesses: Women and Representation in the French Revolutionary Era.* – New Brunswick: Rutgers University Press, 1992, p.125.

<sup>241</sup> Cantarella E. *Bisexuality in the Ancient World.* – New Haven: Yale University Press, 1992, p.70.

<sup>242</sup> Duby G. *Love and Marriage in the Middle Ages,* p.31.

пренебрегали просто потому, что они женщины”<sup>243</sup>. Несмотря на то, что многие мыслители считали, что социальный прогресс и смена периодов совершаются пропорционально прогрессу женщин к свободе, а падение социального – пропорционально уменьшению свободы женщин” (Ф.М.Ш.Фурье, 1808), на практике даже после Французской революции женщины были исключены из политической, социальной и экономической сферы.

Хотя некоторые исследователи считают уже салоны XVII века первой формой женского движения, о настоящем зарождении женского самосознания можно говорить только со второй половины XIX века. Именно тогда появляются первые феминистки – суфражистки (от англ. *suffrage* – право голоса) в Великобритании, а затем и в других странах. Широкое движение за избирательные права женщин и общая революционная ситуация дали свои плоды: в 1905 г. в Финляндии, а затем в 1918-20-е гг. в Бельгии, Германии, Канаде, США женщины получили право голоса.

После бурного всплеска женского движения последовал период некоторого застоя, что было связано со многими факторами. В частности, успехи суфражизма, военные трудности, рост промышленности и качественный скачок в устройстве быта на некоторое время приостановили развитие феминистского движения.

Однако уже в 1960-е гг. начинается новый период, часто называемый “женским возрождением”, связанный с ростом политического участия женщин, осмыслением социокультурных ролей полов, включением женщин в орбиту философской мысли. Все это привлекло внимание к важности постановки проблем, связанных с репрезентацией женских сфер в истории и рождению нового направления в исследованиях – “женской истории”.

Говоря о женской истории, следует сделать терминологическое уточнение: английский вариант названия *women’s history* предоставляет возможность двоякого перевода – “женская история” или “история женщин”. И хотя, строго говоря, последний перевод грамматически более корректен, тем не менее, идеологически возможно употребление термина “женская история”. Такая оговорка не случайна, поскольку это направление в целом начиналось с признания того факта, что вся история, существовавшая до сих пор, является по своей сути “историей мужчин”, предполагавшей изучение “мужских” сфер деятельности и “мужской взгляд” в интерпретациях, основанных на представлениях, ценностях и даже документах мужчин.

Нельзя не отметить, что попытки пересмотреть историю с этой точки зрения осуществлялись и ранее, тем более, что и сами идеи феминизма возникли очень давно. Феминистическая мысль имеет долгую историю, и мы отошлем читателя к специальной историографии<sup>244</sup>.

На волне феминистского движения сформировалась убежденность в необходимости исследований, призванных “восстановить справедливость в отношении “забытых” предшествовавшей историографией женщин”<sup>245</sup>. В результате в конце 1960-х – начале 1970-х гг. широкое распространение получили исследования, авторы которых стремились, во-первых, восполнить этот пробел и написать “историю женщин”, и во-вторых, дать “женский взгляд” на исторический процесс. Эта установка на создание особой “женской истории” господствовала до середины 1970-х гг. и сочеталась со стремлением объяснить наличие конфликтующих интересов и альтернативного жизненного опыта женщин разных социальных категорий, опираясь на феминистские теории неомарксистского толка, которые вводили в традиционный

<sup>243</sup> Чикалова И.Р. Гендерная история: к вопросу о становлении // Теоретико-методологические проблемы исторического познания. Материалы к международной научной конференции. В 2-х т. Т.1. – Минск.: РИВШ БГУ, 2000. – С.169.

<sup>244</sup> См.: Scott J.W. *Gender and the Politics of History*. New York: Columbia University Press, 1988. – 242 p.; *A History of Women*. Vol.1-5. Cambridge, Mass., London, England, 1995; Davis N.Z. *Society and Culture in Early Modern France*. New York, 1975; Репина Л.П. *Гендерная история: проблемы и методы исследования*// Новая и новейшая история, 1997, № 6; Пушкарева Н.Л. *Женщины Древней Руси*. – М.: Мысль, 1989. – 286 с.; *Теория и история феминизма*. Харьков: Ф-Пресс, 1996. – 387 с.; *Феминизм: Восток, Запад*. М.: Восточная литература, 1993. – 243 с. и др.

<sup>245</sup> Репина Л.П. Смена познавательных ориентаций и метаморфозы социальной истории, с.39.



анализ фактор различия полов и определяли статус исторического лица как специфическую комбинацию индивидуальных, половых, семейно-групповых и классовых характеристик<sup>246</sup>.

Следует отметить, что в этот период историки, стремясь найти и исследовать “женский вклад”, в большинстве случаев оказывались в плену маскулинного типа культуры, который предполагал счет ценностей с “мужской точки зрения”. “Когда тема женщин только появилась в исторической литературе, -- пишет американский историк А.Кредитор, -- слишком часто она сводилась к изучению женщин как компонента домашнего хозяйства и детопроизводства, или к исследованию личностей женщин, проявивших себе чем-либо экстраординарным”<sup>247</sup>. Тем не менее, именно тогда феминистская теория приходит к анализу властных отношений как основному источнику гендерного неравенства и изучению механизмов работы социальных институтов, проводящих это неравенство в жизнь.

К началу 1980-х гг. феминистская теория переходит на новый виток развития, а вместе с ней изменяется облик и женской истории. Огромное значение для ее теоретического и методологического обновления имело конструирование категории “гендер”, создавшей новые возможности для междисциплинарного, кросс-культурного, исторического анализа. Следует отметить особый вклад в теоретическое обоснование гендерного подхода к истории, сделанный феминистскими исследователями Дж.Скотт, Н.Дэвис, Ш.Роуботэм, М.Лэйк). Именно в этот период новое поколение постмодернистски-ориентированных сторонников феминистской теории доказывает, что “пол” – это социально-культурная конструкция, и следовательно, в каждом конкретном обществе существуют собственные гендерные стереотипы и понимание о гендерных ролях<sup>248</sup>. Понятие “гендера” как социо-культурной конструкции пола становится центральным в исторической науке уже в 1980-е гг. и сегодня, наряду с категориями “класс”, “раса”, является ключевым в исторических исследованиях.

Так исследовательский опыт в отношении гендерного подхода прошел трансформации от полной “невидимости” женщин в истории, через признание их несправедливо “маргинального” положения и лозунга изучения женщин “в их собственных терминах” (т.е. с позиции женщин), к тому состоянию, когда достижения феминистской мысли вносят коррективы в традиционные теории и дисциплины. “Гендер, -- пишет австралийский историк М.Лэйк, -- подобно троянскому коню позволил нам влиться в поток традиционной истории, но не с намерением добавить к своим исследованиям, а со стремлением переписать ее”<sup>249</sup>.

Следует подчеркнуть, что категория “гендер” с самого начала носила междисциплинарный характер, связанный с теми разнообразными сферами и влияниями, которые накладывались на факт принадлежности человека к биологическому полу, – социально-политическими, культурными, экономическими, психологическими (статус в обществе, отношение к власти, карьера, заработная плата, культурные стереотипы поведения, характер труда, особенности психики и т.п.). С момента введения в научный оборот “гендер” был призван исключить “биологический и психический детерминизм, который постулировал неизменность условий бинарной оппозиции мужского и женского начал”. “Поскольку гендерный статус, гендерная иерархия и модели поведения задаются не природой, а предписываются институтами социального контроля и культурными традициями, гендерная принадлежность оказывается встроенной в структуру всех общественных институтов, а воспроизводство гендерного сознания на уровне индивида поддерживает сложившуюся систему социальных отношений во всех сферах”<sup>250</sup>. Такой факт взаимообусловленности

<sup>246</sup> Там же.

<sup>247</sup> Kraditor A.S. Up From the Pedestal //Women and Womanhood in America. – Lexington, Mass., Toronto, London: D.C.Heath and Company, 1973. -- P.5.

<sup>248</sup> Титаренко Л.Г. Феминистская антропология и исторический подход // Теоретико-методологические проблемы исторического познания. Материалы к международной научной конференции. В 2-х т. Т.1. -- Минск: РИВШ БГУ, 2000, с.167.

<sup>249</sup> Современная Современная мировая историческая наука: Инф.-аналит. Обзор (по материалам XVIII Международного конгресса историков, Монреаль -1995). / Ред.коллегия: А.Н.Алпеев, В.Н.Сидорцов, С.В.Толеренок. -- Минск: ТетраСистемс, 1996. – 196 с.

<sup>250</sup> Там же.



гендерного статуса, властных отношений, собственности, проявлений в культурной сфере, предполагает междисциплинарный характер использования категории “гендер”.

Гендерная история, которая начинает свое развитие в нашей стране, уже давно и прочно утвердилась в западной историографии. Так, “женские исследования” (Women’s Studies) получили настолько широкое признание во всем мире, что уже вошли в состав специальностей, по которым можно защищать диссертации и получать докторскую степень (Ph.D.). По данной специальности преподаются более 200 различных курсов. Свыше 100 различных феминистских изданий, посвященных культурно-исторической тематике, включают такие популярные журналы, как *Frontiers: A Journal of Women Studies*, *Signs: Journal of Women in Culture & Society*, *Women’s Studies Quarterly*, *Gender and History*, *Journal of Women’s History*, *Women’s History Review* и др.

Под влиянием свойственной постмодерну ситуации междисциплинарности, исследователи “женской истории” и приверженцы гендерного подхода (понимающегося как рассмотрение любых исторических процессов и событий с точки зрения гендерной стратификации) принимали самое непосредственное участие в становлении многих новых направлений современной историографии: устной истории, истории повседневности, микроистории. Представление о гендере как социокультурной конструкции пола, всех тех отношений, статусов, ролей, которые накладываются на человека в обществе в зависимости от того, является ли он мужчиной или женщиной, включается в общий культурный дискурс современности.

Индивидуализация тем исторического исследования, антропологическая заинтересованность в истории привели к пересмотру многих категорий исторического исследования. Так, принятые в “традиционной” историографии “народные массы”, “народ”, “производительные силы” и другие абстрактные “бестелесные” категории, не являются определяющими в исследовательском арсенале. “В то время, -- пишет М.Хоувелл, -- как сегодня многие историки все еще заняты написанием биографий, истории маневров и хроники дипломатии, тщательной до болезненности датировкой манускриптов, они уже больше не контролируют дисциплину... То, что в группу историков, признающих повседневную жизнь, экономические процессы, социальные структуры как неотъемлемую составляющую истории, входят наиболее видные историки двух последних десятилетий Лоуренс Стоун, Эммануил Ле Руа Ладюри, Филипп Ариес, Кристофер Хилл, -- говорит о триумфе категорий *класс, раса, этничность, гендер*”<sup>251</sup>.

Современные гендерные исследования осуществляются преимущественно в направлении сочетания “традиционных” для историков проблем социально-экономического плана (с учетом нового содержания, вкладываемого в понятие “социальное”), антрополого-семиотического подхода и ключевых аспектов гендерных взаимодействий, преподнося тем самым не только новые выводы, но и открывая новые поля. Так, особой популярностью пользуются исследования, посвященные процессам взаимодействия гендерных различий и экономических преобразований, социальной политике, культурной символике и стереотипам, матриониальному поведению и др.

Особое место в исследованиях занимают проблемы, связанные с модернизацией общества. Актуальными остаются вопросы, поставленные в классической работе Э.Кларк “Трудовая жизнь женщин в XVII в.” (1919) о том, что развитие капитализма на раннем этапе имело отрицательные последствия для женщин. Многие исследователи отмечают, что в экономике, основанной на принципах конкуренции и наемного труда, дискриминация женщин была более заметной, чем в традиционном крестьянском хозяйстве. В то же время именно переход к капитализму дал женщинам возможности для самоосознания, стирая границы “традиционного” гендерного разделения труда.

Еще в 1930-е гг. М.Бирд предприняла попытку проследить достижения женщин, их социальную роль и вклад в жизнь общины (“Америка глазами женщин”, 1934; “Рождение американской цивилизации”, в соавторстве с Ч.Бирдом, 1927 и др.) Во второй половине XX в.

<sup>251</sup> Там же.

внимание к проблемам роли женщин в производстве возросло, обогатившись исследованиями экономики с со времен колоний до наших дней, законодательства, показателей заработной платы, условий труда и т.д.

Популярными темами исследований становятся семейная жизнь, институт брака, мораль, - то есть те сферы общественной жизни, которые традиционно относили к “приватным”, “женским” (Г.Лернер, Б.Велтер, Ж.Дюби). При этом, если в 1970-е гг. приоритетными были социально-экономические аспекты этой проблематики, то в 1980-1990-е гг. четко обозначился акцент на культурной символике.

Эта “семиотизация”, характерная для многих историографических направлений, подразумевает “расшифровку” исторических источников с точки зрения наличия в них гендерной символики. Такой подход позволяет изучать архитектурные памятники, материалы инквизиции, лубочные картинки, приходские книги, переписку, мемуары и многие другие виды источников, ранее практически не попадавшие в исследовательское поле историков.

Так, один из пионеров гендерных исследований Натали Дэвис, говоря о тонкой грани между поэзией и историей, подчеркивает роль воображения историка, который призван услышать “голоса из прошлого”<sup>252</sup>. Ее собственное, ставшее уже классикой, исследование, фокусируясь на гендерных отношениях, рисует красочную картину народной культуры во Франции начала Нового времени<sup>253</sup>.

Разнообразные виды источников использует и Ж.Дюби, анализируя институт брака в средневековой Франции. Литературные произведения, частная переписка женщин и духовников, архитектурные памятники, скульптуры, художественные изображения – все несет на себе отпечаток культурной символики, являясь той самой “второй реальностью”, которую создают люди<sup>254</sup>.

Семиотическая направленность современной гендерной истории расширяется за счет изучения культуры потребления, языка, моды, быта, досуга и т.д.<sup>255</sup>.

Говоря о новых направлениях в современной историографии, нельзя не отметить их тесное переплетение как на уровне исследовательских объектов, так и на уровне технологий. Гендерная история, микроистория, история повседневности, устная история – несмотря на разногласия между их последователями, эти направления имеют под собой родственные основания, связанные со вниманием к индивидууму в культурном контексте или в локальном сообществе, с акцентом на изучении “опыта”.

С самого начала своего развития гендерная/женская история шла рука об руку с таким направлением, как устная история, которое также занимает прочное место в исследованиях западных историков с 1960-х гг. Интервью с женщинами предоставляли важнейший источник для изучения тех, кто был, по выражению Ш.Руботэм, “спрятан от истории”<sup>256</sup>, бросая вызов историческим интерпретациям, основанным на документах и образах мужчин.

Признание уникальности человеческого опыта и необходимости интервьюирования свидетелей и непосредственных участников событий и процессов прошлого с целью исторической реконструкции дало первоначальный толчок бурному развитию исследований в рамках устной истории. В то время как интервью с членами социальных и политических элит служили лишь дополнениями к существующим документальным источникам, те, кто стоял у истоков устной истории (П.Томпсон, Р.Самуил, К.Гиртц, Р.Грили и др.), преследовали иную

<sup>252</sup> См.: Davis N.Z. *The Return of Martin Guerre*. – Cambridge, Mass., 1983/ 2<sup>nd</sup> ed. – Harvard: Harvard University Press, 2007. – 176 p.

<sup>253</sup> См.: Davis N.Z. *Society and Culture in Early Modern France*.

<sup>254</sup> См.: Duby G. *Love and Marriage in the Middle Ages*; Duby G. *The Knight, the Lady, and the Priest: The Making of Modern Marriage in Medieval France*. – New York: Pantheon, 1985. – 311 p.

<sup>255</sup> См.: *The Sex of Things: Gender and Consumption in Historical Perspective*. – Berkley, L.A., London: University of California Press, 1996. – 422 p.

<sup>256</sup> См.: Rowbotham Sh. *Hidden from History. 300 years of women’s oppression and the fight against it*. – London: Pluto, 1973. – 178 p.

цель: "заключить внутрь исторического источника, созданного в результате интервьюирования, опыт и перспективу тех групп людей, которые обычно игнорировались историками"<sup>257</sup>.

Именно "опыт" был краеугольным камнем в исследованиях феминистски настроенных историков – последователей устной истории. Необходимость изучения исторической памяти женщин, того как женщины объясняют, рационализируют, извлекают смысл из прошлого, стала центральной задачей их исследований. Именно поэтому уже на первом этапе своего существования устная история не только предоставила для гендерной свои методологию и инструментарий, но и имела схожие с ней теоретические основания.

Первый проект по устной истории был организован американским исследователем А.Невинсом в Колумбийском университете в Нью-Йорке в 1948 г. Его интересы лежали в записи и сохранении интервью с представителями элиты белых мужчин. В отличие от него, английские исследователи (например, Г.Э.Эванс) в 1950-60-е гг. направляли свои усилия на запись опыта так называемых "простых" людей – представителей рабочего класса. В целом исследования историков этого периода отвечали лозунгу создания "истории снизу", распространившемуся в мировой историографии.

В 1960-1970-е гг. устная история получает сильный импульс к развитию со стороны истории афроамериканцев (А.Хайли). Следует отметить большой интерес, проявляемый исследователями маргинальных культур, к такому новому виду источников, как интервью. Отсутствие собственной писанной истории, давние традиции устного исторического сознания укрепили популярность устной истории в таких регионах, как Южная Африка, США, Италия и многих других.

К концу 1970-х гг. устная история уже имела устоявшийся статус в академическом мире во многих странах. Несмотря на эти успехи, методы и стратегия устной истории высветили серьезные проблемы, связанные как с критикой со стороны историков, основывавших свои исследования на традиционных документах, так и со спорами внутри самой области. Основная часть критических выступлений сводилась к обсуждению возможности памяти, репрезентативности индивидуальных свидетельств, методов интервьюирования. Этим и другим вопросам была посвящена Первая международная конференция по устной истории, проведенная в Эссексе, Англия, в 1979 г. Тогда же появляются первые журналы (Oral History Review, International Journal of Oral History) и антологии, посвященные устной истории.

Устная история бросила вызов традиционной истории и в другом смысле: от исследователей требовалось теперь знание таких техник интервьюирования, которые пересекали рамки различных дисциплин – социологии, антропологии, психологии и лингвистики. Устная история зависела в большей степени от отношений между историком и его источником. Рассказчик не только "вспоминал" прошлое, но и интерпретировал его. Более того, некоторые историки видели свою цель не столько в реконструкции прошлого и создании нарратива, сколько в оказании помощи индивидуумам или социальным группам в процессе идентификации. В этом случае сам процесс интервьюирования представлял "терапевтическое" средство, "поиск себя" и своего места в истории.

Бросая вызов ортодоксальной историографии в плане использования исторических источников, методов и исследовательских задач, устная история породила множество споров. Пожалуй, самыми значительными среди них были и остаются споры вокруг достоверности памяти и природы интервьюирования, а также о соотношении памяти и истории, прошлого и настоящего.

Это, в свою очередь, рождает нерешенные проблемы, связанные с возможной субъективностью исследователя и трудностями интерпретации. Кроме того, поскольку устные историки имеют дело с процессами памяти, то разработка и постановка вопросов, интервьюирование и интерпретация должны основываться на готовности и умении слушать, внимании к интервьюируемому и точности в процессе коммуникации. С этой целью исследователи используют различные техники интервьюирования, специально подготовленные опросники, знание психологии, необходимые для того, чтобы правильно обращаться с такими

<sup>257</sup> The Oral History Reader. Ed. by R.Perks and A.Thompson. -- London, New York: Routledge, 1998, p.x.

явлениями человеческой памяти, как конструктивные ошибки, рефабрикация под влиянием общественных стереотипов, бессознательное подавление и забывание.

Важнейшими звеньями в процессе создания устной истории являются интервьюирование и интерпретация. Чаще всего современные исследователи готовятся к интервью, составляя специальные опросники, ориентированные на исследовательские задачи. Поскольку во время интервью рассказчик вынужден вспоминать события прошлого, устные историки используют специальные методы, стимулирующие мнемонические процессы (визуальные техники – карты, планы местности, фотографии, диаграммы и т.д.).<sup>258</sup>

Записанные материалы историк должен расшифровать – и здесь вновь возникает проблема интерпретации. Хотя уже само интервьюирование может обнаружить противоречия между идеологией, мифологией и реальностью, интерпретация также таит опасность ложных заключений. “Мы подвергаемся опасности не только неправильного понимания интервью, но и неверного понимания того, что и почему было сказано”<sup>259</sup>. В связи с этим многие устные историки, также как и представители микроистории, пришли к выводу о необходимости постановки исследуемой темы в широкий социальный контекст.

Многие исследователи сегодня пытаются соотнести теоретические изыскания о нарративе и памяти с политическими установками для создания истории “маргинальных групп”, что порождает большое количество литературы, пересекающей дисциплинарные границы. Так, в тесной связи с устной историей находятся исследования в области лингвистики и коммуникации (П.Томпсон, Р.Грили, М.Фримэн), изучающие отношения между идентичностью, памятью, личным нарративом<sup>260</sup>. По своим целям и методам близки к устной истории представители так называемой нарративной психологии (В.М.Раньян, Сарбин Т.Р.), ориентированной на психолого-биографические исследования, “социологии истории жизни” (М.Чемберлейн, П.Томпсон, Д.Берто), изучающей общество с точки зрения индивидуального опыта, и антропологии (С.Каллауэй, Р.Самуил), раскрывающей связи частной и общественной сфер<sup>261</sup>.

Несмотря на некоторую настороженность, сохраняющуюся в рядах “традиционных” историков по отношению к устной истории, является общепризнанным фактом, что это направление сделало значительный вклад в решение таких проблем, как общественная конструкция памяти, этические дилеммы историка, а также вопросов, вынесенных на повестку дня постструктуралистскими и постмодернистскими подходами к языку и репрезентации.

Своей сверхзадачей последователи устной истории определяют создание такого видения истории, которое позволяет видеть историю как более или менее непосредственный опыт, а не абстрактный процесс. “Устная история – это история, построенная вокруг людей... Она делает героев не только из вождей, но и из неизвестного большинства... Она помогает наименее защищенным, особенно пожилым, людям обрести уверенность и достоинство. Она способствует пониманию между социальными классами и поколениями... Устная история дает средства радикальной трансформации социального смысла истории”<sup>262</sup>.

Многие историки сегодня остро ставят вопрос о необходимости сочетания макроструктурного и микроантропологического уровней исторического исследования, проведения анализа индивидуальных социальных позиций, “взятых в переплетающихся

<sup>258</sup> См.: Yow V. Recording Oral History: A Practical Guide for Social Scientists. – London: Sage, 1994.

<sup>259</sup> Grele R. Movement without the aim: Methodological and theoretical problems in oral history // The Oral History Reader. Ed. by R.Perks and A.Thompson. -- London, New York: Routledge, 1998, p.48.

<sup>260</sup> См.: Envelops of Sound: The Art of Oral History. Ed. by R.Grele. Chicago: Precedent, 1985. / 2<sup>nd</sup> ed.: Praeger, 1991. – 312 p.; The Myths We Live By. Ed. by Samuel R., Thompson P. – London: Routledge, 1990. – 262 p.; Tonkin E. Narrating Our Pasts: The Social Construction of Oral History. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. – 171 p. и др.

<sup>261</sup> См.: Biography and Society: The Life History Approach in the Social Sciences. Ed. by D.Bertaux. – London: Sage, 1981. – 309 p.; Samuel R. Theaters of Memory: Past and Present in Contemporary Culture. – London, New York: Verso, 1994. – 479 p.

<sup>262</sup> Thompson P. The Voice of the Past: Oral History // The Oral History Reader. Ed. by R.Perks and A.Thompson. -- London, New York: Routledge, 1998, p.28.



контекстах формальных (домохозяйства, профессиональные корпорации, религиозные общины, институты местного самоуправления) и неформальных социальных групп (семьи, соседства, имущественные страты)”. Неотъемлемой частью такого анализа должна быть и динамика индивидуальных жизненных циклов, где “биологические циклы жизни индивидов связываются с системой стратификации и социальными процессами в микроструктурах и обществе в целом”<sup>263</sup>. Таким образом, устная история должна являться своего рода связующим звеном между индивидуальным опытом и материальным и социальным контекстом.

Уже ставшее почти банальным утверждение о том, что история не является “прошлым” сама по себе, но она есть продукт осмысления сегодняшним историческим сознанием людей исторического опыта прошлого с «изобретением» истории повседневности, устной и гендерной и других направлений «антропологизации» в историографии приобретает новое измерение. И не случайно: эти исторические предприятия призваны помочь понять пути превращения индивидуальной памяти в коллективную, трансформации “прошлого” в историю, «опыта» в традицию.

Начатое социальными историками изучение общества как системы, имеющей свое устройство, структуру, элементы и их функции, открывало перспективы изучения экономических, социальных процессов (например, в “городской истории”, “рабочей истории”). Кроме того, в связи с наметившимся уже в 1970-е гг. расширением самого понятия “социальная история”, наряду с классами, сословиями, объектами изучения стали такие микроструктуры, как семья, община, приход и др.<sup>264</sup>.

С середины 1970-х – начала 1980-х годов под влиянием культурной антропологии и в социальной истории происходит сдвиг исследовательских интересов от изучения макроуровневых структур к культуре, причем в ее новом понимании. “Антропологизация” культуры расширила его, включив сюда “реальное содержание обыденного сознания людей прошлых эпох, отличающиеся массовым характером и большой устойчивостью ментальные представления, символические системы, обычаи и ценности, психологические установки, стереотипы восприятия, модели поведения”<sup>265</sup>.

В результате дискуссий 1980-х гг. произошел тот самый “антропологический поворот” в исторической науке, который меняет и ее предметную область, и подходы к изучению. С одной стороны, акцент в исторических исследованиях перемещается на изучение собственно “человека в истории”, причем не столько созданных им и довлеющих над ним “структур”, сколько его непосредственного опыта в историческом процессе. В традиционной дихотомии “действия – структуры” (“общество – культура”) центральной категорией, связующим звеном становится “опыт”. «Опыт», прямого доступа к которому историк не имеет, стал изучаться при использовании арсенала антропологов. Этот арсенал имел скорее декларативный, нежели частный характер, поскольку заключался, главным образом, в самом подходе «погружения», «пристального чтения» текста-прошлого.

Появление новых подходов, направлений, субдисциплин в истории сочетается с таким ставшим сегодня ее неотъемлемым качеством, как междисциплинарность. Она выражается не только в заимствованиях из других дисциплин (социологии, демографии, психологии, математики и информатики, антропологии, лингвистики, литературоведения), но и в “интеграции на уровне конструирования междисциплинарных объектов”<sup>266</sup>.

Междисциплинарность, антропологизация, лингвистический (дискурсивный) поворот – эти явления, по сути своей неотделимые друг друга, – изменили облик западной историографии настолько, что на книжных полках теперь в равной степени можно встретить и «Становление

<sup>263</sup> Репина Л.П. Смена познавательных ориентаций и метаморфозы социальной истории, с.38.

<sup>264</sup> Там же, с.20.

<sup>265</sup> Там же, с.21.

<sup>266</sup> Там же, с.14



Америки: власть и истоки корпоративного капитализма<sup>267</sup>», и «Американские мифы: как мы думаем о Западе<sup>268</sup>»; и традиционные биографические исследования выдающихся деятелей американского прошлого<sup>269</sup>, и коллективные биографии пяти наиболее известных и влиятельных куртизанок 19 столетия<sup>270</sup>.

Гуманизация исторического знания, антропологическая ориентация истории, «нетрадиционные» сферы исследований, основывающиеся на новых теориях и междисциплинарных подходах (экологическая история, гендерная история, устная история, история повседневности, микроистория), пересекаются с «лингвистическим поворотом». И хотя мы уже писали о нем в предыдущей части, остановимся здесь как раз на этих точках пересечения. Первая связана с таким понятием, как «деконструкция». Этот термин, означающий вскрытие внутренней структуры и противоречивости объектов исследования, знаменовал в историографическом смысле разрушение уверенности в том, что объект и результат исследования историка совпадают, а историческая действительность и есть то, что описывает историк.

Безусловно, эти идеи были известны уже довольно давно, являясь по сути фундаментальными в спорах о принципиальной познаваемости мира. То, что мы видим, есть лишь поверхность явления, а не само явление, и более того, поверхность явления и само явление не совпадают.

Эта мысль, но уже в «языковом» измерении нашла не только онтологическое, но и гносеологическое обоснование уже у постмодернистов. Именно здесь, в языковом и символическом характере человеческой культуры, лежит следующая точка пересечения наших «поворотов». Как не обязательно совпадают «поверхность и явление», так же может не совпадать и знак и его содержание, означающее и означаемое.

Положение о знаковости является фундаментальным для понимания природы исторического наследования культур, процессов социализации, вхождения человека в общество. Освоение человеком действительности носит знаковый характер, окружающий мир является нам в виде знаков, мы существуем в знаковой среде. Именно поэтому огромное значение в современной историографии приобретают темы, связанные с изучением того, *как люди создавали «вторую реальность», т.е. того, через какие образы, представления, верования, понятия они воспринимали мир.*

Возьмем, к примеру, один из последних выпусков журнала Исторической ассоциации (Великобритания) «История» (January 2007 - Vol. 92 Issue 305). Первая статья этого выпуска «Ужасная среда Пятидесятницы: конфронтация дискурсов Города и Принца в Бругском восстании 1436-1438 гг.»<sup>271</sup> показывает не столько хронологический порядок или социально-экономические причины возмущения фламандцев правителями из Бургундии, сколько на основе тщательного анализа источников демонстрирует, что социальная и политическая борьба между ними были отражены в дискурсивной борьбе за репрезентацию политических событий. Именно через это зеркало – репрезентацию – Жан Дюмолан рассматривает восстание. Ссылаясь на знаковую работу одного из лидеров школы «Анналов» Жоржа Дюби «Воскресенье в Бувине», Ж.Дюмолан также пытается «расследовать событие» 22 мая 1437 г. с точки зрения тех противоречивых политических ценностей и идеологий, которые остались после него в письменной форме. Логика чести высшего дворянства и ее пропаганда насильственным

<sup>267</sup> Charles Perrow, *Organizing America: Wealth, Power, and the Origins of Corporate Capitalism*. Princeton: Princeton University Press, 2002. – 259 p.

<sup>268</sup> *Western Places, American Myths: How We Think About the West*. Ed. Gary J. Hausladen. Reno: University of Nevada Press, 2003. – 343 p.

<sup>269</sup> William Sterne Randall, *Alexander Hamilton: A Life*. – Harper Collins Publishers, 2003; Burt Solomon, *The Washington Century: Three Families and the Shaping of the Nation's Capital*. – Perennial, 2004. – 480 p.; Robert Dallek, *Lyndon B. Johnson: Portrait of a President*. – Oxford, London: Penguin Books, 2005. – 396 p.

<sup>270</sup> См. Katie Hickman, *Courtesans: Money, Sex and Fame in the Nineteenth Century*. – Perennial, Harper Collins Publishers, 2003. – 384 p.

<sup>271</sup> Jan Dumolyn. The 'Terrible Wednesday' of Pentecost: Confronting Urban and Princely Discourses in the Bruges Rebellion of 1436–1438. // *History*, January 2007. Vol. 92 Issue 305, p.3-20.

образом противопоставляется ценностям городского сообщества Бруг, которое в свою очередь пыталось сохранить свою автономию, оправдывая собственные действия для будущего в своем дискурсе.

Вторая статья журнала – «Религия, власть и парламент: переоценка Ротшильда и Брадлоу»<sup>272</sup> рассматривает конкретные ситуации противоречивых споров вокруг выборов и включения в британский парламент еврейского барона Лионеля де Ротшильда и атеиста Чарльза Брадлоу. Эти ситуации анализируются как символические, отмечающие более глобального уровня дебаты вокруг британской национальной идентичности и возрастания либерализации. Д.Груб доказывает, что включение впоследствии и Ротшильда, и Брадлоу в число законодателей является символическим шагом в направлении от религиозного конформизма как средства измерения «британскости». Основываясь на *репрезентации* этих событий, он анализирует трансформации того, что включало «британскость» и трансформации ее составляющих от религиозной формы к моральным ценностям.

Поскольку человек в историко-культурном смысле существует в мире знаков, сами люди подвержены влиянию этого мира. Знаки в виде культурно наследуемых символов влияют на наше сознание и даже на сами способы мышления. Современная историография констатирует и изучает эту двойственность, исследуя как знаково-символьные выражения культуры и ее исторические формы, так и ее стереотипы. Обращают на себя внимание особенно тесные взаимосвязи истории и антропологии, близость позиций “лингвистического” и “антропологического” поворотов. Например, такое направление историографии, как история питания, включает различные уровни междисциплинарности: привлекаются и знания биологии, экологии, климатологии, и семиотические интерпретации, и гендерный подход. Так культура питания пронизана сложной символикой, уже со времен Римской империи ассоциировавшейся с архаическими оппозициями “природы” и “культуры”, “варварства” и “цивилизации” и сохранившейся в европейской истории вплоть до конца XIX в. под противопоставлениями “светской” и “церковной” диет, питания горожан и крестьян, властителей и подданных. При этом символическое значение имел не только состав питания, но и его форма. Современные антропологически ориентированные историки рассматривают пиры как важную часть общения между людьми, ритуальную форму отношения к богам, а также способ выражения власти через еду<sup>273</sup>.

В этих условиях создание и изучение таких междисциплинарных сфер, как семья, дискурсивные практики, гендерные стереотипы и т.п., позволяют исследователям проникнуть в многообразное переплетение нитей прошлого. Они пронизывают многоцветье истории, отражая социальные, этнические, гендерные отношения, что особенно важно в ситуации постмодернистского осознания взаимозависимости всех сфер истории и взаимопроникновения научных дисциплин.

Прежде, чем перейти к анализу концепции, объединяющей эти явления (пост)современной историографии, как бы претенциозно это не звучало, все же подведем краткие итоги получившейся у нас «картины» развития исторической мысли в XX в.

Стремление придать истории “научный” статус, критика со стороны позитивистов, тенденция к социализации истории, разработка методологии социально-экономических исследований в первой половине XX века привели к возникновению ситуации преобладания социально-структурной истории. Практически вплоть до середины XX века основными объектами исследований становились макро- уровневые процессы в обществе. Такое положение дел сложилось благодаря тому пути, который проделала историческая мысль.

От наивного нарративизма, “описаний” поступков исторических героев, извлечения моральных уроков из истории, историки повернулись лицом к изучению тех сил, действие

<sup>272</sup> Dennis Grube. Religion, Power and Parliament: Rothschild and Bradlaugh Revisited. // History, January 2007. Vol. 92 Issue 305, p.21-38.

<sup>273</sup> Montanari M. Der Hunger und Überfluss: Kulturgeschichte der Ernährung in Europa. München, 1993. Цит. по: Арнаутова Ю.Е. Рецензия // Одиссей. Человек в истории. 1998. М: Наука, 1999, p.357.

которых, как казалось, определяет историю. В академическую науку вошли исследования, посвященные экономическому развитию стран, становлению городов, политическим интересам и их взаимосвязям с экономикой и т.д.

Однако во второй половине XX века многие историки пришли к осознанию того факта, что подходы социальной истории привели к изменению предметной области исследований, причем не всегда в сторону ее расширения, а, напротив, в сторону сужения. Так, из поля зрения историков ускользали сами люди в истории. В исследования оказались вовлеченными “производительные силы и производственные отношения”, между тем “люди” остались без внимания. Как и “политическая история” 19 столетия, социально- ориентированная история XX века не изучала людей, тем более “маленьких людей”.

Именно с таким признанием было связано становление новой истории, ориентированной на изучение микроуровневых объектов. “История должна [была] повернуться к условиям повседневной жизни, таким, какими их испытывали простые люди”<sup>274</sup>.

Со второй половины XX века предметная область исторической науки переместилась с “центра” власти к ее “границам”, к жизни многих людей, в большинстве своем эксплуатируемых, и тем более “забытых” историей. Уже с середины 1970-х – начала 1980-х годов под влиянием культурной антропологии в социальной истории происходит сдвиг исследовательских интересов от изучения макроуровневых структур, предполагавшего оперирование такими понятиями, как, например, “производительные силы”, “производственные отношения”, “народ”, “государство”, “институты права” и др., к культуре, причем одновременно происходит и изменение понимания термина “культура”.

Многие исследователи сегодня следуют этой новой парадигме: не История, а истории, со множеством индивидуальных центров.

Общее смещение акцентов от макро-уровневой истории к “истории снизу” отражает стремление современных исследователей к созданию такой истории, которая бы отражала исторический опыт людей, долгое время “спрятанных от истории”. “Спрятанных” от исследовательского интереса.

В связи с этим особо необходимо выделить признание историками необходимости исследовать так называемую “карнавальную культуру”. М.Бахтин, преимущественно литературовед по характеру объектов своих исследований, показал, что в качестве одной из задач историографии может быть исследование народной, “смеховой” культуры, имеющей диалогический характер<sup>275</sup>. И это не случайно. Именно в образах, символике народного смеха в моменты “карнавалов”, когда привычная жесткая иерархия ослабляла свои тиски норм поведения и морали, была представлена информация о реальной народной культуре. В этих символах смеховой культуры были зашифрованы глубокие философские размышления о космосе, потопе, плодородии, идущие еще со времен первобытности. Феномен “снижения” высоких символов христианской веры и светской морали, властных отношений и т.п. открывает историкам возможность исследовать образы мышления и переработки действительности людьми прошлого, надо лишь уметь увидеть и «расшифровать» эти источники.

Таким образом в отличие от социально-ориентированной истории (к которой принадлежала и белорусская историография на протяжении “советского периода” своего развития), *культурная история делала акцент не на изучении объективных структур исторической реальности, а на то, как представлялась реальность людьми прошлого.*

“Широкое” определение культуры сыграло важнейшую роль в процессе «антропологизации» истории.

История в чем-то подобна гобелену, сотканному из многочисленных нитей различных оттенков и цветов и при помощи “многоуровневых” решений. Как показать значение и

<sup>274</sup> Iggers G. *Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge*. – Hanover, London: Wesleyan University Press, 1997. – P.102.

<sup>275</sup> Бахтин М.М. *Творчество Ф.Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса*. – М.: Художественная литература, 1990. – 543 с.

важность каждого из составляющих этот “гобелен”? Одним из путей этого является конструирование междисциплинарных объектов исторического исследования – таких, как “гендерные стереотипы”, “семья”, “дискурсивные практики”, “язык”, и других, где пересекаются различные аспекты и уровни истории. Часто вызываемые дискуссии по поводу различий в макро- и микро- подходах к истории могут быть проиллюстрированы на таком, ставшем уже хрестоматийным, примере: две фотографии времен второй мировой войны представляют два разных исследовательских подхода. Фото, сделанное с самолета, с которого падает бомба, и пересеченную местность, похожую с высоты на игрушечную карту. Надпись, гласящая, что за это время войны было сброшено столько-то бомб, показывает на макроподход к истории. Другая фотография запечатлела сцену уже после падения одной из подобных бомб – тела людей, ужас и паника на их лицах, передающие кошмар военной реальности. Тем самым мы как бы соприкасаемся с опытом людей того времени, их условиями жизни, что уже является исследованием на микроуровне.

Очевидно, что адепты обоих подходов должны объединять свои усилия: индивидуальный опыт, коллективная судьба, функционирование микроструктур и стратификация общества – эти элементы «гобелена» должны объединяться в целостную картину. Однако возможна ли такая «идеальная» история?

«Классических» примеров много, и пересказывать здесь работы Н.Дэвис, Э.Ле Руа Ладюри, К.Гинзбурга, очевидно, не имеет смысла – многие из них опубликованы на русском языке и относительно доступны белорусскому читателю. Но вот перед нами совсем недавнее исследование В.Л.Носевича «Традиционная белорусская деревня в европейской перспективе», которое уже стало событием в белорусской историографии и успело приобрести авторитет среди белорусских историков как микро-историческое. Колоссальная работа по обработке источников по демографии, производству и собственности, социальной организации и распределению, укладу жизни и духовной культуре, с одной стороны, удачно соединяет микроисторический подход с обобщенным вопросом к прошлому и сегодняшнему дню белорусского общества, с другой – проникнута авторским чувством сопричастности, сопереживания. Это присутствие автора пронизывает монографию единым вопросом: как распад традиционного крестьянского общества и размывание его ценностей привели к нынешней ситуации в Беларуси. «Трудно представить себе тот уровень пассивности, который обеспечил растянувшееся на десятилетия сползание в безземелье без каких-либо попыток изменить свою судьбу. Трагедия этих людей заключалась в том, что избранный ими путь был освящен традицией: они всего лишь жили так, как предписывала им унаследованная от предков модель поведения»<sup>276</sup>.

Можно спорить или соглашаться с выводами В.Л.Носевича, но очевидно главное: это исследование микрорегиона Кореньщина, может стать решающим шагом к открытию «белорусской Монтайю»<sup>277</sup>. Реконструкция традиционного крестьянского общества как целостной системы на примере длинного отрезка истории микрорегиона, где жили его земляки, может быть дополнена лишь одним – «микровзглядом» на собственно *жизнь* этих людей. И тут «подробности жизни» крестьян Монтайю, лангедокского Артигата или северо-французского Бувина, «космогония» итальянского мельника Меноккио, детали гигиены, быта, семейных отношений и любовных привычек, их духовный мир и возможности для выбора даже в условиях «жесткого» традиционного общества, а главное – жизненные ценности этого общества, приоткрытые для нас Ж.Дюби, Э.Ле Руа Ладюри, Н.Дэвис, К.Гинзбургом<sup>278</sup>, могли бы существенно дополнить и белорусскую историографию.

<sup>276</sup> Носевич В. Традиционная белорусская деревня в европейской перспективе, с.247.

<sup>277</sup> См. известную монографию Эммануэля Ле Руа Ладюри. Монтайю, окситанская деревня (1294-1324). Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001 (франц.изд. – 1976 и 1982). – 544 с.

<sup>278</sup> См. Дэвис Н.З. Возвращение Мартена Герра. М., 1990. (амер. изд. – 1983). – 208 с.; Э.Ле Руа Ладюри. Монтайю, окситанская деревня (1294-1324) / Пер. с франц. В.А.Бабинцева и Я.Ю.Старцева. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. - 544 с.; Карло Гинзбург. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. Перевод с итальянского М.Л. Андреева, М.Н. Архангельской. Предисловие О.Ф. Кудрявцева. - М.:



На нынешнем этапе в свете антропологизации именно интересы и исторический опыт “маленького человека”, который был оставлен без внимания как политической историей XIX в., так и социальной историей XX в., условия его повседневной жизни и то, как эти условия испытывались, стали приоритетными объектами изучения для ведущих историков современности. П.Берк, К.Гинзбург, Н.Дэвис, К.Томас, Ж.Ле Гофф, Ж.Дюби, Э.Ле Руа Ладюри, К.-Г.Фабер, Й.Рюзен и многие другие авторитеты “новой истории” ориентируются на написание культурной истории, где нарратив и индивидуум, микроподход играют центральную роль.

И следует констатировать, что хотя вопросы, связанные с жизнью “простых” людей, главных акторов исторического процесса, их повседневностью, которая и составляла этот исторический процесс, проблемы передачи культуры через поколения, трансформации культурной памяти в историю еще сравнительно новы для белорусской историографии, работы в этом направлении уже идут<sup>279</sup>.

И все же представление о культуре будет упрощенным, если мы не рассмотрим ее многоуровневость. Действительно, культура не может быть гомогенной, она делится на пласты, уровни, бывает “высокая и низкая”, “центральная и периферийная”, “доминирующая и подчиненная”.

Культура не бывает единообразной, как не бывает единообразным общество. В этом смысле корифей “новой культурной истории”, “анналист” Ж.Дюби высказывается о наличии в культуре не только уровней, но и направлений. Уровни культуры, как и топографии, располагаются и вертикально, и горизонтально. Дюби вводит вместо “уровней” понятие “культурная формация” (по аналогии с “социальной”). И ставит вопросы: Как взаимодействуют “народная культура” и “элитная”/научная и др. культуры? Как происходит социализация “научной” культуры (письменности, алфавита, культуры книг...)? В средневековье, например во Франции XII века, “народная” культура не была в ситуации простой дуэли с “культурой верхов”, т.к. сами “верхи” зачастую были в конфронтации; ситуация была более сложной, комплексной. В задачу историка входит изучение именно таких обстоятельств.

Однако среди историков культуры, а ныне и “культурных историков”, и историков в целом, традиционно существовало амбивалентное отношение к дихотомии “культура верхов” и “культура низов”, “доминирующая – подчиненная”, “высокая – низкая, поп-культура”. Тем не менее, эпоха модерна, и особенно постмодерна демонстрирует нам теснейшую взаимосвязь и взаимозависимость между этими уровнями культуры. К какому уровню, например, могли бы историки будущего отнести фильмы Ф.Феллини или А.Тарковского, ведь они являются результирующей обеих уровней.

“Я считаю, -- говорит Ж.Дюби, -- что если мы будем ограничиваться указанием на разрыв между классами, то тем самым ограничим исследовательское поле и обедним результаты работы. В нашей культуре, культуре каждого из нас, независимо от того, насколько мы образованны, существует “осадок”, ностальгия по “народной” культуре. Можно ли говорить о созидательности “народа” и о том, что такое “народ”? Множество подобных вопросов стоят перед исследователями”<sup>280</sup>.

В то время как исследователи были всецело заняты изучением образцов “высокой” культуры, сформировавшихся в ее рамках идеологий, а вместе с ними и ценностей, и норм поведения людей, культурные явления, идущие от рядовых членов общества, формы, возникающие в недрах “низовой” культуры, оставались закрытыми для читателей истории.

---

РОССПЭН, "Университетская библиотека. История", 2000. – 272 с.; Georges Duby, *Le dimanche de Bouvines*. 27 juillet 1214. – Paris: Gallimard, 1973. – 302 p.

<sup>279</sup> См. например, Сидорцов В.Н., Латышева В.А. Народ во Второй мировой и Великой Отечественной войне: синергетический взгляд на историю. – Минск: Образование-Культура, 2005. – 144 с.; публикации Г.Дербиной, О.Ященко, Л.Старцевой в сб.: Женщины на краю Европы. Под ред Е.Гаповой. – Минск: ЕГУ, 2003. – 436 с.

<sup>280</sup> Georges Duby. *Love and Marriage in the Middle Ages*, p.135.



С другой стороны, когда историки Запада пришли к новому увлечению – историей повседневности, распалось и без того хрупкое равновесие в исторической картине. В западной историографии создан «фетиш повседневности, чтобы, используя “плотные описания”, способы, предложенные антропологами, установить все детали домашней жизни»<sup>281</sup>.

При такой детализации, уходе в детали домашнего хозяйства, вне поля зрения историков остаются сами отношения, поведение, представления, нормы, т.е. идеологические структуры, которые контролировали культуру в прошлом.

В Беларуси картины быта в истории до недавнего времени были вотчиной этнографов, не ставивших в качестве принципиальной задачи анализ исторических реалий. Поэтому подобные проблемы пока практически не коснулись белорусской историографии, и слова П.Томпсона еще не кажутся даже иллюзорной угрозой, хотя такое “пока” действительно является временным.

Историки постсоветского пространства все более склоняются к изучению “подробностей быта”. Более того, технологии как средства, позволяющие соединить объекты материальной культуры и нормы по их использованию, становятся сегодня многообещающими объектами исследований.

В то же время для многих историков воплощением подлинной истории являются и иные стороны культуры. Например, система “нормы – ценности – идеологии -- власть” и движение ее составляющих стала лейтмотивом творчества идеолога постструктурализма М.Фуко. Центральным аспектом культуры М.Фуко считает отношения власти. Сквозь призму различных дискурсивных практик, будь то наказания в истории, сексуальность или безумие, Фуко стремится изучить эволюцию институтов власти, и соответственно культуры.

«Антропологический поворот», «лингвистический / дискурсивный поворот»...—до сих пор мы употребляли эти термины, пытаясь разделить их составляющие. Однако в историографической «реальности» они сосуществуют и, более того, по оценкам некоторых исследователей, сливаются в едином – «культурном» – повороте. И конечно, в этом очередном обсуждаемом нами «повороте», культура понимается как символическая и репрезентационная система.

---

<sup>281</sup> The Myths We Live By, p.2

### 3.2. «Культурный поворот» в историографии

Историк – это профессиональный «аутсайдер»: пропасть между ним и исторической реальностью, через которую он всегда пытается выстроить мост, идентична пропасти между индивидуумом и обществом, края которой пытаются соединить этика и политическая философия. Поэтому этическое измерение должно быть вездесуще в историографии. Современная историография основана на политическом решении.  
*F. R. Ankersmit. History and Tropology. The Rise and Fall of Metaphor. Berkeley, Los Angeles, Oxford: University of California Press, 1994, p.42*

После всего сказанного вполне очевидным представляется утверждение о том, что именно культура в ее трансформировавшемся во второй половине XX века понимании является полем пересечения «интересов» лингвистического и антропологического поворотов. Отсюда и название, которое ряд исследователей дают этому общему феномену.

Если попытаться подвести под общий знаменатель многочисленные определения того, что же являет собой «культурный» поворот, то выделяются пять самых важных черт, объединяющих многие явления современной историографии: (1) вопросы о статусе «социального»; (2) проблемы, поднимаемые представлением о культуре как о символической, лингвистической и репрезентационной системе; (3) неизбежные последствия в виде методологических и эпистемологических дилемм; (4) следствие или, возможно, предчувствие коллапса объяснительных парадигм; (5) последовательная перестройка дисциплин (включая подъем культурных исследований)<sup>282</sup>.

В.Боннел и Л.Хант пишут о том, что «культурный поворот» носился в воздухе уже 1970-е гг., но осознание его в историографии приходит лишь к 1980-м. В качестве его «знаковых» работ эти авторы называют уже известные нам по антропологическому или лингвистическому «поворотам» имена Хэйдена Уайта, Ролана Барта, Пьера Бурдьё, Жака Деррида, Мишеля Фуко, а также Маршалла Саллинза, Рэймона Виллиамса, Клиффорда Гиртца.

Особое место в осознании «культурного поворота» занимает прославивший «возмутителем спокойствия» Х.Уайт, который уже в 1973 г. опубликовал свой труд «Метаистория: историческое воображение в Европе XIX веке»<sup>283</sup>. В этой работе, само название которой – *воображение* – говорит о многом, Уайт показывает, что историк неминуемо должен использовать свое воображение, если он стремится интегрировать результаты своего исследования в целостный текст. Таким образом, воображение – это необходимая операция в работе историка на последнем этапе его трудов, когда нужно сочинить связный дискурс или нарратив, в котором были бы представлены его исследовательские находки. И в этой операции, как доказывает Уайт, глубокие структуры мышления историка предопределяют его исследовательское поле посредством выбора лингвистической модели – а именно, тропологической стратегии (а это в свою очередь определяет другие аспекты исследовательского дизайна – включая способы сюжетопостроения и объяснения). Несмотря на то, что эта работа Х.Уайта, изданная на русском языке лишь в 2002 году<sup>284</sup>, подвергается российскими исследователями довольно жесткой критике, следует помнить о ее «контексте». В 1970-е и даже 1980-е «Метаистория» Уайта была первым значительным опытом применения

<sup>282</sup> V. Bonnel, L. Hunt. Introduction. In: *Beyond the Cultural Turn: New Directions in the Study of Society and Culture*. Edited by Bonnel V.E. and Hunt L. Berkeley, L.A. – London: University of California Press, 1999. – P.6.

<sup>283</sup> White H. *Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe*. – Baltimore; London, 1973. – 448 p.

<sup>284</sup> Уайт Х. *Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века*. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2002. – 527 с.

подходов литературоведения к историографии. Хотя теперь ее революционный пафос несколько померк, нужно помнить о том, что она фактически открыла целое исследовательское поле интеллектуальной истории, о котором речь еще будет вестись ниже.

В том же 1973 году Клиффорд Гиртц публикует свою работу «Интерпретация культур: избранные эссе» и утверждает, что «человеческая культура – это ансамбль текстов». «Веруя в то, что как говорил Макс Вебер, человек – это животное, запутавшееся в сети значений, которую он сам же и сплел, я считаю *культуру* (курсив – О.Ш.) этой самой сетью, и ее анализ должен поэтому стать не столько экспериментальной наукой в поисках законов, сколько интерпретационной наукой в поисках значений»<sup>285</sup> Эта работа Гирца оказала решающее воздействие на формирование «культурного поворота». Гиртц во многом предопределил и методологию последующих исследователей, применив семиотический подход в изучении *культуры*. Поскольку прямой доступ к прошлому закрыт для исследователя, мы имеем дело с прошлым опосредованно, через его знаки. «Помочь найти доступ к концептуальному миру, в котором живут наши объекты исследования, чтобы, так сказать, мы могли с ними общаться» -- основная задача, сформулированная для историков Гиртцем, и его «плотные описания» служили именно таким методологическим ходом. Символы, ритуалы, события, исторические артефакты, социальные отношения, системы верований – все это «тексты», которые следует «раскодировать». Таким образом Гиртц указал путь для понимания «смыслов», оказывающихся вовсе не так глубоко запрятанными в «сети» и даже достижимыми для исследовательского глаза посредством изучения их следов в виде социальных практик, ритуалов и символов.

В противовес механистичным представлениям об обществе как о машине или о так называемом «социальном организме», в котором могут быть просчитаны все функции и выявлены все закономерности, гиртцевский «культурный поворот» представляет мир в виде переплетения символов, скрывающих социальные связи, человеческие намерения и сложные культурные образования. Уайт признается, говоря о значении «культурного поворота»: «Проактивисты наук об обществе будут убеждены в том, что, поскольку общество (в противоположность природе) является скорее человеческой конструкцией, нежели «природным» феноменом, то оно послушно программированным изменениям и трансформациям, а потому не может рассматриваться как неизбежность, к которой люди могут только «приспосабливаться», как в случае с законами «природы».... И мне представляется, что значение культурного поворота в истории и в социальных науках заключается в его утверждении о том, что под «культурой» мы можем постичь ту нишу внутри социальной реальности, с которой любое общество может быть деконструировано и где очевидно, что оно реализует в себе не столько неизбежность, сколько одну из многочисленных возможностей. Я поддерживаю эту деконструктивистское предприятие, т.к. я верю, что модерновые социальные науки слишком долгое время были конструктивистскими, создавая свои собственные версии реальности без ее познания»<sup>286</sup>.

В то же время следует признать то влияние, которое оказали концепции «левого» толка как на общую атмосферу «культурного поворота», так и на сами его установки. Более того, многие его адепты декларируют свою приверженность марксизму. Например, тот же Х.Уайт пишет: «Я не на секунду не верю в возможность создать науку об обществе, которая не была бы связана с идеологическими предустановками»<sup>287</sup>. И это нормально для исследователей марксистского толка (а Уайт считает себя таковым), «что пересматривая отношения базис-надстройка, мы задаемся вопросами о месте культуры, о ее относительной автономии vis-à-vis общества, о рассмотрении культуры как причины, а не как отражения социальных сил и процессов. ... «Власть» общества, в свою очередь, основана на представлении о схожести методов и процедур, которые используются для получения знания об обществе и о природе»<sup>288</sup>.

<sup>285</sup> Geertz C. The Interpretation of Cultures, p.5.

<sup>286</sup> Hayden White, Afterward. In: Beyond the Cultural Turn: New Directions in the Study of Society and Culture, p.316.

<sup>287</sup> Ibid.

<sup>288</sup> Ibid., p.317.

«Культура должна рассматриваться даже более автономно от общества, чем общество от природы, -- и эта мысль должна понравиться марксистам, т.к. объясняет проблему марксизма, связанную с необходимостью для рабочих осознать себя пролетариями». Реальные процессы, однако, скорее связаны с превращением их в потребителей, но никак не в пролетариев. И «если за последние семьдесят пять лет марксистское экспериментирование в социальном строительстве чему-нибудь научило, так это тому, что общество не детерминирует сознание, но взаимоотношения между сознанием и обществом являются скорее улицей с двусторонним движением. Сознание может быть точно так же автономно vis-à-vis обществу, как само общество может быть детерминирующим содержание сознания любого данного его члена»<sup>289</sup>.

В вопросе о соотношении «культурного поворота» и марксизма, как подадет его Уайт, ощущается парадокс: с одной стороны, он подчеркивает о акцент на «культуре» в противовес «обществу», с другой – подробно останавливается на преемственности культурного поворота и марксизма: «Многие марксисты, подавленные всеобщим убеждением, что несостоятельность марксизма доказана падением советских правлений, воспринимают культурализм как проявление «буржуазных» социальных наук. Это неверно. Так же, как «постмодернизм есть культурная логика позднего капитализма» (по выражению Фредерика Джеймсона), сам марксизм является продуктом капитализма, выработавшим анализ капитализма». Только этот анализ, подчеркивает Уайт, не стал «последней инстанцией», а вылился в последующие за ним поиски объяснений и «культурный поворот».

«Культурный поворот» по отношению к истории отнюдь не представляется сам собой разумеющимся или легким. Если некоторые его элементы (например, те, что лежат на «поверхности» – изучение дискурсивных практик, социальной символики, индивидуальных «опытов», идентичностей и т.п.) уже давно вошли в практику западных исследователей, то те аспекты, которые лежат в сердце «культурного поворота», встречают резкую критику и сопротивление в кругах историков.

Вновь обращаясь к Х.Уайту, приведем его полемическое выступление по этому поводу: Именно поэтому апелляция к истории за помощью, которую некоторые прогрессивные социальные критики рекомендуют как ответ на угрозу культурализма всему зданию общественных наук, представляется весьма проблематичным. Как будто история обеспечивает «нулевую отметку» в деле фактов и истины, которая могла бы измерить все искажения в представлении реальности, сделанные марксистскими или буржуазными концепциями. На самом деле – во всяком случае исходя из перспективы культурного поворота – история, более чем какая-либо иная дисциплина, – является сконструированной и даже еще более наивной, чем те версии реальности, которые сконструированы общественными науками. Никакая другая дисциплина не питает такие мощные иллюзии по поводу того, что «факты» находятся в процессе исследования, а не конструируются посредством моделей репрезентаций и техник дискурса, чем история. Никакая другая дисциплина не является столь же невнимательной к вымышленности того, что зачастую становится ее «данными». Именно поэтому никакая иная дисциплина из гуманитарной сферы не оказывает столь же сильное сопротивление по отношению к вызову, брошенному культурализмом социальным наукам. История является последним прибежищем веры в здравый смысл, которую культурализм в своей постмодернистской реинкарнации стремится разрушить.

Не случайно сравнительно недавно, в 2002 году, в ведущем научном издании американских историков – *American Historical Review* – разгорелись дискуссии о смысле изменений, принесенных культурным поворотом в историю. Поводом и мишенью для критики многих выступлений стал вышедший в 1999 г. под редакцией известных историков Виктории Боннель и Линн Хант сборник «За культурным поворотом: новые направления в исследованиях общества и культуры» (*Beyond the Cultural Turn: New Directions in the Study of Society and Culture*). Центральное место в обсуждении заняла проблема понимания «социального».

Подвергая сомнению самое важное звено в исследовании – понятие социального, – культурный поворот подвергает испытанию и социологию, и историю, задавая вопросы о

<sup>289</sup> Ibid., p.320.

сущности «социального» и «культурного», а также, не в последнюю очередь, об их соотношении. Хотя все именитые авторы обсуждавшегося сборника так или иначе находились под влиянием культурного поворота, или вернее сказать, его же проводниками в истории, тем не менее далеко не все они отказались принять уничтожение социального, которое подразумевается самыми радикальными формами *culturalism* или постструктурализма. Статус или значение социального могут и должны пересматриваться, переопределяться, оживляться за счет расширения границ или перестановки акцентов на индивидуализацию, затрагивая и социальную историю и историческую социологию, но для большинства историков, представленных в коллективном сборнике, невозможной оказалась сама идея жизни вне «социального»<sup>290</sup>.

«Невозможный для кого?»-- спрашивает Ричард Хэндлер в форуме, организованном *American Historical Review*. «Есть много антропологов, которые никогда не видели пользы от аналитических разграничений между социальным и культурным. Это особенно справедливо для многих из нас, кто находился под влиянием традиции Ф.Боаса. Это есть рационализация нашего старого дуализма сознание/тело, и хотя большинство или даже все авторы сборника *Beyond the Cultural Turn* ни за что бы не признали этот дуализм как основу своих аналитических категорий, основной лейтмотив этой книги, направленный на реабилитацию «социального», воспроизводит именно его.

Это рационализация традиционных стереотипов противостояния в англо-американской антропологии, где «битва» между социальным и культурным зачастую всплывала в отношениях между английской социальной антропологией (A.R.Radcliffe-Brown с применением семиотики к социальной теории Э.Дюркгейма) и американской культурной антропологией (Ф.Боас, М.Мид и др.).

Еще одним пунктом критики, по которому последователи «культурного поворота», его недруги и те, кто уже «за» ним, не могут согласиться, становится проблема властных отношений. Если В.Боннель и Л.Хант, сполна отдавшие дань «культурным исследованиям» в своих работах, критически настроены по отношению к таким его следствиям, как отсутствие каузальных объяснений, особенно в деле демистификации и деконструкции власти, то Патрик Брантлингер, напротив, заявляет, что даже в том виде, в каком она существует в «культурных исследованиях», идея власти исследуется и с точки зрения причинности, и как «генерализирующее понятие исторической эффективности»<sup>291</sup>.

В связи с заявлениями исследователей, которые признаны лидерами «культурного поворота», прозвучавшими в сборнике «*Beyond...*», проблемы легитимности «культурных исследований» получили широкую огласку. Вновь всплыл скандальный случай, цитируемый Маргарет К. Джейкоб в ее статье для этой коллекции. Разоблачение-пародия, которую физик Алан Сокал напечатал в в1996 г. в *Social Text*<sup>292</sup>, заставляет задуматься о влиянии деконструкции и «французской теории» (имеется в виду, в первую очередь, постструктурализм) на социальные науки вообще и историю в частности. Хотя «культурный поворот» имеет гораздо более долгую историю, связанную с влияниями антропологии и психологии, а не только с механическим перенесением теорий постмодерна второй половины XX века на историографию, тем не менее его развертывание поднимает все больше вопросов. И все-таки, те, кто идет в русле «культурного поворота», сходятся на мысли, что даже сама постановка вопросов – результат огромной важности интеллектуального проекта.

Показательно, что идею книги *Beyond the Cultural Turn* о назревшем (вспомним уже звучавшую здесь критику «подробности быта» и «опытов») и даже уже осуществляющемся

<sup>290</sup> Handler R. *Cultural Theory in History Today* // *American Historical Review*, 2002, December, №107. № 5. -- P.1513-1520.

<sup>291</sup> Patrick Brantlinger, *A Response to Beyond the Cultural Turn* // *American Historical Review*, 2002, December, №107, № 5. – P.1500-1512.

<sup>292</sup> Alan D. Sokal. *Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity* // *Social Text*, spring/summer 1996, № 46/47, pp.217-252 – автор статьи умышленно пародирует постмодернистский жаргон, якобы ратуя за «прогрессивный» «освободительный» потенциал квантовой теории.



переходе историков с микроисторического на компаративистский уровень (особенно в статьях Р.Бернацки, М.Джейкоб в сборнике) многие американские историки восприняли отрицательно, как и сам термин *beyond* – «за», «позади», «после»: В социальной науке, если вы не приносите что-нибудь с исследовательской охоты («добычей» может быть класс, государство и т.п.), вы уже, возможно, двигаетесь «позади» – позади Ориентализма, идентичности, а сейчас – и «культурного поворота». Для тех из нас, кто совсем недавно сделал культурный или лингвистический поворот, факт, что все наши попытки догнать и принести добычу все равно оставляют нас «позади», приводит в смятение»<sup>293</sup>.

Оппозиция оппозиции – что может более «классическим»? Вновь У.Эко оказывается актуальным: «Долой лунный свет!»... Но как сложно «догнать авангард»...

Зачастую можно встретить выражения «лингвистический поворот» и «культурный поворот» как синонимичные. Хотя черты их, действительно, имеют на практике много общего, все же на наш взгляд их следует различать. «Культурный поворот» -- феномен гораздо более широкий, нежели «лингвистический», и включает, помимо него, влияния антропологические, семиотические, социологические. Тем не менее, когда Х.Уайт выделяет следующие аспекты «культурализма»:

- «лингвистический» (лучшим способом понимать культуру является ее видение как языка);
- текстуализм (реальность – это текст, и понимание ее может быть получено только через техники, аналогичные чтению писанных, устных, визуальных или жестовых текстов);
- конструктивизм (ничто из «реальности», природной, социальной или культурной, не дано непосредственно восприятию или мышлению, но достижимо только путем отражения различных конструкций этой реальности, которые созданы процессами скорее «вообразительными» и «поэтическими», чем чисто рациональными и научными, включая и то, что мы должны понимать под «рациональным» и «научным»);
- дискурсивизм (все знание является продуктом процессов человеческого сознания скорее дискурсивного, чем миметического; то, что мы постигаем как реальность, на самом деле – «эффект реальности», созданный техниками дискурсивизации, а не чистым или додискурсивным сознанием)<sup>294</sup>,

то нужно понимать, что все они представляют черты «культурализма» лингвистического, но сочетающегося с иными его последствиями – представлениями о культуре как репрезентационной и символической системе, антропологизации, де-теоретизации.

То, что предполагают все эти «измы», приводимые Х.Уайтом, – «не реформа в этом новом духе дисциплин, а раскодирование, перевод среди других разнообразных процессов самоконструирования, посредством которого человечество осуществляет постоянную ревизию своей собственной «природы» (таких процессов, как я и другой, общество и антиобщество, ценность и не-ценность, субъект и объект, креативный и деструктивный и т.д.)»<sup>295</sup>

(Пере)осмысление сюжетов всемирной, и особенно западноевропейской истории, с позиций «культурного поворота», прочно заняло одно из лидирующих мест. В то время как теория «культурного поворота» шла позади практических исследований, историки изучали «страсть к чтению в провинциальной Англии двести лет назад», «жизнь торговца книгами в дореволюционной Франции»<sup>296</sup>, культурный мир мельника Менакио, социальные возможности и жизненные выборы Мартина Гира, символический характер народных сказок, и даже такой

<sup>293</sup> Suny R.G. Back and Beyond: Reversing the Cultural Turn? // American Historical Review, 2002, December, №107. – P.1476-1500.

<sup>294</sup> Hayden White, Afterward. In: Beyond the Cultural Turn: New Directions in the Study of Society and Culture, p.321.

<sup>295</sup> Ibid., p.322.

<sup>296</sup> См. Robert Darnton, Bernhard Fabian, Roy McKean Wiles, The Widening Circle: Essays on the Circulation of Literature in Eighteenth-Century Europe. – University of Pennsylvania Press, 1976.

вроде бы знакомой всем Красной Шапочки<sup>297</sup> – все это уже стало частью новой «модели» исторического исследования в западной историографии. Модели, которая, как аргументируют представители «культурного поворота», создает гораздо более «историческую» концепцию человеческой природы, общества и культуры, чем любая версия истории до нее.

---

<sup>297</sup> Карло Гинзбург. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. Перевод с итальянского М.Л. Андреева, М.Н. Архангельской. Предисловие О.Ф. Кудрявцева. - М.: РОССПЭН, "Университетская библиотека. История", 2000. – 272 с.; Дэвис Н.З. Возвращение Мартена Герра. -- М.: Прогресс, 1990. – 208 с. (амер. изд. – 1983); Darnton R. The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History. – New York: Basic Books, 1984. – 290 p.

### 3.3. Национализм и постколониализм: исследования идентичности в (пост)современной историографии

Я буду говорить об открытии, когда «Я» открывает «Другого»...  
Можно открыть «других» в себе, понимая, что «я» не является  
гомогенной субстанцией, радикально отличной от всего, что не  
есть «я»: я и есть другой.

Tzvetan Todorov, *La conquête de l'Amérique. La question de l'autre.*  
Paris, Seuil, 1982.

Постмодернизм имеет множество лиц: это и постструктурализм, сменивший модернистский структурализм и отметающий «жесткую» структуру последнего, делающий акцент на ее «края»; это и деконструктивизм (литературоведческая версия постструктурализма), «новый историзм» (фактически сместивший деконструктивизм с его лидирующих позиций в 1990-х гг.); это и «культурная теория», трактующая культуру как символическую, лингвистическую и репрезентационную систему, это и более частные его проявления в виде теории дискурса и определения роли языка как ведущей линии в человеческой культуре... Несмотря на это разнообразие, бросается в глаза объединяющее – артикуляция проблем идентичности, ис/включения, «Нас» и «Других». За множеством лиц постмодерна проглядывает главное – проблема построения идентичности как центра, вокруг которого вращается вся культура.

Ситуация переосмысления и даже кризиса постмодернизма связана с его прямым следствием – тем самым пробуждением «Другого», о котором ратовали мыслители постмодерна.

Акцент на том, что «идентичность», а точнее, потребность реконструировать процессы референции в культурной традиции Запада связывает и объясняет появление во второй половине XX в. явлений постмодерна, возвращает нас к первоначальному вопросу о роли истории. В ситуации презентистского режима историчности, история приобретает значение не столько «учительницы жизни», сколько средства идентификации себя человеком во времени. Появление в ней таких направлений, как женская/гендерная история, устная история, постколониальные исследования и др. являются результатом поисков решения проблемы идентичности теми, кто был «исключен» из «мэйнстрима» истории. Центральной точкой является представление о референтности и «отражения» в культуре. Т.н. «культурный поворот» несет не только представление о языке как об основе, моделирующей культуру, но и по отношению к собственно историографии выражается в осознании необходимости изучения «вторичной реальности», «себя через Другого», отражения в зеркале.

Постмодернистски-настроенные исследователи показали, что в процессе идентификации понятие о «Другом» имеет определяющее значение. Как человек определяет себя? Через отделение от других. Как определяет себя группа? Через поиск, ощущение общего и различий, используя некую точку референции – Другого. Другого с заглавной буквы, т.к. его наличие оказывается постоянным и необходимым фактором идентификации.

Известный постмодернистский мыслитель Цветан Тодоров открывает свою книгу «Завоевание Америки», посвященную «открытию, завоеванию, возникновению любви и познанию» Другого, отрывком из рассказа Диего да Ланда «Положение вещей в Юкатане»: «Капитан Алонсо Лопес де Авила во время войны был увлечен молодой и красивой индейской женщиной. Она обещала своему мужу, опасавшемуся, что его убьют на войне, принадлежать только ему и никому другому; и поскольку иной возможности уйти из жизни, кроме как быть убитой мужчиной, не было, она была отдана собакам». Позволим себе привести здесь довольно объемный комментарий Тодорова, т.к. в нем отражены практически все коннотации этой драмы – драмы Другого в расовом, этничном, классовом и гендерном изменениях: «Женщина майя погибает, брошенная псам. В ее истории, сведенной к нескольким фразам, сконцентрирован один из самых экстремальных вариантов «инаковости». Ее муж, который есть ее «внутренний

Другой», уже не оставляет ей никакой иной возможности самоутвердиться: боясь, что его убьют на войне, муж хочет заговорить судьбу, лишая женщину свободы воли; война не должна быть только его войной, его жена должна продолжать принадлежать ему. Когда появляется испанский конкистадор, эта женщина – не больше, чем место, где сталкиваются желания и воли двух мужчин. Убивать мужчин, насилловать женщин – доказательства власти мужчин. Женщина выбрала путь повиновения воли мужа и правилам своего общества; этим она вместила все, что оставалось от личной свободы, чтобы защититься от насилия, объектом которым она была. Но на самом деле культурная инаковость была ядром этой драмы: она не подверглась насилию, как если бы была испанкой, ее бросили собакам, потому что она заключала в себе женщину и майя одновременно. Никогда еще судьба Другого не была более трагичной»<sup>298</sup>.

Проблемы определение себя через Другого; конструирование и завоевание Другого посредством применения мерок «себя» стали центральными темами в исследованиях, называемых «постколониальными». Бросается в глаза то, что это обширное историографическое поле практически никогда не привлекает внимание историков в Беларуси. Тем не менее, эта сфера историографии предстает все более и более многочисленной, популярной, представительной и влиятельной в мире историков, социальных теоретиков, политологов. Если изучение теории национализма и этничности еще может быть оправдано как актуальное в глазах белорусских историков, то «постколониальные исследования» кажутся безмерно далекими, «не нашими» и «неприменимыми» для белорусского опыта. И все же именно это поле дало плодотворные идеи в области изучения национализма, и по многим оценкам, вообще было началом самого постмодернизма.

Утверждая, что попытки решения проблемы идентификации представляют собой «движущую силу» в возникновении многих направлений постмодерна, следует отметить, что центральными для них самих являются проблемы соотношения, конструирования и завоевания Другого. В этом контексте и давно известный «европоцентризм» приобретает новые значения. В своей, ставшей уже классической, работе уже цитировавшийся нами Эдвард Саид показывает, как Восток стал зеркалом, в котором Европа видела свое собственное отражение, причем анализ этого отражения мог бы дать больше знания об оригинале – самих европейцах<sup>299</sup>.

Постколониальные исследования (Э.Саид, Г.Ч.Спивак, Х.Бхабха, Б.Андерсон, А.Нанди, Р.Дж.Янг и др.) показали, что западноевропейская цивилизация не только сама выстроена по принципу наличия этого Другого (иначе как отделить «свое», если нет «другого»), но и навязывает этому Другому свою модель культуры. В период своей экспансии западноевропейцы распространили не только свое политическое, экономическое и культурное влияние на Африку, Америку, Азию, но также «навязали» им свое видение их самих... В результате зарождающиеся интеллектуальные движения, например, на Востоке (большинство лидеров которых прошли западную школу, в прямом и переносном смысле), идентифицируют себя путем наложения тех образов, которые предлагала им западноевропейская модель Востока («мистический», «чувственный», «пышный»). Европейский внешний «Другой» становится для них «своим»? Многочисленные исследования анализируют, как выстраивались новые («про-западные») модели философии, истории, литературы в Индии, Китае, на мусульманском Востоке; насколько сложно было осознать и преодолевать кажущееся «естественным» состояние вещей. Новые поколения интеллектуалов, осознавая фальшивость прежних попыток выстраивать свою идентичность по модели западноевропейской, пытаются вернуться к своим «корням», традициям и религии. В условиях нарастающей глобализации, ее «изнанки» в виде «вестернизации» и «американизации», фундаменталистские движения оказываются тесно связанными с процессом возвращения, или точнее, выстраивания идентичностей бывшего «Другого» заново. Динамика сегодняшних политических, культурных конфликтов оказывается тесно связанной с последствиями века модерна и постмодерна.

«Метизация культур», как ожидали постмодернисты, пока не происходит. Хотя У.Эко еще в 1990-е предупреждал: «Феномены, которые Европа все еще пытается воспринимать как

<sup>298</sup> Todorov T. La conquête de l'Amérique. La question de l'autre. – Paris: Seuil, 1982. -- P.306.

<sup>299</sup> См. Said E.W. Orientalism. – New York: Vintage Book, Adivision of Random House, 1979. – 368 p.

иммиграцию, в действительности представляют собой миграцию<sup>300</sup>. В отличие от иммиграции, которая в принципе может регулироваться со стороны государства, феномены миграции «всегда как стихийное бедствие случаются, и ничего не поделаешь». Мультикультурализм, соответствующая метизация населения и преодоление государственного регулирования реализуют коренные исходные импульсы постмодерна: освобождение жизненного поведения от контроля властей, примат человеческого по определению хаоса над бесчеловечным по определению порядком, преодоление антиномии «свой»/«чужой» – следовательно, торжество тотального либерализма<sup>301</sup>. Только к чему приводит такая реализация?

Расхождение между теоретической идеализацией инаковости и практическим противостоянием ей впечатляет (и даже вырабатывает свое символическое обоснование – примерами тому могут служить как интеллектуальные изыскания С.Хантингтона<sup>302</sup>, так и сравнительно недавний прецедент с неприятием Европейской конституции – и отрицание того самого Другого)...

Еще одним важнейшим аспектом проблемы осмысления идентичности в историографии видится нам поле, тесно связанное с уже упоминавшимися здесь постколониальными исследованиями, так называемые «этно-национальные исследования». Еще в 1992 г. Э.Смит говорит о новых тенденциях в этой исследовательской сфере, связанных с (1) слиянием исследований этничности (бывшей ранее «вотчиной» антропологов) и национализма (изучавшегося главным образом историками); (2) акцентом на социальную основу и взаимовлияние национализма и государства; (3) изучением соотношений между такими понятиями, как этничность, демократия и национализм; (4) с особой актуальностью, которую приобретают в последнее время исследования, исходящие из признания «воображенного» или сконструированного характера наций<sup>303</sup> (Б.Андерсон, Э.Геллнер, Дж.Брэйлли, Т.Нэрн, Э.Кедури, Э.Хобсбаум и др.).

Об этом последнем аспекте исследования национализма следует сказать особо, поскольку (1) именно он имеет решающую связь с постмодернистскими представлениями об идентификации и текстуальности, дискурсивном характере прошлого и истории; (2) именно этот аспект по определенным причинам (об этих причинах речь будет идти ниже, в параграфе 4.4) почти всегда игнорируется белорусскими исследователями. Долгое время существовало общепринятое (включая и советскую историографию) представление о «естественности» процесса становления наций, когда «исторически образовавшиеся этнические группы... создают историей, а национальная интеллигенция лишь «вдохнула жизнь» в продукт истории – нацию». Интеллигенция, по словам американского исследователя Дж.-П.Химка, «служила повивальной бабкой при рождении высшей целостности – нации, но не ее матерью. Роль истинной матери нации принадлежала собственно Истории»<sup>304</sup>. В 1980-90-е гг., очевидно под влиянием постмодернизма, происходит существенный пересмотр этого подхода. В новой литературе, посвященной теории и истории становления и функционирования наций, «национальное» понимается как культурная конструкция, как артефакт, произведенный на свет самой интеллигенцией. Национальные характеристики не были предопределены исторически, а были сконструированы сознательно интеллигентами.

Особого внимания, на наш взгляд заслуживает тот факт, что аспекты «воображенности», «сконструированности» нации и роли в этом процессе «воображения» интеллектуалов почти не попадают в поле зрения белорусских историков. Известный белорусский исследователь, автор

<sup>300</sup> Эко У. Миграции. Терпимость и нетерпимость, с.75-90.

<sup>301</sup> Кнабе Г. Принцип индивидуальности, постмодерн и альтернативный ему образ философии//Русский журнал, 1999.

<sup>302</sup> См. получившую широкую провокационную известность работу Huntington S. P., *The clash of civilizations and the remaking of world order.* – New York : Simon and Schuster, 1996. – 368 p., фактически возрождающую цивилизационную парадигму и противостояние Восток/Запад.

<sup>303</sup> *Ethnicity and Nationalism.* Ed. Anthony D. Smith. – Leiden, New York, Koln: E.J.Brill, 1992.

<sup>304</sup> John-Paul Himka. *Religion and Nationality in Western Ukraine. The Greek Catholic Church and the Ruthenian national Movement in Galicia, 1867-1900.* – Montreal, Kingston, London, Ithaca: McGill-Queen's University Press, 1999. – P.163.



недавней фундаментальной работы «Общественные объединения и движения в Беларуси» М.А.Соколова, в своей статье, специально посвященной понятиям «нация» и «этнос» в современной историографии, выделяет на основе циклической и стадийной моделей соответственно «цивилизационный и фармацевтический подходы к интерпретации истории». Прихильники фармацевтического подхода признают, что членство в племени – племя, народ, нация. При этом нация рассматривается как фармацевтический конкретный, интегрируемый внутренним рынком и средствами коммуникации феномен нового и новейшего времени. Прихильники цивилизационного подхода чаще всего рассматривают этничность, которую рассматривают как социально-психологический и культурно-исторический феномен, у которого в процессе накопления столетиями сформированы социальные уникальные черты во всех сферах индивидуального и общественного бытия. Таким образом, для фармацевтического подхода ключевой является проблема формирования нации как социально-политического феномена нового времени, а для цивилизационного – проявление этничности как культурно-исторического феномена в разные эпохи»<sup>305</sup>. Приводимая в статье цитата Б.Андерсона о том что между моментом «воображения» нации представителями элиты и моментом, когда национальная идентичность утверждается среди членом этого воображенного сообщества, проходит время, относится скорее к иллюстрации «вторичного, имитационного характера национализмов в Восточной Европе», но не к идее нации как культурной конструкции в целом.

С.Токць в своей замечательной по глубине поднимаемых проблем и силе анализа социально-этнических условий монографии «Беларуская вёска на мяжы эпох. Змены этнічнай самасвядомасці сялянства ва ўмовах распаду традыцыйнага аграрнага грамадства (па матэрыялах Гарадзеншчыны 19 – першай трэці 20 ст.)», выделяя две основные категории подходов в изучении нации: «(1) першаснікі (primordialists, perennialists) и (2) інструменталісты (instrumentalists, circumstantialists)», высказывает явное недоверие к «слишком инструменталисту» Э.Геллнеру за то что, что тот считал, что «нациялисты стварали народы там, где их ранее не было»<sup>306</sup>. При этом С.Токць специально акцентирует, что «воображенные сообщества» Б.Андерсона – это только в том смысле, что связи между членами таких сообществ не прямые, непосредственные, а воображаемые. Здесь Токць совершенно опускает мотив именно «воображения» наций, роли интеллигенции в этом процессе собственно «воображения» наций. В то же время, для многих нынешних исследователей, например, Центрально-Восточной Европы, подобный подход оказывается целиком устоявшимся: М.-Э.Дюкро в своей статье «Конструирование исторического опыта и идентификационная традиция: пример Чехии» четко показывает «трансмутация элементов прошлого, воссозданных в терминах идентичности и составлении чешского национального мифа»: «С тех пор как Г.Добнер в 1761-1786 гг. «просеял» в сите филологической критики хронику Гаека, объединившего в XVI в. предшествующие традиции, в XIX в. чехи уже осознавали, что традиционная история их истоков (например, рассказ о патриархе Чехе, отце Крока, брате Леха (предполагаемого предка поляков) и его дочери Либуше, жены Пшемисла) является легендарной. И все-таки, это разоблачение не помешало тому, что фигура Либуши наряду с реальными правителями Богемии в подложных рукописях (Краледворская и Зеленогорская), «обнаруженных» библиотекарем Национального музея В.Ганкой в 1817-1818 гг., становится дополнительным поводом легитимации»<sup>307</sup>.

В анализе белорусскими историками новых исследований этно-национального поля опускается, на мой взгляд, очевидный момент в (очевидный в том случае, если смотреть на это

<sup>305</sup> М.Сакалова. Да пытання аб разуменні паняццяў “нацыя” і “этнос” у сучаснай айчынным гістарыяграфіі. [Электронны ресурс]. – Режим доступа: [http://autary.iig.pl/sakalova/art\\_nacyja\\_pytannie.htm](http://autary.iig.pl/sakalova/art_nacyja_pytannie.htm) Дата доступа: 10.05.2007.

<sup>306</sup> С.Токць. Беларуская вёска на мяжы эпох. Змены этнічнай самасвядомасці сялянства ва ўмовах распаду традыцыйнага аграрнага грамадства (па матэрыялах Гарадзеншчыны 19 – першай трэці 20 ст.). – Гродна: ГрДУ, 2002. – 190 с.

<sup>307</sup> М.-Э.Дюкро. Конструирование исторического опыта и идентификационная традиция: пример Чехии // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны. Рэд. С.М.Ходзін, В.Н.Сідарцоў. – Мінск: БДУ, 2007. – С.58-70.

поле, исходя из перспективы анализируемых нами антрополого-культурно-дискурсивных поворотов): представление о культуре как о репрезентационной и символической системе; символизм, текстуальность, идея «отражения», дискурсивизм (...то, что мы постигаем как реальность, на самом деле – «эффект реальности», созданный техниками дискурсивизации, а не чистым или додискурсивным сознанием<sup>308</sup>).

Именно поэтому, видимо, просматривается некая недоговоренность и в схеме, изложенной в переведенной на белорусский книге польского исследователя Р.Радзика<sup>309</sup>, и в еще большей степени – в схеме, вытекающей из интереснейшей монографии С.Токця<sup>310</sup>: с одной стороны, крестьяне выступают как носитель «традиционного аграрного общества», с другой – как объект проводимой «над ними» модернизации. При этом в ситуации «смены этнического самосознания белорусского крестьянства» крестьяне смотрели в сторону панства как модели «лучшей жизни» -- и выбирали ее, эту модель, как либо русскую, либо польскую (Токць приводит данные о добровольных, организованных самими крестьянами, «польских школах», в которых учили детей читать по-польски, в то время как по-белорусски учиться было не нужно ("Нашае мовы нам вучыцца не трэба – мы ж яе ведаем! – тлумачылі яны"<sup>311</sup>).

Все вроде бы верно: в силу социальных, экономических, исторических причин, крестьяне избирали в качестве «модели» не белорусскость, а русскость или польскость; а потом (Радзик не склонен преувеличивать степень «модернизации» и «смены самосознания») в традиционное крестьянское общество пришла социалистическая идеология, подменившая национальную идею идеей классовой. В результате в Беларуси не сложилось национальной идеи?

И все же вопрос мне видится лежащим в иной плоскости: именно исходя из того, что «пропускают» многие белорусские исследователи – из анализа ситуации «воображенности» нации. В свете этого подхода, возможно, главные «почему» следует искать в той роли, которую (должна была сыграть, но не сыграла) играла появившаяся во втор.пол.19 в. белорусская интеллигенция (которая не смогла дать процессу «воображения нации» полную силу). Почему литовские ксендзы имели «литовское национальное сознание»; литовскоязычные крестьяне начали бороться за введение в богослужение своего родного языка; а с блеском описанные Токцем священники Беларуси – ратовали за польский или русский языки? И тогда здесь встает вопрос о феномене западно-руссизма, который, с одной стороны, вроде бы настолько известен, что даже кажется ненужным ему уделять специальное внимание, а с другой – анализировался специально лишь А.Цвикевичем более чем 70 лет назад<sup>312</sup>, да еще звучал (с разным смыслом) в недавних работах В.Черепицы, П.Терешковича, И.Марзалюка и некоторых других.

Между тем, вопрос о месте «дискурса западно-руссизма» в истории Беларуси остается актуальным по сей день. То, как происходило становление и развитие западно-руссизма в Беларуси, и самое важное, как он стал субститутом, замещением идеи белорусскости – эти вопросы остаются открытыми. О периоде распространения западно-руссизма, особенно после 1863 г., Н.Вакар писал: «Архивы ВКЛ были открыты задолго до этого, но их работа почти целиком игнорировалась. Сейчас же поток книг, монографий, журнальных статей и памфлетов заполнили литературу так, как если бы все захотели узнать побольше об этом районе и его истинном отношении к России (курсив – О.Ш.). Лингвистические исследования показали, что местные простонародные языки были “диалектом русского”, но не польского. Этнографы, бродившие по стране в поисках фольклора, обнаружили, что этот язык отличался от польского, и в то же время был очень похож на русский и украинский... Как ни трудно в это сейчас

<sup>308</sup> Hayden White, *Afterward*. In: *Beyond the Cultural Turn: New Directions in the Study of Society and Culture*, p.321.

<sup>309</sup> Рышард Радзік. Беларусы, Погляд з Польшчы. Навукова-папулярнае выданне КРАЇ – КРАЇ Выдавецкі праект Polonica–Albaruthenica–Lithuanica, 5 (8) – 2002./ Пер. з польск.; Рэд. Я.Іваноў; ГА МТ “Брама”. Мн.: Энцыклапедыкс, 2002. – 132 р.

<sup>310</sup> С.Токць. Беларуская вёска на мяжы эпох. Змены этнічнай самасвядомасці сялянства ва ўмовах распаду традыцыйнага аграрнага грамадства (па матэрыялах Гарадзеншчыны 19 – першай трэці 20 ст.).

<sup>311</sup> Вашкевіч Ю. Вобраз Беларусі і беларусаў у польскай мемуарнай літаратуры 1945 – 1991 г. // Беларускі гістарычны агляд. – Т.6. – 1999. – Сш. 1-2 (10-11), с.86. Цит. по С.Токць. Указ. соч.

<sup>312</sup> Цьвікевіч А. “Западно-руссизм”: Нарысы з гісторыі грамадскай мыслі на Беларусі ў XIX і пачатку XX в. Менск, 1929; 2 выд. – Мінск: Навука і тэхніка, 1993. – 352 с.

поверить, для русских открытие того, что земли, аннексированные от Польши и Литвы, являлись «на самом деле русскими», заняло столетие»<sup>313</sup>.

Частичным ответом на вопрос о том, каким образом «тутэйшасць» заменялась/сочеталась «пропольскостью» или «западно-русскостью», стали работы С.Токця о гродненских крестьянах<sup>314</sup>, Т.Снайдера<sup>315</sup> о развитии национальной идеи среди интеллектуальных элит Польши, Украины, Литвы, Беларуси. В то время, как литовское и украинское национальные движения проходили под знаком сопротивления, собственно «белорусскость» не запрещалась; главное – чтобы белорусское письмо было записано кириллицей, а не латиницей («польскими буквами»). Однако и в том, и в другом случае белорусские тексты слишком напоминали русские (польские). Как Т.Снайдер символически описывает эту ситуацию: «Проблема Дунина-Марцинкевича (при переводе поэмы А.Мицкевича на белорусский – О.Ш.) состояла в том, что его титульный лист, написанный по-белорусски, читался *Pan Tadeusz* – точно так же, как если бы он был написан по-польски; в то же время написанный кириллицей *Пан Тадеуш*, выглядел почти как русский»<sup>316</sup>. Так же и написанные латиницей белорусские слова *Szlachtycz Zawalnia* (Шляхтича Завальни) Яна Барщевского (1844-46), выглядели по-польски<sup>317</sup> в глазах многочисленных «бело-русских» читателей. В результате проводимой имперскими властями политики, направленной на исключение зарождающегося белорусского движения из общего потока польского и включение его в рамки русского, собственно белорусское движение оказывалось, как пишет Т.Снайдер, «расположенным социально между польской культурой и российской властью».

Эта ситуация ярко озвучена Я.Купалой в ответе Янки Здольника Миките. На вопрос того, почему, по какой причине вы «так не любите нашу чистую интеллигенцию?», Здольник отвечает: «это польская пыль, грязь из Москвы»<sup>318</sup>.

Попытки преодолеть референциальность по отношению к двум «центрам» белорусской истории, включали поиски кривской, ятвяжской, литвинской идентичностей..., – и их безуспешность показывает актуальность осмысления «белорусского контекста» как «самообретения собственной культурно-интеллектуальной полноценности»..., и окончательного изживания «креольскости» изнутри ее самой<sup>319</sup>.

Упомянутая здесь «креольскость» не случайна. Именно под знаком этой стратегии, выработанной на основе постколониальных исследований латиноамериканской ситуации, белорусский философ В.Абушенко предлагает изучать феномен креольскости – обозначения осознаваемой инаковости контекстуальности, данной («ее носителям») в своей исходной «нулевой степени» («тутэйшасці») <sup>320</sup>. «Рефлексия различий-различений как «иноного» внутри европо(испано)-центрированной целостности привела к конституированию «инакового» (латиноамериканского) по отношению к этой целостности».

Подобная перспектива может стать в каком-то смысле основой для «изживания» *тутэйшасці* изнутри нее самой, но при серьезной оговорке – учетывании множества различных перспектив идентичности (например, если «центром» для латиноамериканцев было все «испанское»; «доминатором», «дополнительность» по отношению к которому, нужно было преодолеть для ирландцев – являлись англичане <sup>321</sup>, то «белорусское» развивалось «по

<sup>313</sup> Vakar Nicholas P. *Belorussia: the making of a Nation. A case study.* – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1956. – P.73.

<sup>314</sup> С.Токць. Указ.соч.

<sup>315</sup> Timothy Snyder. *The reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-1999.* – New Haven, London: Yale University Press, 2003. – 367 p.

<sup>316</sup> *Ibid.*, p.43.

<sup>317</sup> Vakar, *op.cit.*, p.76.

<sup>318</sup> Янка Купала, Тутэйшыя. Перв. издание: Польшыя №2 (10). Минск, 1924, с.67.

<sup>319</sup> Абушенко В. Креольство как ино-модерность Восточной Европы (возможные стратегии исследования)//Перекрестки: Журнал исследований восточноевропейского пограничья. 2004. № 1, с.124-156.

<sup>320</sup> Там же.

<sup>321</sup> *Nationalism, Colonialism, and Literature.* / Ed. Terry Eagleton, Fredric Jameson, Edward W. Said. – Minneapolis: University of Minnesota Press, 1990. – P.13: At this point, faced with this precipitous revision of white European history, the Irish, who had shown a marked inclination toward this view of themselves, finally took possession of the stereotype,

отношению» ко многим «центрам»). О роли историков в этом анализе и о т.н. «мастер-нарративе» см. в части 4.4.

Возвращаясь к различным версиям «национальных» и «постколониальных» исследований (впрочем, даже наш затянувшийся разговор о белорусском движении не был от них «отступлением», т.к. вращался вокруг все того же ядра – идентичности), следует выделить еще одно новое поле исследований – изучение «постнационального». Отличительные черты этого феномена, возникающего в рамках глобализации и постмодерна описывает Аржун Аппадюраи:

- (1) временное и историческое измерение «постнационального» «предполагает, что мы находимся в процессе движения к глобальному порядку, в которых национальные государства становятся устаревшими, и их место занимают иные формы выражения принадлежности и идентичности»;
- (2) в нем присутствует «идея о том, что это новое представляет собой мощные альтернативные формы организации глобального передвижения ресурсов, образов и идей – формы, которые либо активно бросают вызов национальному государству, либо становятся мирными альтернативами широкомасштабным политическим привязанностям»;
- (3) измерение «постнационального», предполагающее «возможность, что в то время, как нации могут продолжать существовать, постоянная эрозия монополии национальных государств на выражение «принадлежность» будет способствовать распространению национальных форм, отличных от территориальных общностей»<sup>322</sup>;

Конечно, ни один из этих признаков не означает «отмирание» национального государства, однако А.Аппадюраи демонстрирует наличие таких постнациональных образований (культурные диаспоры, массовые миграции, группы мигрантов-нелегалов, патриотизм и политическое влияние эмиграции, туризм и т.д.) на фоне огромной силы средств массовой информации. Национальное государство, констатирует он (в 1996!), «определенно находится в состоянии кризиса, и частью этого кризиса являются во все более возрастающей степени насильственные отношения между национальным государством и постнациональными «Другими»»<sup>323</sup>.

Между тем, наложение европоцентристски построенных образов «Других» на этих «других», деформирует и рождает новые мутации в самих «других». Такие мутации в виде миграций, радикализации настроений, усилении фундаментализма, насилия и т.п. вызывают недовольство и замешательство не только у обывателей, но и среди самих теоретиков постмодерна (будь то высказывания видного защитника «инаковости» Цветана Тодорова, недавние публикации Терри Иглтона или Юргена Хабермаса<sup>324</sup> ...).

Яркий пример столкновения «теории» и «практики» выращенных на постмодернистской почве «культов» идентичности, Другого, мультикультурализма дает нам французская родина

---

modified the Celt into the Gael, and began that new interpretation of themselves known as the Irish literary revival...It was only when the Celt was seen by the English as a necessary supplement to their national character that the Irish were able to extend the idea of supplementarity to that of radical difference.

<sup>322</sup> Arjun Appadurai, *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. – Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 1996. – P.169.

<sup>323</sup> Ibid.

<sup>324</sup> См. Alec G. Hargreaves, *An Emperor with No Clothes?* // материалы, опубликованные на сайте The Social Science Research Council: <http://www.ssrc.org/>: В 2005 г. Цветан Тодоров, выступая на Междисциплинарном коллоквиуме, посвященном 100-летию отделения церкви от государства во Франции «Laïcité/Secularism : 1905/2005», проводившемся Центром французских исследований и Maison française Колумбийского университета 11-12 ноября 2005 г. с докладом "The Threats to Autonomy: Individual and Community", назвал происходящие в это время во Франции восстания в пригородах (banlieues) делом дисфункциональной сексуальности исламской молодежи, фактически отказываясь применять свои теоретические взгляды на Другого к французским реалиям; Жижек С. Добро пожаловать в пустыню Реального, с.41-41: «К несчастью, сам Юрген Хабермас... присоединился к этому хору, подчеркнув, что время постмодернистского релятивизма ушло». См. также об изменении взглядов Terry Eagleton, *After Theory*. New York: Basic Books, 2003.



постмодерна. Именно здесь, в недалеком прошлом «образцовом» едином «национальном государстве» складывается ситуация, связанная с пересечением этнической, расовой, религиозной, социальной, гендерной идентичностей, конфликтом «центра», создающего «другого», и «периферии», которая воплощает в себе этого «другого».

«Единственное, что на самом деле привлекает Сердце Франции, – это вызов по отношению к иностранцу (...). Я всем своим сердцем согласен с вами, что нельзя занижать это единственное и уникальное чувство общественного характера и таким образом проявлять равнодушие к тому, что станется с Францией. Желание блистать в глазах иностранцев и быть высоко оцененными ими должно культивироваться и поощряться во Франции любой ценой»<sup>325</sup> -- патриарх французской политологии и историографии А.де Токвиль, который когда-то высоко оценил исторические роли Америки и России, почитаемый и в наши дни, путешествовал и размышлял о демократии. Побывав в 1830-х гг. в Америке, он сделал для себя важный вывод: «Я не когда не был более убежден в том, что самое большое и необратимое несчастье с людьми – это быть завоеванными»<sup>326</sup>. И все же, по возвращении во Францию, он становится апологетом колонизации, или как пишет Ц.Тодоров, «превратился апологета завоевания других»<sup>327</sup>. Наблюдая и осуждая насилие, совершаемое французскими колонизаторами в Алжире, патриот Токвиль все же пишет о «пользе колонизации для Франции» и ее «цивилизационной миссии». Необходимость «сверкать в глазах иностранцев» берет верх над сочувствием к завоеванным.

Превращение Токвиля приведено здесь без умысла «развенчать» авторитет французских интеллектуалов, оно лишь демонстрирует данное им самим же определение патриотизма – «le patriotisme, qui le plus souvent n'est qu'une extension de l'égoïsme individuel» («патриотизм, который чаще всего есть не что иное, как расширенный индивидуальный эгоизм»). Поставленный в ситуацию практического выбора, а не теоретических размышлений, Токвиль становится на позицию «своих» по отношению к «другим». Дважды «своих» и дважды «других»: идентифицируя себя с правящим классом и завоевателем; дистанцируясь от «нижнего» класса и покоряемого народа.

Почти полтора века спустя, Цветан Тодоров, блестяще разрабатывая тему противопоставления «мы» / «другие» в своей книге о завоевании Америки (и Другого), уточняет: «Но другие есть также я: субъекты, подобные мне, с единственной моей точкой зрения, по которой все есть там, а я – здесь, действительно отделяются и различаются от меня»<sup>328</sup>.

Семью годами позже Тодоров продолжает, акцентируя свой негативный опыт в «коммунистической» Болгарии и свою «промежуточность», позволяющие ему видеть иные перспективы, нежели те, которые видят «коренные» французские интеллектуалы, разрывающиеся между высокими теориями и образом жизни «petit bourgeoisie». «Мы и другие, говорю я себе: как можно вести с точки зрения тех, кто не принадлежит к тому же сообществу, что и мы? Первый выученный урок состоит в том, чтобы отказаться от обоснования наших суждений на основании различий. Человеческие существа, однако, это делали с незапамятных времен, лишь меняя объект своих похвал. Следуя «правилу Геродота», они определяли себя как лучших во всем мире, а других оценивали хуже или лучше в зависимости от того, насколько те были удалены от них. И наоборот, подчиняясь «правилу Гомера», они находили, что народы, наиболее удаленные, были и более счастливыми, и более достойными восхищения, в то время как у себя находили только упадок. В обоих случаях мы имеем дело с миражем, оптической иллюзией: «мы» не обязательно положительны, «другие» -- тем более; все, что можно сказать по этому поводу, это то, что открытие по отношению к другим, отказ их отрицать без знания на

<sup>325</sup> Tocqueville de, Alexis. Lettre du 9 août 1842. / Œuvres complètes/ Ed. J.P.Mayer. – Paris: Gallimard, 1954. T. VI, vol. 1. – P.337

<sup>326</sup> Notice faite à Québec, le 26 août 1831, Œuvres, ed. Beaumont, t.VIII, p.257. – Цит. по Alexis de Tocqueville. De la colonie en Algérie. Introduction «Tocqueville et la doctrine coloniale» par Tzvetan Todorov. – Paris: Complexe, 1988. – P.33.

<sup>327</sup> Ibid.

<sup>328</sup> Tzvetan Todorov, La conquête de l'Amérique. La question de l'autre. – Paris: Seuil, 1982. – 278 p.



то, является среди всех человеческих существ редкостью. Шатобриан предложил, что единственное важное разделение – это деление на «хороших» и «злых», а не на «мы» и «другие» (в обществах добро и зло перемешано в разных пропорциях). Вместо легких суждений, основанных на относительных различиях между теми, кто принадлежит моей группе и теми, кто ей не принадлежит, должны прийти суждения на базе этических принципов»<sup>329</sup>.

Спустя еще шестнадцать лет, выступая на Междисциплинарном коллоквиуме, посвященном 100-летию отделения церкви от государства во Франции «Laïcité/Secularism : 1905/2005, проводившемся Центром французских исследований и Maison française Колумбийского университета 11-12 ноября 2005 г. с докладом "The Threats to Autonomy: Individual and Community", Цветан Тодоров вынужден был дать свой ответ на вопрос о происходящих в это время во Франции беспорядках в пригородах (*banlieues*). Их причину Тодоров увидел в дисфункциональной сексуальности исламской молодежи с их навязчивым желанием вести себя "macho". Когда некоторые скептически настроенные члены аудитории возразили, что совсем не исламские полицейские из CRS<sup>330</sup>, а также министр внутренних дел Н.Саркози тоже проявляли себя как «мачо», и попросили доказательств, Тодоров проигнорировал их вопросы как мелкие и очевидно-неправильные<sup>331</sup>. Подмена очевидна: шатобриановские установки о делении на «злых» и «добрых» вновь вырастают в оппозицию «мы» / «другие».

В целом, дискурс о восстаниях в пригородах разделил французов на тех, кто ищет причины в экономической и социальной сфере (многие специалисты из «левых» CNRS, EHESS<sup>332</sup>), и тех, кто видит корни недавних выступлений во Франции связанными с религиозным, этничным, гендерным, факторами<sup>333</sup>. Последних большинство; критерии их оценок – те, что конституируют Другого. Причем «исключенными» оказываются этнические меньшинства, женщины, «другие» по религии – например, мусульмане.

Этот, сам по себе любопытный факт французской интеллектуальной среды, выдает нечто более глобальное: страна, «вылепившая» постмодернистский «удел», в центре которого – необычайная чувствительность к вопросам идентичности и внимание к Другому, стала ареной противостояния «нас» и «других». Мутации, которые переживает французское государство, очевидны и для самих французов (мой пожилой сосед-француз, неизменно заканчивает обсуждение любых «горячих» новостей словами «Я не узнаю *своей* страны. Это не *моя* страна»); и для наблюдателей «извне», англо-американских медиа, «смакующих» подробности насилия во время беспорядков 2005-2006 гг.

Нужно отметить, что до сих пор доминирующие политическая, демографическая, социальная доктрины во Франции не приняли концепцию этнических меньшинств. Условно называемая «англо-американская модель», рассматривается здесь как способствующая созданию «гетто». Более того, по сию пору «не приветствуются» исследования или мониторинг этнической принадлежности, а антирасистские организации, подобные тем, что есть в Англии (Britain's Commission for Racial Equality, CRE), считаются непригодными для французской почвы, поскольку их создание формально признало бы наличие расизма<sup>334</sup> (такой институт, как

<sup>329</sup> Tzvetan Todorov. *Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité humaine.* – Paris: Seuil, 1989, p.506.

<sup>330</sup> CRS (Compagnie Républicaine de Sécurité) – полицейское подразделение, обычно используемое для контроля над массовыми выступлениями, демонстрациями и т.д.

<sup>331</sup> Рассказ о случившемся на коллоквиуме в Колумбийском университете цит. по: Alec G. Hargreaves, *An Emperor with No Clothes? // материалы, опубликованные на сайте The Social Science Research Council:*

<http://www.ssrc.org/>

<sup>332</sup> CNRS (Centre national de la recherche scientifique), EHESS (L'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales) – ведущие научные организации во Франции.

<sup>333</sup> Сходные с Тодоровым оценки ноябрьским волнениям во Франции дали член Французской Академии и видный специалист по истории России и Советского Союза Елена Каррер д'Энкокс, министр труда Жерар Ларшер и многие другие, ссылаясь на полигамные брачные практики иммигрантов-мусульман из Северной Африки.

<sup>334</sup> См. Erik Bleich. *Race Politics in Britain and France: Ideas and Policymaking since the 1960s.* – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 233 p.

Haute Autorité de Lutte Contre les Discriminations et pour l'Égalité, HALDE, созданный в 2005, даже в своем названии не является серьезным исключением). Токвиль был бы удивлен, насколько его завет культивировать у французов «le désir de briller aux yeux des étrangers» живет во французском обществе и сегодня!

«Французская модель», имеющая глубокие корни в истории, отсылает нас к якобинской традиции «уравнения» и «ассимиляции» и идеалам *Франции как единого национального государства*. Французское гражданство является не столько политическим, сколько культурным явлением: иммигрант должен принять не просто гражданство, а саму «французскую» идентичность. Но и этого недостаточно. Официальный французский институт демографических исследований (INED), проводящий переписи населения и отслеживающий его движение, дает следующие дефиниции: «Иммигрант – это человек, рожденный иностранкой от иностранца и проживающий во Франции. Таким образом человек, получивший французское гражданство с момента своего прибытия во Францию, все равно считается иммигрантом. И наоборот, человек, рожденный француженкой от иностранца, не является иммигрантом. Тем не менее, принято учитывать репатриантов из Алжира и бывших колоний в сальдо миграции»<sup>335</sup>.

Концепции мультикультурализма и этнических меньшинств не «вписываются» в политическую реальность Франции, хотя она больше не является нацией-государством или единой с точки зрения этнического состава страной: по некоторым оценкам из 59 миллионов населения Франции до 14 миллионов являются иммигрантами или их детьми<sup>336</sup>.

И если в США или Великобритании эти 14 миллионов (имеются и более «благополучные» цифры – 9 млн.) обозначали бы термином «ethnic minorities», то во Франции для них все еще используют слово *immigrés*, называя так не только недавних иммигрантов, но и тех, кто родился уже во Франции. Дети и даже внуки *immigrés* не могут считаться «настоящими» французами, поскольку несут в себе стили жизни своих родителей, выросли в HLMs, которые фактически превратились в столь критикуемые французами гетто, имеют специфический акцент, составляют большинство безработных, практически не имеют доступа к высшему образованию... Этот набор можно еще продолжить – набор, характеризующий факт *исключения*. И, как писала Иен Анг, «белая/Западная гегемония не случайная психологическая aberrация, а систематическое следствие глобального исторического развития на протяжении последних 500 лет – экспансии европейского капиталистического модерна на мир, имеющей следствием отнесение всех «других» народов к европейской экономической, политической и идеологической логике и стилю существования. «Белокожесть» и «западность» взаимосвязаны; они представляют две стороны одной медали; «западность» есть знак белой гегемонии на международном уровне, где «не белые», «не западные» нации по определению подчинены белым западным. Именно глобализация капиталистического модерна ведет к непреодолимости разделения «белый – не белый», «западный – не западный», как показывает сама инфраструктура мира модерна (Wallerstein, 1974). Иными словами, наравится нам это или нет, современная мировая система является продуктом белой/Западной гегемонии, и мы все, с различными нашими субъективными свойствами и обстоятельствами, вписаны в нее, являемся ее частью»<sup>337</sup>.

Фактически во Франции по-прежнему есть лишь две категории жителей: собственно французы по своим корням (*de souche*) и иностранцы (*étranger* – те, кто родился вне Франции). Последних насчитывается 4 млн. Остальные 10 млн. *immigrés* – их дети, все же не ставшие

<sup>335</sup> Institut national d'études démographiques (INED) <http://www.ined.fr/population-en-chiffres/france/index.html>

<sup>336</sup> A.G. Hargreaves. Immigration, 'Race' and Ethnicity in Contemporary France. – London: Routledge, 1995. – P.5. INED приводит иные цифры: 60 млн. на 1 января 2005 г., данные по количеству иммигрантов ограничиваются 1999 г. – почти 4,5 млн. По поводу этих цифр существуют серьезные разногласия (Michèle Tribalat). Распространено мнение о том, что официальная демография сильно занижает процентное соотношение «иностранцев» и «французов».

<sup>337</sup> Ien Ang, I'm a feminist but... "Other" women and Postnational feminism, in *Feminist Postcolonial Theory. A Reader*. Ed. Reina Lewis and Sara Mills. – Edinburgh University Press, 2003. – P.197.

«полноценными» французами, поскольку несут в себе стигму иной идентификации. *Beurs*. Их язык – верлан (*verlan*, «язык наоборот», меняющий порядок букв), их идентичность – в совмещении арабского и французского, их название – в чтении «араб» наоборот... Поколение *Beurs*, родившихся в 1980-90-е, часто называют тем основным ферментом, который способствовал восстаниям в пригородах, потрясших Францию осенью 2005 и столь «эффектно» освещавшихся англо- и русскоязычной прессой. Критерии идентификации *les Beurs* далеко не так очевидны, какими кажутся на первый взгляд. В них сочетается этническое (и не французы, и не арабы), социальное (беднейший слой населения, неквалифицированная рабочая сила, с долей безработицы – 40%), пространственное (жители *banlieues* – французских пригородов и в особенности *cités* -- районов расположения дешевого государственного жилья), религиозное (зачастую, но не обязательно ислам).

Эти же факторы отделяют *Beurs*, как и остальных иммигрантов, от остальных французов. Они есть Другие, которых либо боятся, либо относятся настороженно. И если, по словам Pius Nkashama Ngandu («Жизнь и нравы одного дикаря в Ессони, девяносто один») «белый человек в Африке имеет за плечами вес своей культуры, истории, философии», то «африканец во Франции ощущает лишь вес своей расовой принадлежности и биологические различия»<sup>338</sup>. Этот же новеллист, описывая свою жизнь и работу учителем во Франции, констатирует: «На самом деле, очень немногие коллеги, с которыми мне пришлось работать, видели во мне именно меня. Еще меньше из них знали мое имя, оправдываясь тем, что его трудно произносить. Таким образом, я был просто Месье Африканец. Для учеников младших классов – Месье Черный».

В этом рассказе меня привлек адрес: Эссон, 91. Я жила в этом департаменте Иль-де-Франс, под Парижем, и жизнь его обитателей стала моей жизнью. Я жила в *banlieue*, в одном из парижских пригородов, в «хорошем» районе. Белый цвет моей кожи делал меня частью этого «хорошего» района, если бы не одно обстоятельство: мой акцент, выдающий во мне «иммигранта». Мой сын, родившийся в Беларуси, после нескольких лет французской «закалки», в возрасте 3 лет задавал мне вопросы, которые вряд ли возникнут у белорусского ребенка. «А кто это: девочка или мальчик, -- спрашивал мой сын, когда речь шла о каком-то знакомом, -- “А лицо у него какое: белое или черное?». Реальность множественности цветов кожи, культур, языков стала для него вещью обыденной. И таким же реальным для него становится разделение этих миров: белые, черные и смуглые дети из одного и того же класса предпочитают играть в разных местах школьного двора – так же, как и их матери, в ожидании своих детей из школы собирающиеся в «свои» группы. Африканцы, арабы, белые. Смешанного общения между ними нет, как нет и «интеграции», прокламируемой французским правительством.

Мой район считался «хорошим», т.к. находится в отдалении от так называемых HLM (*Habitation à Loyer Modéré* – букв. «аренда жилья для людей с низким доходом»), где живут в основном выходцы из стран Магриба и Африки, бывших французских колоний. История «ашелемов» включает в себе историю процессов *исключения и маргинализации*, которые проходят во французском обществе. Поначалу, финансируемая государством постройка «ашелемов» в 1950-60-х гг. виделась как решение проблемы перенаселенности и неблагоприятных условий жизни рабочего класса в городах. Многоэтажки-НЛМы с современными квартирами и всеми удобствами быстро росли, составляя целые районы в пригородах; но к концу 1970-х гг. в них стали происходить перемены: постепенно большинство населения пригородного «дешевого жилья» стали составлять арендаторы-иммигранты. Экономические причины, связанные со спецификой распределения рабочей силы (именно вблизи крупных городов были шансы найти работу), дороговизной жилья в больших городах, наличием транспорта, который подвозил рабочих напрямую к заводам, а также официальная политика ликвидации трущоб и иммигрантских транзитных центров – все это приводило к тому, что *banlieues* заполнялись выходцами из стран Магриба и Северной Африки, в то время как «собственно» французы (преимущественно рабочий класс, составлявший первоначально

<sup>338</sup> Ngandu Pius N. *Vie et mœurs d'un primitif en Essonne, quatre-vingt-onze*. – Paris : l'Harmattan, 1987. – P.8.

ядро населения «ашелемов») предпочитали переселяться в индивидуальные дома или квартиры в более престижных районах. Государственное жилье претерпело символическую трансформацию: от знака демократии к знаку сегрегации, превратившись в своего рода гетто, с гомогенным с точки зрения социально-экономического статуса, этничности, религии составом населения. Социальное устройство районов, в которых располагались НЛМы («свои» магазины, школы и т.д.), способствовала их «исключению», превращая их в обособленные *cités*, которых сторонились «истинные» французы. Покинуть *cités* становится все менее и менее возможным и по финансовым причинам (для покупки жилья нужны сбережения, которые идут на оплату аренды все той же квартиры в «ашелеме»), и из-за расовой, этнической дискриминации даже в сфере купли-продажи жилья<sup>339</sup>.

Отчуждение от «собственно» французов настолько реально, что просматривается даже в пространственном дистанцировании – *cités* отделены изрядным расстоянием и визуально (соседние с НЛМом дома моего «хорошего» района обнесены единым забором с колючей проволокой). Низкий уровень образования (несмотря на дотации государства в школы «зон особого внимания») и самый высокий уровень безработицы в Европе среди молодежи НЛМов... – все это делает второе-третье поколения иммигрантов, французов по рождению, социально-экономически «исключенными». Именно это требование своего признания, пока еще не ясные проблемы идентификации, становятся главными в выступлениях молодежи «ашелемов» в 2000-х.

Образы уличных гангстеров, засилья «банд», сексуального насилия в «ашелемах» постоянно транслируются французскими средствами массовой информации, и хотя цифры дают примерно равные показатели и среди молодежи «белых» районов, и среди «ашелемов», они становятся штампами, в которые верят большинство французов. Между тем, видный исследователь ислама О.Руа приводит следующие аргументы: движение, называемое “*Ni Putes ni Soumises*” (*Не проститутки и не рабыни*) (ОШ: образовано с 2003, после издевательств и сожжения Sohane Benziane в одном из парижских «ашелемов») вырвалось из *banlieue*, завоевав место в системе власти, на волне определения мужского доминирования над женщинами во имя ислама как центральной проблемы пригородов. Такое доминирование существует на самом деле, но: (1) *machismo* свойственен любому этническому гетто, вне зависимости от религиозных оснований; (2) девушки, как правило, выражают солидарность с мужчинами в моменты кризиса и особенно тогда, когда полицию обвиняют в расизме, т.е. «идентичность соседства» перевешивает гендер. Запрет на головные покрывала в школах был вынужденным, т.к. чадра рассматривалась как символ растущего социального давления на девушек (а факт, что большинство девушек, носящих чадру, обычно являлись и самими успешными, и лучше всех интегрированными в общество, систематически игнорировался). Ситуация с «дисфункциональностью сексуальности исламской молодежи», которую выделил в качестве главной черты в волнениях 2005 года Тодоров, должна рассматриваться, так сказать, «в контексте». В контексте тех факторов, которые определяют сегодня идентичность этой самой молодежи. И если исламские организации типа *Tabligh* или *Salafi* в целом имеют влияние среди молодежи, то выступления 2005 все-таки не носили промусульманский характер. Это отмечают не только политики и средства массовой информации, но и большинство аналитиков. По мнению того же профессора CNRS Оливье Руа, «в восстаниях не было ничего исламского или арабского. Палестинские или алжирские флаги, так же как и шарфы «в стиле Арафата» (всегда обязательные на любых левых демонстрациях во Франции), совершенно отсутствовали. “*Allah akbar*” кричали предполагаемые медиаторы – посредники, но не сами бунтовщики»<sup>340</sup>. Более того, многие обозреватели отмечают, что споры вокруг ислама во Франции, являются своего рода средством сдвинуть фокус с реальных социально-экономических проблем.

Жители пригородов действительно идентифицируют себя с исламом, совмещая в нем осколки идентичностей: социальных маргиналов, «выталкиваемых» французским обществом

<sup>339</sup> См. Cesari, Jocelyne, *Musulman et republicain: les jeunes, la France et l’Islam*. – Brussels: Complexe, 1998. – 166 p.; *European Muslims and the Secular State*, London: Ashgate, 2005; ее же статьи на сайте [www.ssrc.org](http://www.ssrc.org).

<sup>340</sup> <http://www.ssrc.org/>, <http://riotsfrance.ssrc.org/Roy/>



на «края» и этническую идентификацию как, например, потомки арабов или берберов. Реалии социально-экономической сегрегации создают условия для постоянного воспроизводства этой идентичности. 40%, а в некоторых районах и 80%<sup>341</sup>, безработной молодежи направляют недовольство «внутри» своих же сообществ: объединения-банды контролируют жизнь «ашелемов», а главным объектом их агрессии становятся женщины. «Мужчины сильнее, чем женщины. Мужчин уважают больше, чем женщин. Поэтому, если у меня нет братьев, моя сестра подвергнется насилию. Но если я происхожу из большой семьи, люди не будут даже осмеливаться поднять глаза на моих сестер, когда проходят мимо. Это часть закона.»<sup>342</sup>. Нормы ислама, в целом не слишком соблюдаемые молодыми людьми (это скорее обычные представители street culture с ее хип-хопом и рэпом, едой от McDonalds и KFC), становятся тюрьмой для женщин, повторно исключенных: и самой французской системой, и исключенными из нее мужчинами. «Мужчины у власти повсюду управляют женщинами, такая власть становится моделью для любой формы эксплуатации и незаконного контроля. Патриархат как «модель» для других форм доминирования...»<sup>343</sup>

И не случайно, иммигрант во французских медиа (акцентируем еще раз, что во французском контексте под «иммигрантами» понимают прежде всего выходцев из Алжира, Марокко, Туниса, Сенегала, Индокитая; гораздо реже этот термин используется по отношению к приезжим европейского происхождения) – это прежде всего мужчина: «Иммигрант это *man* (англ. «человек и мужчина»), сделавший свой выбор, и отрицать этот факт означает отрицать его свободы»<sup>344</sup>. Мужчина, поскольку в большинстве случаев именно он представляет ту самую дешевую рабочую силу, которая была востребованной в 1970-е, и возможность стать которой привлекает многих мигрантов. Мужчина, поскольку именно он иммигрирует во Францию первым, а за ним едут женщины и дети, часто без документов, и соответственно, без прав, находясь в тройной тюрьме: своего социального положения, своей религии и своего пола. Мужчина, поскольку в связи с «иммигрантскими проблемами» женщины упоминаются лишь как субъекты «мужских» дел: в контексте насилия, совершаемого над ними, семейных практик полигамии, ношением головных платков и т.п.

«Показательна» в этом смысле ситуация вокруг т.н. «женского обрезания» (практики клитеродектомии или удаления женских гениталий) во Франции. Привезенное во Францию иммигрантами из Африки (Сомали, Египта, Судана и др. стран), «женское обрезание» официально запрещено французским законодательством, подпадая под статью о защите детей. Тем не менее, по меньшей мере, 30 000 женщин, над которыми совершен этот обычай, живут во Франции, и еще 20 000 девочек подвергаются риску стать его жертвами ежегодно. Французские власти борются против этого из гуманитарных побуждений, обсуждая проблему на уровне универсальных прав человека, прав на целостность своего тела, осуждают как риск для здоровья и смерти<sup>345</sup>. В странах Африки подобная практика является неотъемлемой составляющей патриархальной социальной системы, «необходимостью», которая создает на теле женщины указатель не только ее субординации, но и места в социальной иерархии. Традиция чрезвычайно живуча, ее выполняют матери жертв, при этом сами женщины верят, что без «обрезания» их дети не смогут занять место в обществе, обосновывая обычай необходимостью соблюдения девственности, неприглядностью клитора как мужского органа, а

<sup>341</sup> причем мусульмане составляют примерно 30% населения Франции в возрасте до 25 лет

<sup>342</sup> Из интервью, проводившихся журналистом CNN Дж.Манном 24.05.2004, Muslim Women Rebel In France: [http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0405/24/i\\_ins.00.html](http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0405/24/i_ins.00.html)

<sup>343</sup> Andrienne Rich, Notes Toward A Politics of Location // Feminist Postcolonial Theory. A Reader. Ed. Reina Lewis and Sara Mills. – Edinburgh University Press, 2003. – P.33.

<sup>344</sup> Из Отчета Ulrike Schuerkens, Active Civic Participation of Immigrants in France. Country Report prepared for the European research project POLITIS, Oldenburg 2005, [www.uni-oldenburg.de/politis-europe](http://www.uni-oldenburg.de/politis-europe) Funded by the European Commission in the sixth framework, priority 7, Citizens and governance in a knowledge based society. [www.cordis.lu/citizens](http://www.cordis.lu/citizens) )

<sup>345</sup> Francoise Lionnet. Feminism and Universalisms: “Universal Rights” and the Legal Debate Around the Practice of Female Excision in France // Feminist Postcolonial Theory. A Reader. Ed. Reina Lewis and Sara Mills. Edinburgh University Press, 2003.



потому придания девочке больше женственности и т.п.<sup>346</sup>. И на самом деле, «необрезанные» женщины становятся изгоями в своих сообществах, поскольку они не прошли инициацию, необходимую для вступления девочки в ранг женщины. Перенесение «традиции» во Францию приобретает новый оттенок: даже под угрозой криминального наказания иммигранты продолжают ей следовать. Такая стойкость объяснима прежде всего тем, что оказываясь на территории Франции и под властью французских законов, иммигранты продолжают оставаться изгоями во «французском» мире и живут «своими» сообществами в районах, где царят «свои» нормы. И здесь традиция остается уже не столько из-за ее «социальной укорененности», сколько как средство *идентификации*. При этом женщина выполняет функцию ее носителя, выполняя «биологическое воспроизводство этнического сообщества<sup>347</sup>» и становится ее *символическим воплощением*. *Наши женщины, наши матери, наши сестры* – фразы, распространенные в любом патриотическом/национальном дискурсе (и белорусском в том числе).

Иммиграция обостряет проблемы иерархии, подчинения и исключения. “Французская ситуация”, приводимая нами, дает пример ужесточения субординации, роста фундаментализма, усиления контроля над «первым» звеном в системе эксплуатации – женщинами. Классическое Леви-Стросса «Я бы пошел даже дальше и сказал, что еще до того, как рабство и классовое доминирование существовали, мужчины выстроили подход к женщинам, который однажды послужит тому, чтобы внедрить различия между всеми нами»<sup>348</sup>, «работает» и *vice versa*: этнические/национальные проекты конструируют женщину как «символ национальной сущности..., а также как охранитель этнического, национального и расового отличий»<sup>349</sup>.

Так, введение в марте 2005 г. запрета на исламские головные платки и другую внешнюю религиозную символику в школах, вовсе не прекратило полемику по этому поводу. Большинство мусульманок продолжают их носить в своих «взрослых» сообществах, а многие, не носившие их до этого, – одевают их теперь как знак «своего» выбора, своей идентичности (факт, который «собственно» французские феминистки не могут понять, резко осуждая *hijab* как «классическую» дискриминацию женщин в исламе).

Доминирование над женщинами (во Франции) имеет множественный характер: социальное, расовое, этническое, религиозное, гендерное как иммигрант, «низший» класс, житель НЛМа, женщина. При этом, если алжирские или марокканские женщины в самом Алжире или Марокко живут внутри «своей» структуры, социальных связей и отношений, то иммигранты-женщины во Франции испытывают двойную тяжесть, находясь в чуждой им стране, где, контролируемые мужьями, родителями, они оказываются в еще большей патриархальной тюрьме, чем у себя на родине. «Западный» социально-экономический и культурный контекст, со своими «гендерными историями», куда «вписывается» структурная асимметрия гендера «восточного», порождает не желаемую интеграцию, а сегрегацию.

Yamina Benguigui -- одна из немногочисленных женщин-режиссеров, вышедшая из семьи высокопоставленных алжирских иммигрантов и сумевшая преодолеть ее сопротивление, говорит: «Франция не признает или не говорит о нас; страны, из которых мы приехали не говорят и ничего не знают о нас; наши родители тоже молчали и ничего нам не рассказывали. Когда в школе было задание нарисовать семейное дерево, я с трудом дошла до бабушки и дедушки... Я поняла, что первое поколение, первая волна иммигрантов во Франции постепенно исчезает, и для меня казалось очень важным зафиксировать, транскрибировать их опыты. Я уверена, что мужчина-режиссер никогда не смог бы снять фильм, подобный «*Inch'Alla Dimanche*», как никогда не заинтересовался такой работой вообще. Как дочери иммигрантов,

<sup>346</sup> См. Erlich Michel. *La Femme Blessée. Essai sur les Mutilations Sexuelles Féminines*. – Paris: L'Harmattan, 1986. – 321 p.; Erlich Michel. *La Mutilation*. – Paris: Presses Universitaires de France, 1990. – 254 p.

<sup>347</sup> Jane Freedman, *Women and Immigration: Nationality and Citizenship // Women, Immigration and Identities in France* / Ed. Freedman J., Tarr C. – Oxford: Berg, 2000. – P.15.

<sup>348</sup> Цит. по A.Rich, *On Lies, Secrets, and Silence: Selected Prose (1966-1979)*. – New York: W.W.Norton, 1979, p.84

<sup>349</sup> N.Yuval-Davis, *Gender and Nation*. – London: Sage, 1997, p.116.

для меня было важно, чтобы до того, как придумывать сюжет, «поймать» память, работать с памятью»<sup>350</sup>.

Следует признать, что «работа с памятью» является вообще знаковой для французских интеллектуалов<sup>351</sup>. Многие (пост)современные гуманитарии вообще и историки в частности, столкнувшись с проблемами интерпретации своего прошлого, предпочитают не писать его *историю*, а запечатлеть его *память*. Совпадение не случайное: и так называемый «культурный/дискурсивный поворот» в историографии, порожденный по многим оценкам постмодерном, и гендерные/женские исследования апеллируют к изучению «опыта». Опыт – память. Рассказ – история. Только в результате такой работы получаются разные памяти и разные истории.

И если для француженок воспоминания о 1960-70-х несут ассоциации «trente glorieux», «libération», социальных завоеваний, то для женщин-иммигранток или их потомков-beurquettes эти годы – точка отсчета их историй, их исключения и жизни как «других». Равенство мужчин и женщин, декларируемое французским законом, не совмещается с реалиями иммиграции. «Опыт» мужской и женской иммиграций различается, совмещая в себе традиции старой родины и нового места обитания, вынужденной замкнутости этого нового мира и его консерватизмом. Даже вопросы, связанные с легализацией пребывания или с получением гражданства, очевидно гендерны.

Многие памяти и практики кажутся неприемлемыми для одних, и нормой для других: полигамия, практикуемая среди выходцев из Северной Африки и территорий к югу от Сахары и живущих ныне во Франции, вызывает осуждение и критику среди французов и француженок «de souche», но является неотъемлемым атрибутом социальной иерархии многих сообществ иммигрантов и даже символом сохранения обычной жизни и культуры предков для самих семей. Более того, если там, откуда они приехали, полигамия встречается все меньше, то в семьях в иммиграции она не только не умирает, но и увеличивается: в условиях окружающего их «чуждого» мира<sup>352</sup>. Полигамная семья «замыкает» свой мир и своих членов, постоянно воспроизводя и даже ужесточая нормы жизни перед лицом внешнего окружения. Французское законодательство в своем стремлении защитить права детей и равенство членов семьи, в случае полигамных семей оказывается бессильным. Классическая для здешней иммиграции ситуация – «воссоединение семьи» (т.е. приезд жены к уже работающему во Франции мужу) часто оборачивается тем, что жена обнаруживает себя в роли второй жены. Вторая жена, согласно французскому законодательству не имеет права на легальный статус, и естественно, на документы. Французский закон запрещает полигамию, но женщины оказываются его жертвами<sup>353</sup>.

В то же время «работа с памятью» во Франции – дело преимущественно: 1) мужское; 2) сугубо «французское».

Поясним эти утверждения на примерах. Несмотря на известность Симоны де Бовуар или Юлии Кристевой, французское образование «не густо» гендерными/женскими программами: *Ecole des Hautes études en Sciences sociales / EHESS* с несколькими семинарами по гендеру и сексуальности; CNRS и Университет Париж 8 (*Le Centre d'Etudes féminines de l'Université de Paris VIII*), проводящие исследования в гендерных/социальных проблем; исследовательские группы в университетах Лиона, Тулузы, небольшая ассоциация MNEMOSYNE (созданная на

<sup>350</sup> Из интервью Yamina Benguigui «French-Algerian: A Story of Immigrants and Identity» by Livia Alexander

<sup>351</sup> См. Histoire de la France. Dir. André Burguière et Jacques Revel. Paris, Seuil, 1993. Volume «Les formes de la culture» (trois parties: Patrimoines, Choiesies, Mémoire). – Paris : Seuil, 1993. – 601 p.; Les lieux de mémoire. /Dir. Pierre Nora. / Vol. 1-3. – Paris : Gallimard, 1997. – 4751 p.; Histoire et Mémoire. Dir. Martine Verlhac. – Centre régional de documentation pédagogique de l'Académie de Grenoble, 1998. – 99 p.; Joël Candau. Mémoire et identité. Paris : Presses Universitaires de France, 1998. – 225 p.; Paul Ricœur. La Mémoire, l'histoire, l'oubli. Paris, Editions du Seuil, 2000. – 675 p.; Les Usages politique du passe. Dir. François Hartog et Jaques Revel. – Paris: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2001. – 206 p.

<sup>352</sup> См. например: Edwige Rude-Antoine, Des vie et des familles. Les immigrés, la loi et la coutume. – Paris: Éditions Odile Jacob, 1997. – 327 p.

<sup>353</sup> Marina Da Silva. France: outsider women //Le Monde diplomatique, 2004, p.10-12.

основе журнала *CLIO, Histoire, Femmes et Sociétés* лишь в 2000 году)<sup>354</sup> – пожалуй, и все. Не случайно недавно Парижский городской совет под патронажем бывшего сенатора Даниэль Пурто утвердил премию в области гендерных исследований, руководствуясь необходимостью расширять эту «неизвестную» отрасль знания.

Теперь о «не-французской» памяти: в отличие от американской модели мультикультурализма, признания и развития «ethnic minorities», во Франции при наличии огромного числа населения, которые «официально» считаются иностранцами (тот же INED насчитывает их 3 258 539 только на 1999 год) экаунты об «иных» опытах и памяти пробивают себе дорогу с большим трудом (и при поддержке не столько со стороны самих французов, сколько англо-американских авторов и издательств в странах их происхождения<sup>355</sup>). Тематика этой «иной» памяти связана с «промежуточным» положением иммигрантов и их потомков, поисками себя, своей идентичности, проблемами адаптации и интеграции<sup>356</sup>.

Сложившаяся во Франции ситуация, связанная с пересечением гендерной, этнической, расовой, религиозной, социальной идентичностей, конфликтом «центра», создающего «другого», и «периферии», которая воплощает в себе этого «другого», не уникальна. Феномены глобализации и миграции, сталкивая между собой различные идентификации, осмысливаемые постмодернизмом, затрагивают и Старый, и Новый свет. Только если для просвещенного [западного] интеллектуала постмодернизм является «уделом» и «нашей судьбой», то для просвещенного [африканского] интеллектуала, «прославленный постмодерн немногим больше, чем просто лицемерное самобичевание и плач скучающих и испорченных детей гиперкапитализма»<sup>357</sup>.

И в этом мы видим коренное отличие теории ставших культовыми мультикультурализма и Другого, прокламируемых на французской родине постмодерна, от их преломления в реалиях французской жизни сегодня. Акцентированный в конце 80-х Ц.Тодоровым разрыв теории и практики французской интеллектуальной жизни, сегодня достигает своего апогея: демократически настроенные толпы студентов громят свои демократически настроенные университеты и требуют большей демократии; ощущающие себя «другими- французами», но исключенные как потомки иммигрантов, молодые люди пригородов требуют равноправия; «другие» среди них и среди самих французов женщины (об этом свидетельствует успех движения «Ni putes ni soumises») требуют признания своих прав... Когда мятежные 1960-е обозначили начало эры постмодерна в западной интеллектуальной традиции, это логично совпадало и подпитывало/сь движением «снизу» -- тех самых «исключенных» из доминировавшего дискурса мужской, взрослой, белой, гетеросексуальной части современного общества. Эти движения испытывали и продолжают испытывать сильное влияние традиций западных интеллектуалов, однако это влияние не случайно приобретает приставку «пост»:

<sup>354</sup> Благодарю за предоставленные сведения И.Р.Чикалову.

<sup>355</sup> Экаунты об «иных» опытах и культурном разнообразии только начинают свое распространение во французской интеллектуальной среде. См. например: Nacira Guénif Souilamas. Des "beurettes" aux descendantes d'immigrants nord-africains. – Paris, Grasset/Le Monde, 2000; Emmanuel Todd, Le destin des immigrés. Assimilation et ségrégation dans les démocraties occidentales. – Paris: Seuil, 1994. – 470 p.; Les migrations au féminin, edited by Mohamed Charef. Agadir: Editions Sud-Contact; Dubar, Claude. 2000; Immigrant Narratives in Contemporary France. / Eds. Susan Ireland, Patrice J. Proulx. – Westport, Conn.: Greenwood Press, 2001. – 234 p.; M. Silverman. Deconstructing the Nation: Immigration, Race and Citizenship in Modern France. – London: Routledge, 1992. – 204 p.; Ardizzoni, Michaela. Unveiling the Veil: Gendered Discourses and the (in)Visibility of the Female Body in France // Women's Studies 200433(5). – p.629-649; Chaib Sabah. Women, Migration and the Labour Market: The Case of France. // Gender and Insecurity: Migrant Women in Europe. / Ed. Jane Freedman. – Aldershot, Hants, England; Burlington, VT: Ashgate. 2003. – P.107-117.; Killian, Caitlin. Culture on the Weekend: Maghrebin Women's Adaptation in France. // International Journal of Sociology and Social Policy. 2002. 22(1-3). – p.75-105.

<sup>356</sup> Schuerkens Ulrike, Migration africaine et littérature. 9th EADI (European Association of Development Research Institutes) General Conference « L'Europe et le Sud à l'aube du 21e siècle: Enjeux et renouvellement de la coopération ». – P.3 etc.

<sup>357</sup> Ekpo, Denis. Towards a Post-Africanism: Contemporary African Thought and Postmodernism // Textual Practice. 1995. 9.1. – P.121-135.

постколониализм, постфеминизм... Наложение европоцентристки построенных образов «Других» на этих «других», деформирует и рождает новые мутации в самих «других». Такие мутации в виде миграций, радикализации настроений, усилении фундаментализма, насилия и т.п. вызывают недовольство и замешательство не только у обывателей, но и среди самих теоретиков постмодерна (будь то высказывания видного защитника «инаковости» Цветана Тодорова, или недавняя публикация Терри Иглтона...). Между тем мир по-прежнему несет в себе стигму «западного» видения: «Мы здесь, потому что вы были там!»<sup>358</sup> -- иммиграционные проблемы во Франции являются следствием ее колониальной политики. Постколониализм по-прежнему оставляет глубокие следы. «Что такое «красивые волосы» (*beaux cheveux*)? – вопрос, заданный в гваделупской школе, получает ответ, приобретающий символическое значение: «Это гладкие/прямые волосы» (*cheveux lisses*). Норма по-прежнему европоцентрична. Психоаналитик вспомнил бы здесь специальный термин -- «идентификация с агрессором», который предполагает особый тип психической защиты, когда жертва идентифицирует себя с агрессором, а завоеванный – с победителем. Последователь постколониальных исследований назвал бы это «эффектом колониализма», одним из проявлений его постколониальных последствий.

(Пост)современность рождает столкновение не столько «нас» и «других», сколько образов, взаимно навязываемых и накладываемых друг на друга. Не случайно Д.Харвей отмечает: «Взаимоналожение различных миров друг на друга в постсовременных условиях, миров, где в точке сосуществования преобладает некоммуницируемая “инаковость”, имеет странное отношение к усилению геттоизации, изоляции неимущего населения и представителей меньшинств...»<sup>359</sup>.

Эти катаклизмы «инаковости» порождают различные оценки и настроения. Известный своими максималистскими высказываниями Славой Жижек привел их в «чистом» виде, который кажется далеко не радужным: «(1) признание культурных войн (феминистской, антирасистской и т.п. мультикультуралистской борьбы) в качестве основного пространства освободительной политики; (2) чисто оборонительная установка на защиту достижений государства всеобщего благоденствия; (3) наивная вера в киберкоммунизм (идея о том, что новые медиа непосредственно создадут условия для возникновения нового подлинного сообщества); (4) и, наконец, «третий путь», сама капитуляция»<sup>360</sup>.

Кому-то эти наблюдения «из западной» жизни могут показаться неактуальными, как кажутся неприменимыми к «нашему» опыту сферы постколониальных, национальных исследований, распространенных в западной историографии. Потому ли, что пугает перспектива покуситься на святое -- «советскую империю», или из-за кажущейся «далекости» от сегодняшних реалий, но темы «инаковости», идентичности<sup>361</sup>, при-надлежности и ис/включения практически не звучат среди белорусских историков. Между тем именно исследования в этой сфере помогают «разоблачить» многие привычные, но порочные истины. «Иммигранты» (как синонимы в данном случае могут подойти «женщины», «цветные», «евреи», «арабы»...) -- «другие», не потому, что не хотят «включаться», а потому, что экономические и социальные условия не позволяют этого, и даже напротив, способствуют их исключению.

Не проводя явных аналогий, я все же хочу выделить возможности для анализа белорусской действительности с точки зрения изучения механизма и форм этого активного и пассивного исключения, институционального и социального исключения, наследия колониализма,

<sup>358</sup> «We are here because you were there» -- Постер, цит. по Andrienne Rich, Notes Toward A Politics of Location // Feminist Postcolonial Theory. A Reader. Ed. Reina Lewis and Sara Mills. – Edinburgh University Press, 2003.

<sup>359</sup> David Harvey, The Condition of Postmodernity. – Oxford: Blackwell, 1989. – P.114.

<sup>360</sup> Жижек С. Тринадцать попыток о Ленине. //Главы из книги, вышедшей в русском переводе в издательстве Ad-Marginem, опубликованы в журнале: Критическая Масса, 2003, №2.

<sup>361</sup> Я не рассматриваю здесь распространение исследований про «белорусскую идентичность», поскольку они в большей части выступают с перспективы ее «врожденного», природного, а не дискурсивного характера.



идентификации себя с «колонизатором». Наши «тутейшасць» и «западно-руссизм» могут стать отправной точкой такого анализа.

«Французский опыт» может показаться важным и для Беларуси в контексте осмысления феноменов исключения и преобразования того, что тот же С.Жижек назвал прогрессом не столько в «уменьшении значимости насильственного принуждения, но также и в признании того, что насильственное принуждение ранее воспринималось как «естественное» состояние вещей»<sup>362</sup>].

Уже упоминавшийся выше видный представитель постколониальных исследований, защитник палестинского народа, блестящий аналитик, известный американский профессор Эдвард Саид оставил символический пример ситуации осмысления идентичности и инаковости в сегодняшней историографии. Его труд «Ориентализм» (1979) до сих пор «осваивается» интеллектуалами многих стран<sup>363</sup> как модель деконструкции созданных Западом стереотипов Востока как Другого; как образец критики европоцентристского деления мира на неравные (и противостоящие друг другу) части «Запад» и «Восток»; как схема применения фукольдьянского понимания знания-власти на примере поисков идентичности восточными интеллектуалами, разрывающимися между знаниями (и идентичностью) колонизаторов и осознанием себя Другими...

Американская историография развивает эту тему и в постколониальных исследованиях, и в рефлексиях над будущим своей нации. «Американский *народ* или американские *народы*?» -- задаются вопросом Стивен Уайтфильд и другие авторы в коллективном сборнике исследований «Американский народ. Истоки, иммиграция, этничность и идентичность»<sup>364</sup>. Ставя акцент на историческом доминировании «белого англо-саксонского протестанта» (WASP – White Anglo-Saxon Protestants), исследователи анализируют перемены, происходящие в США под влиянием принципов мультикультурализма, «политической корректности», глобализации и т.п. Какое будущее ожидает страну, каковы модели интеграции сегодняшней американской культуры, станет ли она пространством наконец реализованной иррациональной утопии или, напротив, воплощением галлюцинативного космоса «Бегущего по лезвию бритвы» с его постоянными конфликтами и разрозненностью? Эти вопросы, породив обширную сферу исследований, пока остаются без ответа. Определенно признается лишь, что будущее американского народа лежит в сосуществовании субкультурных идентичностей в общем русле транс-американской нации<sup>365</sup>.

С другой стороны, иронизирует американский историк Томас Бендер, «за последние двадцать лет новая американская история была написана»<sup>366</sup>. Имеется в виду не «конечная версия», а процесс перепрочтения старых сюжетов на новой основе, главным образом, микро-социальной истории, культурной теории, и еще шире – само поле «исторического» стало пониматься значительно больше, заменены новыми старые унаследованные от прошлого нарративы и введены незнакомые темы<sup>367</sup>. Работы последних лет пересматривают ключевые для американской истории темы, включая в их контекст афро-американское, индейское население, прослеживая индивидуальные «опыты», идеи, формирование идентичности, материальный мир<sup>368</sup>.

<sup>362</sup> Zizek S. From Joyce-the-Symptom to the Symptom of Power. Пер. на русский А.Смирнова // Lacanian ink 11, Fall, pp 12-25.

<sup>363</sup> Перевод на русский язык: Эдвард Вади Саид. Ориентализм. Западные концепции Востока / Пер. с англ. А. Говорунова. – СПб.: Русский Мир, 2006. – 638 с.

<sup>364</sup> См. Phippe Jacquin, Daniel Royot, Stephen Whitfield. Le Peuple Américain. Origines, Immigration, Ethnicité et Identité. – Paris: Seuil, 2000. – 563 p.

<sup>365</sup> См. Lind Michael. The Next American Nation: The New Nationalism and the Forth American Revolution. – New York : Free Press, 1996. – 448 p.

<sup>366</sup> Его ирония не случайна, т.к. именно под этим названием появилась и была переиздана книга The New American History. / Ed. Foner E. – Philadelphia, 1997.

<sup>367</sup> Thomad Bender, Strategies of Narrative Synthesis in American History // American Historical Review, 2003, Vol.107. #1. – P. 129-153.

<sup>368</sup> Ira Berlin, Many Thousands Gone: The First Two Centuries of Slavery in North America. Cambridge, Mass., 1998; Joyce Appleby, Inheriting the Revolution: The First Generation of Americans. Cambridge, Mass., 2000;



Как переживает ситуацию своей «постоколониальности» французская историография? Не давая категоричных оценок, отметим то, что очевидно: темы, связанные с колониальным прошлым, только в последние несколько лет перестают носить акцент болезненной табуированности и начинают «осваиваться». Пока преимущественно политиками, философами и литературоведами. Так, тема «иммигрантов» присутствует практически у всех претендентов 2007 года на президентский пост во Франции. Н.Саркози даже разыгрывает ее как свою «козырную карту»: что толку умалчивать о том, что уже существует? надо научиться с этим жить и управлять. Французам предлагается, с одной стороны, новая концепция «французскости», построенная на принципе уважения ценностей сообщества, а не на этничности, а с другой – создание министерства иммиграции, способного «управлять» ситуацией (тот же Н.Саркози саркастически подчеркивал в своей речи, что из 13 стран - «старых» членов ЕС лишь одна Франция не имела такого административного органа, предпочитая «не замечать» его необходимости).

Философское наследие Э.Левинаса, Р.Барта, Ж.Деррида, заложившее начала осознания проблем «инаковости», начинает входить во французскую историографию лишь в последние годы. В общей атмосфере актуальности поднятых *банлью* проблем, французские исследователи начинают освоение «других», пока преимущественно с позиций «своих»: первыми в этом процессе выступают социологи, культурологи, литературоведы<sup>369</sup> и... историографы<sup>370</sup>.

---

Robert V. Hine and John Mack Faragher, *The American West: A New Interpretive History*. New Haven, Conn., 2000; 74 Daniel T. Rodgers, *Atlantic Crossings: Social Politics in a Progressive Age*. Cambridge, Mass., 1998 и др.  
<sup>369</sup> См. например: Michel Wieviorka. *La différence*. Paris: Balland, 2001; *L'avenir de l'islam en France et en Europe* (Les Entretiens d'Auxerre). Dir. Michel Wieviorka. Paris: Balland, 2003; *Un autre monde... Contestations, dérives et surprises de l'antimondialisation*. Dir. Michel Wieviorka. Paris: Balland, 2003; *L'empire et son double: pouvoir et légitimité*. Publ. par le CEREC, Centre d'études et de recherche sur l'Empire et le Commonwealth, Université de Paris XII-Val-de-Marne; dir. Évelyne Hanquart-Turner. Ivry-sur-Seine; Yaoundé : Silex-Nouvelles du Sud, 2003; Liauzu, Claude. *Passeurs de rives: changements d'identité dans le Maghreb colonial*. Paris; Montréal (Québec): l'Harmattan, 2000.

<sup>370</sup> Hartog F. *Le miroir d'Hérodote: essai sur la représentation de l'autre*. Paris : Gallimard, « Bibliothèque des Histoires », 1980 [2e édition -- 1991]. Англ. перевод: *The Mirror of Herodotus: The Representation of the Other in the Writing of History*, 1988; его же. *Mémoire d'Ulysse*. Paris : Gallimard, 1996. Англ. перевод: *Memories of Odysseus: Frontier Tales from Ancient Greece*. Chicago: University of Chicago Press. 2001.

## Часть 4. «НОВЫЕ»: ИСТОРИЗМ, ИСТОРИОГРАФИЯ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

### 4.1. Ретроспективы и перспективы интеллектуальной истории

Коротко говоря, идея является прежде всего не только могущественной, но и упрямой вещью; она обычно имеет свое собственное «лицо», и история мысли есть двустороннее дело – история движений и взаимодействий между человеческой натурой, крайностями и превратностями физического опыта, с одной стороны, и специфических природы и прессы идей, вплоть до самых разных побуждений (promptings), приходящих им в голову, с другой.

*Arthur O. Lovejoy. Reflections on the history of ideas, 1940, reprinted in: The History of Ideas: Canon and Variations. Ed. By Donald R. Kelley. University of Rochester Press, 1990, с.23*

Если кто-нибудь задастся вопросом, нужна ли интеллектуальная история, то еще в 1940 г. Лавджой предложил простой ответ: «Если... апологией любого занятия историей является только человеческая заинтересованность в изучении ее эпизодов и движущейся драмы жизни человечества в целом, то данное исследование («история идей» -- ОИ) оправдано в высшей степени»<sup>371</sup>.

Кто-то может связывать интеллектуальную историю с историей философии (и тогда ее корни можно вести от Платона и Аристотеля с их критикой своих предшественников). Но все же более принято связывать интеллектуальную историю с именем Артура Лавджоя и его соратниками, с деятельностью журнала *Journal of the History of Ideas*, который тоже в большой степени был детищем все того же Лавджоя, а «манифестом» движения считать его книгу «*The Great Chain of Being*» («Великая цепь бытия», 1936).

Оригинальными идеями Лавджоя были следующие: создать историю идей как междисциплинарное предприятие, которое бы стояло на перекрестке двенадцати полей (история философии, история науки, фольклора, этнографии, частично историю языка, история религиозных верований, история литературы, история искусства, экономическая история, история образования, политическая и социальная история, историческая составляющая социологии); вычленять и изучать «идеи» -- некие единицы-блоки в культуре, циркулирующие как составные части разнообразных учений и теорий в различных областях знания. Таким образом, с самого начала в понятие «история идей» вкладывалось изучение того, как возникают и распространяются новые убеждения и интеллектуальные формы.

Один из лидеров «интеллектуальных историков» Дональд Келли характеризовал позиции Лавджоя как «эклектические». Келли писал, что сам Лавджой не был «первопроходцем», поскольку основная мысль, проходящая сквозь все лавджоевские построения, -- это вера в мобильность «идей», так называемых «unit-ideas» -- валюту для всех этих исследовательских полей и орудие интеллектуальной истории. А эта мысль варьировалась уже в трудах лидера эклектической школы Виктора Кузана (см. последнюю книгу Келли, где он целую главу, если не больше, посвятил Кузану<sup>372</sup>), а тот, в свою очередь, тяготел к германским концепциям, был проводником интердисциплинарного и исторического подходов и платоновских «идей». Такое самоосмысление, признание себя (или своей исследовательской доктрины) «наследниками», является показательным для интеллектуальных историков – ведь все идеи «наследуются», и собственно свою задачу они видят в том, чтобы проследить эти генетические линии.

Пережив период критики и упадка, в 1960-1970-е гг. лавджоевская «история идей» переосмыслила себя в плане «социализации» (не только «сияющие вершины», но и идеи

<sup>371</sup> Lovejoy A.O. Reflections on the history of ideas // *The History of Ideas: Canon and Variations*. Ed. By Donald R. Kelley. University of Rochester Press, 1990, p.6.

<sup>372</sup> См. Kelley D.R. *The Descent of Ideas. The History of Intellectual History*. Great Britain, Ashgate, 2002.

«простых» людей, *common sense*). А потом в 1980-е гг. началось ее «шестивие», если не «победное», то всяком случае, весьма авторитетное, по мировой историографии, и под знаменем уже лингвистического поворота, внимания к языковому сознанию... Эта «новая интеллектуальная история» еще и очень хорошо совпала с общим настроением постмодерна на децентрированность, ведь по Лавджою идеи переходят без границ из одной области в другую, «существует периодическая “вибрация” между интеллектуалистскими и антиинтеллектуалистскими тенденциями – например, между классицизмом и романтизмом»<sup>373</sup>. Тем самым интеллектуальные историки идут вполне в русле общей критики идеи прогресса постмодернистами.

Как писал Дональд Келли, «история идей начиналась как *междисциплинарное* предприятие, и таковым она остается, по крайней мере, в работах своих лучших представителей. Некоторые из ее посылок, проблем, ожиданий остаются в своей классической лавджоевской форме. Из них я бы особенно выделил осознание роли истории не только с точки зрения науки и философии, но также и культуры, сверхрациональных сил идеологии и бессознательного; признание «лингвистического поворота» в философии и роли риторики в историческом исследовании; акцент на вопросах ценности, эстетики и морали в исторической работе; герменевтическую необходимость различать “уровни смыслов” в исследовании текстов и, говоря шире, прошлого»<sup>374</sup>.

Однако уже в 1980-е гг. историки по-разному определяли эту область. Так, Р.Шартье, приводя несколько взаимопротиворечивых определений (например, Роберта Дарнтона, который считает, что интеллектуальная история включает: «...историю идей (изучение систематических форм мышления, представленных, как правило, в философских трактатах), собственно интеллектуальную историю (изучение неформальных видов мышления, состояния общественного мнения и литературных движений), социальную историю идей (изучение идеологий и распространения идей) и культурную историю (изучение культуры в антропологическом смысле, включающее изучение картины мира и коллективных *mentalités*»<sup>375</sup>)

По мнению Р.Шартье, На самом деле эти определения используют различную терминологию для того, чтобы сказать одно и то же — что область истории, известная как интеллектуальная история, фактически охватывает все формы мысли и что ее объект априори определяется не намного более точно, чем предмет социальной или экономической истории.<sup>376</sup>

Говоря о взаимоотношениях интеллектуальной истории и лингвистического поворота, следует отметить несколько основных течений внутри самого этого направления. Так, позиция Дональда Келли (редактор журнала «История идей») заметно менялась на протяжении 1980-1990 гг.

Келли, разделяя многие позиции своего идейного наставника А.Лавджоя, еще в 1987 г. пишет о том, что ситуации с новыми идеями все время повторяются в истории, и в целом иронично-скептически относится ко всяким «нео» и «пост» «-измам»: «Одной из главных черт мысли XX в. ...был знаменитый «лингвистический поворот», который на самом деле нацелен на обнаружение риторического измерения идей. И все же такой «поворот» – вряд ли что-то новое, он привлекал многих критиков традиционной «философии» на протяжении веков – от Оккама до Валла, от Рамуса (Петрус Рамус – философ, занимавший умы молодежи средневековью после Аристотеля – О.Ш.) до Вико». Этот поворот оказал большое влияние и на интеллектуальную историю, особенно в том, что Келли называет, не делая различий,

<sup>373</sup> Kelley D. Introduction // *The History of Ideas: Canon and Variations*. Ed. By Donald R. Kelley. University of Rochester Press, 1990, p.ix.

<sup>374</sup> Ibid., p.xii.

<sup>375</sup> Darnton Robert. *Intellectual and Cultural History // The Past Before Us: Contemporary Historical Writing in the United States* / Ed. by Michael Kammen. Ithaca; London: Cornell University Press, 1980, p. 337.

<sup>376</sup> Роже Шартье, *Интеллектуальная история и история ментальностей: двойная переоценка* // Новое литературное обозрение, 2004, № 66.

«текстуализм»<sup>377</sup>. Следуя традиции, Келли анализирует идейные истоки, линию, взятую сегодня постмодернистами. Откуда она идет? Кант, который считал, что философия должна найти некую истинную «критическую» позицию, некую точку отсчета, с которой можно видеть, судить и, возможно, даже продвигать человечество. Дильтей, Гадамер с вариантами осмысления языка и философской герменевтикой (нео-нео-кантианская критика). На смену им пришли их «новые левые» – постмодернисты...

С самого начала «постмодернистских» влияний в интеллектуальной истории присутствует несколько течений: Д.Келли, занимающий среднюю позицию (правда, с заметным «потеплением» к различным «постам» в своей книге 2002). Более «крайнюю» в отношении постструктурализма позицию занимает Доминик Ла Капра, который во многом разделяет взгляды Уайта, Рорти... Д.Келли называет Ла Капра американским «дерридианцем» и дает весьма решительную характеристику всему этому крылу: в своем стремлении более высокого (и нового) «критицизма» они создали новый фетишизм из текста “and potentially new mandarin and rabbinic of criticism”<sup>378</sup>. К слову сказать, уже через десять лет («Историческое воображение», 1997) он становится заметно «мягче», да и сама постановка вопроса об исследовании *воображения* в истории, о близости истории и литературы – это уже сильное «потепление» в сторону постструктурализма.

Любопытный факт мы находим у Д.Келли в его оценках: в стремлении «охватить» многие направления в современной историографии, он сумел заметить психоисторию. Тем не менее, сама «идея» психоистории представлялась ему в свете, далеком от реального положения дел: «“Психоистория”, являющаяся возможно самой крайней попыткой понять генезис идей, не пользуется уважением среди интеллектуальных... историков. Если она не будет редуционистской, то возможно, все-таки психолингвистический анализ текстов сможет показать, что авторы имели в виду». Центральной темой психоистории, которая на протяжении последних десятилетий еще усилилась, была и остается редуционистская «защелкнутость» психоисториков на детстве как отправной точки всей истории. Этого Келли (в 1987 г.) увидеть не смог, и даже считал, что «в целом, историки могут благосклонно относиться к той психоистории, которая нацелена не на редукцию или на «демистификацию» (по классификации Рикера), но на раскрытие смыслов, не только на снятие маски, но и, скорее, на реставрацию первоначальных масок»<sup>379</sup>.

Раскрывая перспективы развития интеллектуальной истории в 1987, Келли пишет о «новых историях», о междисциплинарных проектах, о перспективе для интеллектуальной истории перейти к «социальной истории идей», о позициях марксизма, благодаря его хамелеоновски-изменчивой природе (в версии ли Ф.Джеймсона, или Терри Иглтона), о недавно открытых для Запада работах М.Бахтина и конечно, о семинальных идеях Лавджоя, остающихся все еще актуальными<sup>380</sup>.

Жизненные реалии показали даже большее разнообразие путей эволюции истории идей. Другой известный интеллектуальный историк Доминик Ла Капра не только разделил позиции лингвистического поворота, но и фактически с самого начала следовал в русле идей таких его представителей, как Р.Рорти и Х.Уайт. В целом же, вопрос, ставившийся когда-то историками идей «должна ли история идей принять лингвистический поворот»<sup>381</sup>, сегодня звучит риторически, потому что это принятие уже состоялось.

Генеральная линия интеллектуальных историков по отношению к постмодерну вообще и его «поворотам» в частности когда-то диктовалась общим подходом к «новшествам» в интеллектуальной культуре. «Если вы хотите пророчество о будущем..., самое безопасное и

<sup>377</sup> Kelley D. Horizons of Intellectual History: Retrospect, Circumspect, Prospect // The Journal of the History of Ideas, 1987, vol.48, p.152.

<sup>378</sup> Ibid, p.157.

<sup>379</sup> Ibid, p.164.

<sup>380</sup> Ibid, p.164.

<sup>381</sup> См. Martin Jay. Should Intellectual History Take a Linguistic Turn?, In: La Capra D., Kaplan S. Modern European Intellectual History: Reappraisals and New Perspectives. Ithaca, 1982.

точное, что вы можете сделать, это взять наиболее почитаемых сегодня идолов и предсказать, что они, рано или поздно, снут ужасными гоблинами, а после этого – снова идолами... Настроения радикального интеллектуализма всегда сопровождаются анти-интеллектуализмами какой-либо разновидности»<sup>382</sup>, писал А.Лавджой еще в 1940 г.

Тем не менее, и история идея пережила период перестройки по образцу «радикального интеллектуализма»: эволюция истории идей привела ее и к новому пониманию «идей»: вначале к «социальной истории» идей, с акцентом на изучении не столько идей интеллектуальной элиты, сколько идей, разделяемых массами, ментальностей, народной культуры, верований, предрассудков и т.п., а затем, в «новой интеллектуальной истории», -- к сегодняшнему лингвистическому пониманию культуры, ее «языковой» обусловленности, создающей фундамент для общности «идей».

«Да, все же изменение налицо; и я могу проследить среди историков значительный поворот от спиритуального мира идей к человеческим условиям языка, интерпретации, коммуникации и культурной конструкции»<sup>383</sup>, констатирует в 2002 г. Дональд Келли.

Таково и новое наполнение (или может быть, дополнение?) к «традиционным» сферам исследовательских интересов историографии. С одной стороны, история идей, понимаемая не просто как одно из направлений деятельности историков или ее новое исследовательское поле (наряду с гендерной, устной, повседневной и т.д.), а как нечто более значимое -- изучение исторических категорий мышления, интеллектуальной деятельности, исторического развития интеллектуальной сферы (включая и ее философские, и художественные, и естественно-научные части), как новый способ познать то, как видели мир в прошлом, как это видение менялось, как мы видим это видение сегодня.

С другой стороны историография, как история идей, составляющих историческое и культурное сознание эпохи. Это движение навстречу усилит позиции историографии в осмыслении места истории в постмодернистском мире, создаст возможности для интеграции исторического знания в более «целостную» картину.

Мы не случайно вынесли в эпиграф слова А.Лавджоя. Написанные более 60 лет назад, в сегодняшнем контексте «новой интеллектуальной истории» они приобретают новый смысл, выражающийся в осознании взаимообусловленности истории самих идей, с одной стороны, и истории условий и форм интеллектуальной деятельности, с другой.

Конечно, теоретически у интеллектуальной истории формулируются «свои» задачи, отличные от социальной или культурной историй, однако на деле исследовательские подходы и объекты зачастую смыкаются. К сегодняшнему дню интеллектуальная история все больше уходит от первоначальных «идейных» (лавджоевских «идей-блоков») принципов к широкому определению «интеллектуального», становясь по сути исследовательским направлением, где главной отличительной чертой является изучаемая «сфера» – интеллектуальная деятельность.

При этом в своей «новой» версии интеллектуальная история ставит задачи изучения тех социальных, религиозных, политических контекстов, в которых развиваются идеи. Даже более того, изучение социо-культурного контекста идеи сочетается с изучением опыта освоения ее «массами», процессов символического воплощения в культуре «элит» и «народной культуре» и т.д. Это фактически сближает интеллектуальную историю с идеей «культурного поворота», о котором мы писали выше. Исследования не столько абстрактных идей, сколько их «отражений» в прошлом; изучение не только творчества интеллектуалов, но и «опыта» усвоения и трансформации их идей в широких слоях общества.

Объектами для изучения в интеллектуальной истории становятся сегодня «идея Европы», «благотворительность», «цивилизация и варварство», но не теряются и те исконно декларируемые интеллектуальными историками аспекты, которые связаны с историей науки, научных открытий и их последствий, особое внимание по-прежнему концентрируется на выдающихся личностях прошлого, но с акцентом на погруженном прочтении их текстов в стиле «лингвистического поворота».

<sup>382</sup> Lovejoy A. Reflections on the history of ideas // The History of Ideas: Canon and Variations, p.21

<sup>383</sup> Kelley Donald R. The descent of ideas: the history of intellectual history. Ashgate, 2002, p.7.



Пристальному (пере)прочтению подвергаются сегодня многообразные идеи – от идей Просвещения, Ренессанса (особенно в рамках сравнительно недавно утвердившейся в историографии парадигмы «нового историзма», речь о которой пойдет ниже), освоения Нового Света, до конструирования и трансляции идеи «национального», интеллектуальных истоков структурализма, идеи демократии в эру модерна<sup>384</sup> и т.п. Как и в иных сферах западной историографии, в новой интеллектуальной истории заметна тенденция усиления внимания к случайным, не оформившимся «институционально» видам идей и даже к изучению возможных альтернатив в восприятии человеком прошлого «вызовов» времени, стремление показать «интеллектуальную атмосферу» конкретного промежутка времени, анализ путей распространения новых идей<sup>385</sup>. Это также отражает влияние «культурного поворота» в историографии, потребовавшего от интеллектуальной истории пересмотра своих содержательных и методологических оснований.

В последнее время называться «интеллектуальным историком» стало модно. Действительно, вроде бы много работ, написанных о каком-то мыслителе, школе или даже «ментальности» сейчас претендуют на то, чтобы называться «интеллектуальной историей» (и моя собственная книга об американской психоистории тоже), но это не совсем так, и дело здесь даже не в тематике или терминах, а в том, что интеллектуальной истории присуща черта, как пишет российский исследователь Сергей Зенкин, «самая безобидную из всех, — междисциплинарный, точнее, даже вовсе внедисциплинарный характер изучаемого ею материала. Чтобы стать предметом исследования в рамках интеллектуальной истории, “идея” должна обособиться от конкретного социального дискурса, сделаться автономной монадой, способной мигрировать из одной культурной среды в другую: из философской рефлексии в политическую демагогию, из научных дискуссий в газетную сенсацию, из религиозных верований в литературную игру – или же наоборот. История идей становится таковой лишь тогда, когда начинает изучать не только *филиацию*, но и *адаптацию* идей, их “перевод” на различные языки культуры — включая сюда, конечно, и перевод в буквальном смысле, с одного национального языка на другой, но также и переосмысление, переоформление согласно разным формам общественного сознания. Такой “ликвидности” идей, не привязанных к той или иной дискурсивной системе (не важно, “прогрессивной” или “реакционной”, — в том-то и дело, что границы между теми и другими оказываются проницаемыми!), советский строй потерпеть не мог: это означало бы хотя бы в теории допустить их бесконтрольную циркуляцию в обществе, а именно ей и призваны (были?) препятствовать жесткие границы между “философией” и “литературой”, “политикой” и “наукой”, “мифом” и “теорией” и т.д., административно размежеванные кафедры, журналы, факультеты и НИИ. Интеллектуальная история — это, в сущности, школа интеллектуальной свободы, причем свободы научно ответственной, критичной и просвещенной; в этом смысле ее постепенное утверждение в российской науке (существует Общество интеллектуальной истории — филиал соответствующего международного общества, проводятся конференции, выходят книги и периодические сборники и т.д.) — знак новых времен<sup>386</sup>.

В свете того расширения содержания, которое характерно для сегодняшней интеллектуальной истории, даже то, что мы традиционно называем историографией, может пониматься как «интеллектуальная история», но с оговоркой: если мы в своей историографии прослеживаем идеи, бытовавшие в историческом сознании, их перетекание, связи, эволюцию и мутации, тогда да. Если мы представляем историографию как перечисление авторов и описание их произведений, даже и с постановкой их в пресловутый «исторический контекст», то нет.

<sup>384</sup> См. например, Ralph Ketcham, *The Idea of Democracy in the Modern Era*. University Press of Kansas, 2004 etc.

<sup>385</sup> См., например, Martin Jay, *Songs of Experience: Modern American and European Variations on a Universal Theme*. University of California Press, 2004.

<sup>386</sup> Зенкин С. Русская теория и интеллектуальная история. Заметки о теории.// Новое литературное обозрение, 2003, №61: <http://magazines.russ.ru/nlo/2003/61/zen.html>

Вопрос: как соотносить интеллектуальную историю, историю философии, историю литературы, историографию (или лучше, историю исторической мысли) – как соотносить такие, казалось бы, разные «точки отсчета» идей? Несмотря на то, что неисчислимо многообразие, идеи

1) все имеют нечто общее – язык. Конструкции языковые, при этом созданные путем нарратива... Это и есть первая причина осознания общности этих разных «историй» как всеобщей истории нарратива;

2) взаимосвязанность мира культуры (которая уже, кстати, родила феномен так называемой междисциплинарности или интердисциплинарности).

Из этого следуют два тезиса: (а) изучение истории интеллектуального развития вообще даст колоссальное взаимообогащение и приращение знания; (б) изменения не могут происходить только в одном месте без последующих/одновременных перемен в других областях. Какова эта взаимосвязь? Если это выяснить и соотносить хронологически (а может быть, лучше в проблемной? или структурной? зависимости), то это и будет интеллектуальная история, самой высшей пробы<sup>387</sup>.

Интеллектуальная история, и в ее лавджоевском понимании, и в ее «социально-культурном» контексте, и в ее обновленном виде с лингвистической подоплекой, открывает в этом смысле широкие перспективы. Без такой истории мы останемся неизвестны не только западному миру, но и *самим себе* (пример: в Национальной Библиотеке Франции, где хранится более 13 млн. книг, 250 тыс. томов рукописей, 350 тыс. томов периодических изданий, 12 млн. эстампов, фото и еще десятки миллионов музыкальных записей, карт, аудиодокументов и мультимедиа – среди всего этого богатства белорусская история представлена примерно двадцатью книгами, в большинстве своем зарубежных авторов или изданиями об архитектуре и живописи).

Интеллектуальная история открывает путь к осмыслению себя и своего мира. Каковы были центральные «специфически»-белорусские идеи? И можно ли так формулировать вопрос; развивалась ли белорусская культура в европейском «мэйнстриме»? Какие эволюции претерпевали общеевропейские идеи в «белорусском контексте» в литературе, искусстве, философии, социальных движениях? Как менялись стандарты морали, образовательные методы, вкусы? Каково было взаимовлияние научных открытий и общественной мысли и преломление их в повседневности? Как менялось содержание таких идей и доктрин, как эволюция, прогресс, примитивизм, индивидуализм, коллективизм, национализм, расизм, теорий о человеческих мотивациях, человеческой природе, обществе и т.д.<sup>388</sup>

Так что на вопрос о статусе истории в период «вызовов», ответим так: остается история как наиважнейшая часть процессов идентификации, культурного производства и воспроизводства, без которой общество не сможет функционировать,...и остается историография как часть идентификации самой истории.

Остается и «поэтическая», по определению А.Марвика, составляющая истории – осознание, как писал Жорж Макалей Тревельян, “почти чудесного факта, что однажды, по этой земле... ходили другие мужчины и женщины, такие же реальные, как мы сейчас, имеющие собственные мысли, снедаемые своими страстями, но сейчас все они ушли, поколение за поколением, ушли так же, как и мы вскоре уйдем, подобно призракам с рассветом” – в нашем воображении существует «инстинктивная жажда разрушить барьеры времени и смертности и расширить границы человеческого сознания за пределы человеческой жизни»<sup>389</sup>.

<sup>387</sup> Kelley D. Horizons of Intellectual History: Retrospect, Circumspect, Prospect // The Journal of the History of Ideas, 1987, vol.48, с.152.

<sup>388</sup> Приводимые здесь «идеи» в принципе были сформулированы еще в 1940 г. Лавджоем: Lovejoy, Arthur O. Reflections on the history of ideas // The history of ideas: canon and variations, p.7.

<sup>389</sup> George Macaulay Trevelyan. Цит. по Marwick A. The Nature of History. GBr, Unwin Brothers LTD, 1981, p.16.

## 4.2. Содержание и формы истории в концепции Хэйдена Уайта

Иногда говорят, что проект Просвещения потерпел неудачу. Но на самом деле у Просвещения было два проекта: политический и философский. Первый о том, чтобы сделать мир раем, без каст, классов и жестокости. Второй – найти такой взгляд на мир, который бы заменил Бога Природой и Разумом. У постмодернистов теперь схожая задача: “Мы надеемся проделать с Природой, Разумом и Истиной то же, что восемнадцатое столетие сделало с Богом”.  
*Rorty R. Truth, politics and “post-modernism”. Spinoza Lecture 1: Is is desirable to love truth? Spinoza Lecture 2: “Is “post-modernism” relevant to politics?” University of Amsterdam: Van Gorgum, 1997, p.35*

По случайному и, наверное, счастливому стечению обстоятельств я начала свое знакомство с трудами Хейдена Уайта не с прославившей его «Метаистории», а с более поздних его работ – «Содержание формы» и «Тропы дискурса». Возможно, именно этот факт стал решающим в моем увлечении постмодерном, переросшим впоследствии в эдакое амбивалентное отношение пристрастия/недоверия, которое я и пытаюсь здесь передать. Впечатление, полученное от этих книг, было не столько шоком от разоблачений тех истин, которые казались незыбленными – «объективность», «смысл истории», «историческая реальность», сколько давало надежду на перспективы истории как науки и возможности историографии. Ее «пафос» состоял не в «деконструкции» самой по себе, а в осознании ответственности, которую несет историк (истории) в процессе создания своего нарратива о вчерашнем дне для будущего; в том, что история должна пониматься как имеющая множество «смыслов», а не единственный, как учили нас в школе<sup>390</sup>.

В первых главах этой книги мы уже неоднократно обращались к Уайту: чтобы обосновать «иронию», чтобы показать последствия лингвистического поворота в историографии, и кратко излагали его взгляды на применение литературной теории троп в отношении истории (см. часть 1.1). Эти взгляды, а также его идеи о сочетании таких критериев в анализе любого исторического текста, как (1) типы сюжетопостроения; (2) стратегии построения доказательств; (3) идеологический подтекст; (4) типы троп/префигураций, широко известны во всем мире и стали своего рода хрестоматийным примером «лингвистического поворота».

К слову сказать, сравнительно недавно в России вышел перевод единственной монографической книги Х.Уайта «Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века» (Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002). Это событие не прошло незамеченным: книга сразу стала объектом критики российских исследователей – литературоведов и культурологов<sup>391</sup>. Это обстоятельство, а также отсутствие рецензий со стороны собственно историков, видимо, не случайно. Очевидно именно поэтому основным аргументом критики была «устарелость» «Метаистории»: среда литературных критиков и культурологов давно восприняла разработки языкознания, и «тропология» никак не могла стать здесь откровением. В то же время, для историков уайтовская «Метаистория», пусть и утратившая свой авангардный блеск (она была издана в 1973 г.), все же остается актуальным свидетельством своего рода Китайской стены, которой они пытаются отгородиться от окружающих их изменений.

В этом параграфе мы обратимся к тем темам, которые нам представляется, являются главными в позициях Х.Уайта.

- (1) нарративная форма истории;
- (2) что такое «история»?

<sup>390</sup> White H. The Burden of History. In: Tropics of Discourse: Essays on Cultural Criticism. Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1978, p. 27-50.

<sup>391</sup> С. Зенкин, Критика нарративного разума // НЛЮ, № 62; О.Гавришина, История как текст; Р.Фрумкина.

Отмечая закономерность всеобщего интереса к теме нарратива в историографии 1960-70-х гг. (к этой теме мы еще вернемся позже), в «Содержании формы» Уайт поднимает вопрос о природе нарратива, связанной с природой самой культуры. «Так естественен для человека импульс рассказывать, так неизбежна для него форма нарратива, что нарративность может казаться проблематичной лишь в культуре, где она отсутствует...»<sup>392</sup> Уайт показывает, как в самом термине «нарратив» опосредованы понятия «знание» и «рассказывать». Он рассматривает латинские, греческие, санскритские корни... Как перевести знание в рассказ – путем нарратива. Природа нарратива имеет скорее общечеловеческий характер, нежели зависит от специфичности каких-либо культур. Более того, нарратив не терпит такого ущерба от переноса из одной культуры в другую, как это происходит, например, с лирическими стихами или философскими сочинениями. Это предполагает, что нарратив не просто один из многих способов кодировки, посредством которых культура соотносит знание и опыт, но это мета-код, универсальная человеческая база, на основе которой транскультурные messages о природе реальности могут передаваться<sup>393</sup>.

Уайт отмечает, что применительно к истории эта «естественность» нарратива для человеческого восприятия, выражается в непроизвольной убежденности в том, что события прошлого могут «говорить сами за себя», распространенной и в наши дни (нынешние призывы к «объективности» – один из отголосков этой веры: ведь объективность и есть «позиция объекта»; гораздо честнее говорить о «субъективности», которая не исчезнет из исторического исследования пока его осуществляет «субъект» - историк!).

Сомнения по поводу нарративной формы истории переросли в проблемы, когда в исторической теории стали распространяться идеи постструктурализма и деконструктивизма, и тогда пришло понимание, что нарратив является не просто нейтральной дискурсивной формой, которая может или не может представлять реальные события в их аспекте как процесс развития, но скорее содержит в себе онтологические и эпистемологические выборы с определенными идеологическими и даже политическими следствиями. Многие современные историки придерживаются мнения, что нарративный дискурс, далекий от того, чтобы быть нейтральным средством репрезентации исторических событий и процессов, является самой сущностью мифического взгляда на реальность, концептуального или псевдоконцептуального «содержания», который при использовании в репрезентации реальных событий наделяет их иллюзорной связностью и смыслами...<sup>394</sup>.

Это сейчас подобные мысли не вызывают удивления, однако во времена первых публикаций Х.Уайта (*The Burden of History*, 1966, *Metahistory*, 1973), и тем более в период «классической» историографии», основанной на вере в соответствии «исторической реальности» своей репрезентации в трудах историков, такие идеи были революционными.

Более того, на протяжении всего пути своего развития история стремилась «отграничить» себя от литературы, о близости к которой говорил еще Аристотель. Однако тот факт, что писатель, пользуясь воображением, *придумывал* свой нарратив – и героев, и события, и сюжет, и мотивы, и атмосферу, а историк *пересказывал* реальные события, лишь изредка «прибавляя» поэтические эффекты для удержания внимания читателя, создавало, казалось, прочную границу между историей и литературой. Эта граница еще более усилилась с окончательным возведением истории в ранг науки в XIX в., созданием учебных курсов по истории, профессиональных обществ, и даже началом собственной критики – историографии. В XX века эта тенденция еще более усилилась с достижениями социальной истории, исследованиями процессов экономики, идеологизацией истории. Тем не менее, теории дискурса, получившие распространение во второй половине XX в., основательно подорвали веру в различия между реалистичным и воображаемым дискурсом. Если раньше акцент делался на их онтологической природе (реальность прошлого versus фантазия литературного произведения), то сейчас он

<sup>392</sup> White Hayden, *The Content of the Form. Narrative Discourse and Historical Representation*. Baltimore and London, The John Hopkins University Press, 1987, p.1.

<sup>393</sup> Ibid.

<sup>394</sup> Ibid, p.ix.

сместился на их общие черты. То общее, что объединяет историю и литературу, сводится, по определению Уайта, к их характеристике «как семиологических аппаратов, которые производят смыслы посредством систематической подмены означающих сверх-дискурсивными объектами, служащими их референтами»<sup>395</sup>.

Именно такое понимание нарратива позволяет нам понять и с точки зрения его универсальности как факта культуры, и с точки зрения стремления доминирующих социальных групп контролировать то, что должно или не должно главенствующим мифом данной культуры, а также обеспечивать веру в то, что социальная реальность может «данной» и в то же время «историей»<sup>396</sup>.

Очевидно, именно эти мысли стали предвестниками (или фоном идей, витавших в воздухе?) теорий о «воображении» нации, о которых мы рассказывали в предыдущей главе. Так «лингвистический поворот», происходивший в теории истории, проявлялся на практике: идея о том, что не сами нации «рождали» свой нарратив, естественным образом «отражавший» реальную историю, а интеллектуалы – представители (или будущие представители готовящихся создаться национальных государств) социальных элит «воображали» свою нацию, выстраивая и свою историю.

Называя три основных вида исторической репрезентации: анналы, хроника, собственно история, Уайт иронично отмечает: «несовершенная “историчность” первых двух очевидна из их несостоятельности достигнуть полной нарративности событий, о которых они рассказывают»<sup>397</sup>. Понятно, что не одна лишь «степень» нарративизации является критерием разграничения этих трех видов исторической репрезентации, и все же именно она является центральной в определении «ранней» истории – анналов и хроников – эдакого «детства» исторической мысли. И все же, несмотря ни на что, факт одинаковой природы нарратива в истории и литературе стыдливо замалчивался, а наличие такого, например, его элемента, как «сюжет» в историческом сочинении представлялся как «найденный» в самих событиях прошлого, вытекающий из логики исторической реальности. «Но неужели мир на самом деле предстает нашему восприятию в форме рассказа, с центральными героями или событиями, началом, серединой, концом и целостностью, позволяющей нам видеть последствия?»<sup>398</sup>

В этой связи следует заметить, что Уайт говорит и о четвертом виде исторической репрезентации – философии истории, которая никак не может «умалчивать» о наличии сюжета в своем нарративе. Ясно, что она – «приговорена» не только природой нарратива, но и объектами своих исследований к признанию факта своего «сюжетопостроения».

Видимо, именно поэтому теоретики истории раньше, чем «практики» почувствовали угрозу «лингвистицизма», однако для многих из тех, «кто хотел бы превратить исторические исследования в науку, продолжающееся использование историками нарративной модели репрезентации является показателем их поражения, по крайней мере методологического и теоретического»<sup>399</sup>.

Несмотря на эту крайнюю позицию, внутри самой сферы практических исторических исследований, нарратив пытаются рассматривать по большей части не как продукт теории и не как основу для метода, а скорее как форма дискурса, которая может или не может быть использована для репрезентации исторических событий, в зависимости от того, является ли главной целью описание ситуации, анализ исторического процесса, или рассказывание истории. «В соответствии с этим взглядом, количество нарратива в конкретной истории может варьироваться, а его функции будут меняться в зависимости от того, был ли он задуман как самоцель или как средство для какой-то цели. Очевидно, что нарратива будет больше там, где цель – рассказывать историю. В таком случае проблема нарративности превращается в вопрос о том, могут ли исторические события правдиво представляться как выражения структур и

---

<sup>395</sup> Ibid, p.x.

<sup>396</sup> Ibid, p.x.

<sup>397</sup> Ibid, p.4.

<sup>398</sup> Ibid, p.3.

<sup>399</sup> Ibid, p.26.



процессов событий, которые чаще можно встретить в определенных видах «воображаемых» дискурсов – например, эпос, народные сказки, миф, романс, трагедия, комедия, фарс и т.д. Это означает, что то, что отличает «исторические» рассказы от «воображенных», -- это, прежде всего, их содержание, а не форма. Содержание исторических рассказов – реальные события, в отличие от событий, придуманных рассказчиком. Это подводит нас к тому, что форма, в которой исторические события представляются потенциальному рассказчику, является «найденной», а не «сконструированной»<sup>400</sup>.

Далее Уайт расставляет точки над «i» таким образом: историки-нарративисты аргументируют, что исторический метод состоит в расследовании документов с целью установления, где находится правдивая или наиболее правдоподобная история, которую можно рассказать о событиях, свидетельствами которых они являются. По-настоящему нарративное сообщение, в соответствии с этим, в меньшей степени является продуктом поэтических талантов историка, насколько нарративное сообщение воображенных событий вообще задумано быть, но в большей степени оно является необходимым результатом надлежащего применения исторического «метода». Форма этого дискурса – нарратив – ничего не добавляет к содержанию репрезентации, скорее это симулякр структуры и процессов реальных событий. И то, в какой степени эта репрезентация напоминает события, которые она представляет, может считаться правдивым сообщением. История, рассказанная нарративом, является *мимесисом, подражанием истории*, прожитой в каком-то месте исторической реальности; и, следовательно, насколько эта имитация точна, настолько она может рассматриваться как правдивое сообщение.

Однако как же иначе может прошлое, включающее по определению события, процессы, структуры и т.п., больше не доступные нашим органам чувств, быть представлено в нашем сознании? Только в «воображенном» виде. Возможно ли, что вопрос нарратива в любой дискуссии в рамках исторической теории является всегда в конечном итоге вопросом о функции воображения в производстве специфически человеческой истины<sup>401</sup>

О том, как это воображение (не в смысле «фантазий», а именно во-*ображения*) работает, мы уже кратко рассказывали выше (ч.1.1.): по Уайту получается, что историк работает со следами прошлого, которого уже нет, на основе своей идеологии (консерватизм, либерализм, радикализм, анархизм), произвольно «вставляя» эти факты рамку тех троп, которые свойственны ему как нарративисту (метафора, метонимия, синекдоха, ирония); что в то же время взаимодействует с типами сюжетопостроения (романс, трагедия, комедия, сатира) и стратегиями аргументации (формистская, контекстуалистская, механическая, органическая). «Дисциплинирование» работы историка состоит не столько в предписаниях того, что должно быть сделано, сколько в исключениях или предписаниях определенных путей «воображения» исторической реальности. Таким образом, нет истории «самой по себе», «объективной» ли, свободной ли от идеологических влияний или нарративных конструкций.

Несмотря на кажущийся пессимизм в отношении истории, Уайту дает надежду – одновременно и истории, и историографии:

«На мой взгляд, история ...не в самой лучшей форме сегодня, потому что она потеряла представление о своих истоках в литературном воображении. В интересах появляющегося научного и объективного, она репрессировала и отказала самой себе в своем самом большом источнике силы и обновления. Возвращая историографию снова к ее близости со своей литературной основе, мы должны не только стоять на страже чисто идеологических искажений; мы должны прийти в конце концов к такой теории истории, без которой она не может считаться дисциплиной»<sup>402</sup>.

Конечно, построения Уайта – уже не «последнее слово» в наше время, да и сам Уайт довольно далеко ушел от своих «начал», оставив «позади культурный поворот» (см. часть 3.2), и все-таки его работы по-прежнему актуальны с точки зрения тех стимулирующих

<sup>400</sup> Ibid, p.27.

<sup>401</sup> Ibid, p.57.

<sup>402</sup> White H. Tropics of Discourse: Essays on Cultural Criticism, p.99.

историческую мысль сомнений, которые они открывают.

### 4.3. История и «новый историзм»

Нет сомнения, что многочисленные диссертации, конференции и публикации, вписывающие себя в рамки "Нового историзма", свидетельствуют об авторитетности и престижности направления. И все же остается неясным, не окажется ли этот очередной "изм", с его культовым эпитетом "новый", одной из преходящих интеллектуальных фантазий в том пространстве, которое Фредрик Джеймисон назвал бы академической рыночной площадью эпохи позднего капитализма.

*Луи А. Монроз. Изучение Ренессанса: поэтика и политика культуры*

Прежде, чем мы обратимся к рассмотрению «нового историзма» – явления, которое одни исследователи называют «знаковым» для историографии конца XX – начала XXI вв., а другие критикуют как «оскорбительное» для истории в целом, еще раз выделим основную линию нашей работы. Обилие экскурсов в те или иные направления историографии не должно «уводить» нас от главного – представления о том, что нынешнее внимание исследователей к изучению дискурсивных практик; пристальное изучение языка историков; появление «новой интеллектуальной истории» (в ее нынешней, «пост-лавджоевской» форме) являются проявлениями дискурсивного/лингвистического и антропологического «поворотов» истории.

Несмотря на противоречивые оценки работ Х.Уайта и других представителей интеллектуальной традиции, пересматривающей теорию исторического исследования (например, Ф.Анкерсмита, Д.Ла Капра, С.Каплана и др.), отрицать «лингвистический поворот» в западной историографии уже невозможно. Времена безоговорочной веры в то, что историк – медиум для передачи исторической реальности, а нарратив – прозрачное средство этой передачи, стремительно уходят в прошлое. И, как иронично заметил Т.Иглтон, уже «нет нужды волноваться по поводу того, как лучше противостоять тем, кто придерживается такой веры (в смысле веры в Историю, а не в историю, в то, что история, за некоторыми исключениями, линейная, прогрессивная и детерминистская – О.Ш.), потому что таковых нет. Разве что они прячутся где-нибудь в подвалах, стыдясь показаться нам на глаза, но в целом такие люди исчезли с лица земли много лет назад»<sup>403</sup>.

Если суммировать, то невозможным стало писать историю без осознания того, что прошлое, которое историки изучают, можно постичь и передать только текстуально, причем сам исследователь неизбежно вовлечен в сложное переплетение собственных моделей чтения и построения рассказа/нарратива, а также тех категорий/интерпретаций, которые ему предшествовали или частью которых он является. И этот факт уже невозможно обойти вниманием: радикалист Хейден Уайт показал тропичность исторического нарратива, развивающегося в соответствии с теми же принципами сюжетопостроения и основными тропами, что и литература.

Опять эта текстуальность! Получается, что тысячелетняя борьба истории за свой научный статус, за «отдельность» своей методологии, специфичной по сравнению с философией и литературой, закончивается в пользу литературы? «Социальная история», «культурная история», «политическая история», «интеллектуальная история», «психологическая история», «историческая информатика» – список можно продолжить – только «усугубляют» положение: заимствования подходов и методов из иных, чем история, дисциплин, вроде бы «демонстрируют» несостоятельность ее собственной методологии...

И даже среди тех историков, которые не разделяют «радикальных настроений» постмодерна, наблюдается известный скепсис в отношении методологии: так, авторитетный американский историограф Э.Брейзах определяет методологию как «результат продолжавшихся столетиями адаптаций и абсорбций риторических практик и философских

<sup>403</sup> Terry Eagleton. *The Illusions of Postmodernism*. Oxford: Basil Blackwell Publisher, 1996, p.45.

пропозиций»<sup>404</sup>.

Извечная «конфронтация» истории и литературы, казалась решенная в 19 столетии с оформлением «научной истории», историзма, институализации истории, школ и направлений, объективностью, вновь всплыла на поверхность историографических дискуссий. При этом литература получила значительный перевес «в свою пользу». Деконструктивистская перспектива ставила в привилегированное положение литературный дискурс по отношению к любому другому на основании того, что он единственный, который не искажен, единственный, который знает, что его истинный характер состоит в том, чтобы быть не истинным<sup>405</sup>.

Однако не только проблемы методологии нарушают сегодня «статусность» истории. Под удар ставятся и другие составляющие исторического исследования: сам источник и его контекст. Основными «нарушителями спокойствия» становятся на этот раз «культурные исследования» и «новый историзм». Они вошли в обиход историков в 1980-90е гг. и стремительно изменили облик и самой истории, и литературоведения, и философии, стирая междисциплинарные границы, выстраивая новую терминологию, подходы и методы.

Говоря о «культурных исследованиях» (Cultural Studies), возможно, следовало бы дать более подходящий русский эквивалент «исследования культуры», но мы не хотели терять в этом термине его «западного» акцента и коннотаций стоящей за ним теории культуры как многообразия символических смыслов, оставляемых людьми в процессе их деятельности (символическое и материальное производство и организацию слов, жестов, образов, звуков и т.д.). То, что «культурная теория» совершила переворот в гуманитарных дисциплинах, бесспорно, хотя последствия такого переворота оцениваются неоднозначно. Тот факт, что мы пришли к осознанию, что «в человеческом существовании, по меньшей мере, столько же фантазии и желания, сколько истины и рациональности»<sup>406</sup>, а истории повседневности, питания, тела, обоняния... так же важны, как история экономики или политики, – можно назвать исторической заслугой «культурной теории». Как пишет Т.Иглтон, «традиционный ученый мир столетиями игнорировал повседневную жизнь обычных людей; на самом деле, игнорировалась не только повседневная жизнь, но собственно жизнь»<sup>407</sup>. Новые домены исследований, вызванные к жизни «культурной теорией», подняли и даже «банализировали» ранее не мыслимые в качестве «серьезных» тем историю сексуальности, досуга, частной жизни и т.п. В центр исторического исследования пришли те, кто всегда был на его «краях», между тем как «молчаливое большинство» не только заговорило, но у него оказалось и множество идентичностей: этнической, расовой, классовой, гендерной. Особо пристальное внимание к проблемам идентичности, культ Другого, постколониальные исследования – этот багаж, привнесенный «культурной теорией» существенно изменил облик западной и (наблюдая сегодня этот процесс среди российских историков) постсоветской историографии.

Признание культуры как знакового образования, состоящего из различных знаковых систем, влекло и новые методы их описания – а точнее, «плотного/насыщенного описания». Эта идея культурной антропологии Клиффорда Гирца понимается как пристальное «прочтение» конкретного социального явления или события. Прочтение, которое анализировало бы значения, приписываемые ему современниками-участниками, и вместе с тем – саму систему кодировки и способов мышления, внутри которой данное событие или явление могло иметь эти значения. Подобные идеи тесно переплетаются с концепцией власти и дискурса Мишеля Фуко, где власть опосредуется в дискурсивных практиках, и в итоге именно они диктуют обществу норму и истину. Эта проблематика в современных «культурных исследованиях» прекрасно уживается с еще одним знаковым явлением 20 века – деконструктивизмом, согласно которому человеческое существование имеет языковой и, более

<sup>404</sup> Breisach Ernst. *On the Future of History: The postmodern Challenge and Its Aftermath*. Chicago, London: University of Chicago Press, 2003, p.6.

<sup>405</sup> Gossman, Lionel. *Towards a Rational Historiography*. Transactions of American Philosophical Society. Vol 79, Part 3. Philadelphia, The American Philosophical Society, 1989, p.289.

<sup>406</sup> Eagleton Terry. *After Theory*. New York, Basic Books, 2003, p.4.

<sup>407</sup> Ibid.

того, текстовый характер, и не существует ничего «вне текста». В свою очередь, такие идеи переплетаются с пониманием текстов (и мира вообще) как диалогических (М.Бахтин) и даже многоголосных (Ю.Кристева).

Нельзя напрямую утверждать, что весь этот «сплав» (безусловно, в короткой статье многие его детали уместить невозможно) дал жизнь новой парадигме, оказывающей с середины 1980-х сильнейшее воздействие на историков, но все-таки именно эти составляющие стали главными для выработки «Нового историзма».

Говоря «технически», термин «новый историзм» появился в сфере исследований Ренессанса. Как указывает один из его основателей Л.Монроз, он «был впервые использован (с отсылкой к семиотике культуры) в: McCanles Michael. *The Authentic Discourse of the Renaissance // Diacritics. Vol. 10. № 1 (Spring 1980). P. 77-87.* Однако в активный обиход его, по-видимому, ввел Стивен Гринблатт в кратком программном введении к спецномеру журнала "Genre", имевшему темой "Формы власти и власть форм в культуре Ренессанса" (Genre. 1982. Vol. 15. № 1-2. P. 1-4). Ранее, во введении к своей книге "Renaissance Self-Fashioning" (Chicago, 1980) [рус. пер. - Гринблатт С. Формирование "я" в эпоху Ренессанса. Введение // НЛО. № 35 (1999). С. 34-42], Гринблатт назвал свою систему взглядов "поэтикой культуры". Во вводной главе к своей последней книге: Greenblatt Stephen. *Shakespearean Negotiations: The Circulation of Social Energy in Renaissance England. Berkeley and Los Angeles, 1988* - Гринблатт вернулся к этому термину. Здесь он определяет "поэтику культуры" как "изучение коллективного конструирования отдельных культурных практик и исследование отношений между этими практиками". Главные объекты внимания - "то, как формировались коллективные верования и переживания, как они передавались от одного культурного медиума к другому, как они концентрировались в удобных для восприятия и переработки эстетических формах, как они предлагались для потребления [и] как строились границы между культурными практиками, понимаемыми как художественные, и другими, смежными формами выражения" (P. 5).<sup>408</sup>

Несмотря на то, что «Новый историзм» («New Historicism») может вызывать у историков ностальгию по своему классическому прошлому и расцвету историзма, он вырос на совершенно иной, нежели история, почве... Это была та самая литературоведческая среда, которая к концу XX в. уже дала пищу для трансформаций практически всех дисциплин гуманитарной сферы. Как писал один из лидеров «Нового историзма» Луи А. Монроз, «возникающая сейчас в литературоведении пост-структуралистская ориентация на историю («новый историзм» -- О.Ш.) может быть охарактеризована с помощью хиазма: это одновременное внимание к историчности текстов и к текстуальности истории».

Итак, с одной стороны «историчность текстов» -- т.е. все тексты имеют «культурную специфичность, социальную укорененность» (в мире – метанарративе, где вообще нет ничего, «помимо текста», и человеческая реальность имеет языковой, текстовый характер). С другой – «текстуальность» самой истории. Как объяснял последнюю сам Монроз, «под текстуальностью истории я понимаю, во-первых, тот факт, что мы не имеем прямого доступа к прошлому во всем его объеме и аутентичности, к живому материальному существованию; прошлое доступно нам только через уцелевшие текстуальные следы изучаемого общества. Тот факт, что уцелели именно те следы, которыми мы располагаем, нельзя воспринимать как случайное стечение обстоятельств. Мы должны – хотя бы отчасти – считать его результатом динамического взаимодействия сложных и тонких социальных процессов сохранения и уничтожения. И во-вторых, говоря о текстуальности истории, я имею в виду, что эти текстуальные свидетельства сами стали объектом последующих текстуальных медитаций, составив корпус "документов", на основе которых историки строят собственные тексты, называемые "историями"<sup>409</sup>.

Круг замыкается: социальное «всегда мыслится как построенное из дискурсов», но и сам этот бесконечный текст – языковая сфера – «всегда мыслится как диалогический, как обусловленный социальными и материальными факторами».

Тем самым «новые историцисты» «предоставляли» истории шанс. Шанс, которого история

<sup>408</sup> Луи А. Монроз, Изучение Ренессанса: поэтика и политика культуры. НЛО № 42, 2000.

<sup>409</sup> Там же.



как дисциплина практически лишалась в рассуждениях «категорического» постструктурализма. Если в глубине души историки всегда понимали свое ремесло так, как это, следуя Л.Ранке, выразил американский историк Кейт Виндшаттл: сущностью истории как рода деятельности вот уже на протяжении более 2400 лет «было то, что она пыталась рассказывать правду, описывать как можно лучше то, что происходило на самом деле»<sup>410</sup>, то в русле лингвистического поворота под угрозой оказалось само это центральное звено. Если «мы можем видеть прошлое только через перспективу нашей собственной культуры, и, следовательно, то, что мы видим в истории – это наши собственные интересы и заботы, отраженные от нас», то тогда «не существует фундаментального отличия между историей и мифом»<sup>411</sup>. Чувствуя эту опасность постструктурализма, историческая эпистемология предпочитала либо вовсе игнорировать идеи литературоведения (в отношении которых дилемма ставилась определенно: подходы литературной критики для такой дисциплины, как история, являются смерти подобными; принципы постструктурализма чужды самой природе гуманитарного знания, и малейшая уступка ему приводит к неизбежному кризису), либо занимать половинчатую позицию, применяя одни подходы (изучение «дискурсов», деконструкция различных «практик» и «опытов» и т.п.) и не замечая другие.

Скептически-отчужденное отношение «практикующих историков» к теории сохранялось долгое время, и лишь сравнительно недавно историки, последними в рядах гуманитариев, предъявили собственные попытки осмысления «вызовов» постмодерна. Х.Уайт с идеей тропичности исторического нарратива<sup>412</sup>; Ф.Анкерсмит с его акцентом на «новой» историографии, в отличие от «старой» признающей «непрозрачность» исторического текста и с точки зрения исторической реальности, и с точки зрения намерений историка<sup>413</sup>; Э.Брейзах и Г.Иггерс, попытавшиеся занять «срединную» позицию в ситуации историографических выборов<sup>414</sup>; Р.Коселлек, Й.Рюзен, сопоставившие идеи историографии с историческим мышлением<sup>415</sup>; Ж.Ревель с идеей политических использований прошлого и презентизма историографии в целом<sup>416</sup>; Ф.Артог, выделивший различные режимы историчности<sup>417</sup>... – эти и другие историографы поставили проблемы, логично выраставшие из применения идей постструктурализма в историческом исследовании.

В то же время весьма кстати для многих пришелся «новый историзм», своими идеями «смягчавший» постструктуралистскую критику и напоминавший о милом сердцу каждого историка периоде классического историзма.

В чем сущность различий отношений истории с постструктуралистски-ориентированным и «ново-историчным» подходами? Дело в том, что постструктуралистски-ориентированные подходы посягнули на сам «нексус» истории – линию прошлое (доступное через материальные следы и мемуары), настоящее (с его необходимостью руководствоваться опытом и знаниями из

<sup>410</sup> Windschuttle K. *The Killing of History: How Literary Critics and Social Theorists Are Murdering Our Past*. San Francisco: Encounter Books, 2000, p.ix.

<sup>411</sup> Ibid., с.х.

<sup>412</sup> White Hayden. *Tropics of Discourse*. Baltimore, 1978.

<sup>413</sup> F.R.Ankersmit. *The reality effect in the writing of history; the dynamics of historiographical topology*. Holland, Amsterdam, New York, Oxford, Tokyo, 1989, p.6.

<sup>414</sup> См. Breisach E. *On the Future of History: The postmodern Challenge and Its Aftermath*. Chicago, London: University of Chicago Press, 2003; Breisach E. *Historiography: Ancient, Medieval, Modern*. Chicago, London: University of Chicago Press, 1994; Iggers G. *Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge*. Hanover, N.H.: Wesleyan University Press, 1997.

<sup>415</sup> См. Western Historical Thinking: An Intercultural Debate. Ed. J.Rusen. New York, Oxford: Berghahn Books, 2002; Jorn Rusen. *Comparing Cultures in Intercultural Communications*. In: *Across Cultural Border. Historiography in Global Perspective*. Ed. Eckhardt Fuchs and Benedikt Stuchley. Lunham, New York, Oxford: Rowman & Littlefield, 2002; Reinhart Koselleck, *L'Experience de l'histoire, Traduction Français*. Paris, 1997; Reinhart Koselleck. *The Practice of Conceptual History. Timing History, Spacing Concepts*. Stanford University Press, 2002. François Hartog, *Régimes d'historicité. Présentisme et expériences du temps*. Paris, Seuil, 2003

<sup>416</sup> *Les usages politique du passe. Sous la direction de François Hartog et Jaques Revel*. Paris: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2001.

<sup>417</sup> Hartog François, *Régimes d'historicité. Présentisme et expériences du temps*. Paris, Seuil, 2003.

прошлого), будущее (как ожидания, оформленные по образам из прошлого и новыми чертами настоящего)<sup>418</sup>. А заодно, и на постигаемость прошлого. История оказалась в тисках постструктурализма. С одной стороны, декларированный «конец истории»/ недоверие к метанарративу/ философии истории не сулили самой истории особых перспектив, т.к. собственно смысл истории как дисциплины зиждился на построении «общего» (что вновь возвращает нас к высказыванию Аристотеля и поискам социально-структурной истории 20 века). С другой – осознание «нарративности» исторического дискурса и неизбежности «литературности» усиливали скепсис в отношении постигаемости прошлого.

Не случайно в этих условиях приход «нового историзма» многие историки восприняли как возможность выхода из кризиса. Собрав идеи второй половины XX в. (Фуко, Бахтин, Деррида...), «новые историцисты» поставили акцент на взаимообусловленности и взаимовлиянии языка и общества. Источник (текст, дискурс) состоит из «репрезентаций» тех культурных конструкций, которые были характерны для той или иной эпохи и отражали/воспроизводили структуру властных отношений. Таким образом, хотя историк в силу использования нарратива не может избежать тропичности, но и сами исследуемые феномены тропичны; реальность «соткана» из различных типов дискурса, а потому ПОСТИГАЕМА. Как замечал И.П.Смирнов, «после небывалого кризиса историографии Новый историзм легитимировал ее как изоморфную истории. Линн Хант, изучавшая словесную практику Великой французской революции в качестве риторического инструмента власти, открыла здесь те же жанры, которые раскритикованный ею Уайт обнаружил в рассказах историков об этом событии и не разглядел в первичном коммуникативном обиходе»<sup>419</sup>.

Уместно напомнить позицию в отношении нового историзма самого Х.Уайта, одним из первых заметившего опасность и необходимость для истории извлечь уроки из «лингвистического поворота»: «то, как они («новые историцисты» -- О.Ш.) мыслят природу исторического контекста, оскорбляет историков в целом. Для "новых истористов" исторический контекст - это "культурная система". Социальные институты и практики, включая политику, мыслятся как функции от этой системы - а не наоборот. Поэтому "новый историзм", с точки зрения традиционных историков, основан на заблуждении, которое можно назвать "культуралистическим". В силу "культуралистического заблуждения" новый историзм оказывается разновидностью идеалистического подхода к истории. ...То, как "новый историзм" мыслит отношения между литературными текстами и культурной системой, оскорбляет в равной мере и традиционных исследователей литературы, и историков. Эти отношения мыслятся как "интертекстуальные" по своей природе. Это отношения между двумя видами "текстов": с одной стороны - литературными, с другой - "культурными". А это значит, что "новый историзм" может быть обвинен в двойном редукционизме: сначала он сводит социальное к функции от культурного, а затем сводит культурное к тексту. Все это можно назвать "текстуалистическим заблуждением"»<sup>420</sup>.

Как бы формально негативно не относились практикующие историки к тенденциям, возникшим на волне постструктурализма и деконструктивизма, а затем культурной теории и нового историзма, влияние их на историографию уже неоспоримо. Не столько «кто-то» ратует за реформирование истории или критикует историков-традиционалистов, сколько новые темы и подходы сами «вливаются» и постепенно занимают лидирующее положение на издательском рынке, в исторических журналах и на профессиональных конвенциях.

Наши экскурсы в «теорию» и ее влияние на историю не должны заслонять те изменения,

<sup>418</sup> Breisach Ernst. On the Future of History: The postmodern Challenge and Its Aftermath, p.18.

<sup>419</sup> Смирнов И.П. Новый историзм как момент истории (По поводу статьи А.М. Эткинды "Новый историзм, русская версия") // Новое литературное обозрение 2001, №47: Смирнов ссылается на работы: Hunt L. History Beyond Social Theory. In: The States of "Theory". History, Fictionality and Critical Discourse, ed. by D. Carrol, New York, 1990, p.95-111 и White H. Figural realism, Studies in the Mimesis Effect. Baltimore, London: The Johns Hopkins University Press, 1999.

<sup>420</sup> Уайт Х. По поводу «нового историзма» // Новое литературное обозрение, 2000, №42.

которые привнесли влияния тех же постструктурализма, культурных исследований, нового историзма на историографию. Уже в первой главе, посвященной ситуации постмодерна, мы заставили прозвучать слова Ф. Анкерсмита о том, что во второй половине XX в. наблюдается «сильный подъем историографии за счет критической философии истории». Причем, если историография наполняется философским содержанием, то философия истории сдвигает свои интересы в сторону гносеологии, теории исторического знания – что, собственно, и дает нам основание говорить о сближении исследовательских полей этих дисциплин.

Напомним, что историография также проверяет себя «на прочность», и это связано с так называемой «новой историографией». Критерием различия между «старой» (традиционной) и «новой» историографиями служит принятие/отрицание «постулата двойной прозрачности текста»: согласно первому постулату прозрачности, текст позволяет нам видеть сквозь него прошлую реальность; согласно второму – текст является совершенно адекватным средством передачи историографических взглядов или намерений историка.

Очевидно, что проблемы, поставленные постструктурализмом, проникли и в историографию. И все-таки кажется несправедливым тот факт, что в дискуссиях о природе истории как рода деятельности принимают участие главным образом философы, а сами историки в принципе не готовы к «вызовам» (в терминологии еще А. Дж. Тойнби). История как дисциплина подвергается сегодня таким вызовам со стороны: (1) философско-лингвистических сомнений, выдвинутых в рамках, так сказать, постмодернистско-постструктуралистско-деконструктивистского – да простят мне читатели за такой неуклюжий термин (привожу его так, как когда-то познакомилась с ним у И. Ильина) – комплекса; (2) в условиях высоких технологий и процессов глобализации и всяких прочих «-ций» и «-измов», когда роль гуманитарных дисциплин ощущается повсеместно как «незначительная», все больше историков сдвигают свои интересы в сторону политологии, социологии, информатики, антропологии.

В этом смысле представляется необходимой задача теоретического осмысления позиций истории сегодня, которую должна взять на себя историография в ее обновленном виде.

Студентам, начинающим изучать философию, предлагается с самого начала некая обзорная картина (своего рода «история главных идей в философии»), позволяющая видеть, что такое философия как дисциплина. Мы же сразу окунаем первокурсника в дисциплинарную специализацию: «История Древней Греции», «История западных и южных славян», «История Беларуси».... Не кажется ли это, по меньшей мере, странным? Будущие историки (да и многие настоящие) уже не имеют той самой «общей картины», о которой как о главной цели истории говорил еще Тит Ливий: «В том и состоит главная польза и лучший плод знакомства с событиями минувшего, что видишь всякого рода поучительные примеры в обрамлении величественного целого; здесь и для себя, и для государства ты найдешь, чему подражать, здесь же - чего избегать: бесславные начала, бесславные концы»<sup>421</sup> ...

Поэтому историография (в каком бы смысле мы не употребляли этот термин: история исторической мысли, история идей, интеллектуальная история, или даже философия истории) должна осознаваться как фактор идентификации историков. Так же, как и в случае с историей вообще.

«Специализация», замыкание в своих дисциплинарных границах, разделение истории по хронологическому принципу, темам, направлениям и т.д. неизбежны с ростом исторического знания, но они же мешают видеть... ускользающее Целое. (Когда история только начиналась как сфера такой литературы, которая была бы интересна – потому что рассказывала о себе и своих героях-предках и писалась так же, как и литература, полезна – потому что тогда верилось, что она может чему-то научить, или потому что, может что-либо оправдать... Первые историки видели это самое «целое», «всеобщность», «идею»... -- как бы мы *это* не называли, оно включало видение Истории от ее начал до современности, во всех ее проявлениях и целях.) Теперь же такого видения не осталось. Оно раздробилось на «фрагменты», «нарративы», изучение «дискурсов» – в западной историографии; и тщательную специализированность в

<sup>421</sup> Тит Ливий. Книга 1, Предисловие, 9.

исторических исследованиях у нас.

В связи с вопросом о Целостности, вернемся к пониманию «нового наполнения историографии». Еще одной его коннотацией является осознание историографии как «истории идей», или «интеллектуальной истории», о чем более подробно мы расскажем ниже.

#### 4.4. Историография, интеллектуальная история, теория истории: полифония и «белорусский контекст»

Иностранец, варвар, и еще далее – достигая зоны пограничья, краев ойкумены, путешественник не может не описывать их как людей странных, удивительных мудрецов или безжалостных дикарей, расположенных на границе между человеческим и нечеловеческим, и вообще существ странных и даже пугающих.

*Hartog François. Memoire d'Ulysse. Recits sur la frontiere en Grece ancienne. Paris : Gallimard, 1996, p.15*

#### Историческая эпистемология: некоторые географические особенности

Удивительное дело: еще в середине 20 века, несмотря на то, что каждое солидное издание в области истории традиционно открывалось историографической рубрикой, журналы, посвященные специальной историко-эпистемологической проблематике, можно было посчитать по пальцам – сегодня же число таких журналов во всем мире уже переваливает за сотню<sup>422</sup>. Как будто еще вчера, эти эпистемологические проблемы, охватывающие такие пересекающиеся между собой, а часто и синонимичные области, как историография, история и теория, историческая эпистемология, философия истории, интеллектуальная история, были не в фокусе внимания историков, а сегодня «вдруг» оказались на волне всеобщего интереса. Чем вызван рост исторической эпистемологии: кризисом истории, о котором так много говорили в конце XX века? неадекватностью истории «вызовам» времени? или, напротив, именно ее попытками быть «адекватной», востребованной своим временем и современниками?

Задаваться этими вопросами непросто, особенно в ситуации традиционного «недоверия» всяческим «историко-эпистемологическим» изысканиям в среде «настоящих практикующих» историков. Подобное недоверие, безусловно, оправдано: и самим прошлым исторической эпистемологии, «скомпроментировавшей» себя историческим марксизмом, а отчасти и тем расплывчатым содержанием, которое характерно ее сегодняшнее толкование. К исторической эпистемологии сегодня относят весь комплекс проблем, связанных с изучением исторического познания (от *episteme* -- знание). Так же определял это понятие А. И. Ракитов, вводящий его для «обозначения всего круга проблем, связанных с изучением специфики исторического познания вообще и исторической науки как его высшей стадии в особенности»<sup>423</sup>. Другое дело, что его «историческая эпистемология» целиком принадлежала сфере философии истории, но не истории вообще<sup>424</sup>. Именно эту последнюю подвижку в «демаркации границ» отмечают сегодня многие исследователи.

С одной стороны, Х.Уайт анализирует трансформации теории «исторического метода» в сторону сближения ее с литературной критикой (и не случайно, во многих библиотеках мира *Historiography* находится «на одной полке» с *Literary Studies*). Уайт пишет: До начала XIX века историография считалась ветвью ораторского дискурса и была полем теории риторики. Она

<sup>422</sup> History Journals Index: <http://www.uv.es/~apons/revistes.htm#TOP>. Эта статистика включает национальные издания, но многие региональные журналы с тематикой по исторической эпистемологии остаются неучтенными. См. также 1.2. Постмодерн диагноз нашего времени – анализ тематики исследований, представленных на съезде американских историков 2007 г., где «Историография, интеллектуальная история и проблемы преподавания истории» насчитывает примерно 48 заседаний из 223.

<sup>423</sup> См.: Ракитов А. И. Историческое познание: Системно-гносеологический подход. М., 1982, с.22.

<sup>424</sup> См.: Там же, с.153.



была, однако, отлучена от риторики в течение XIX в. как результат движения с целью сделать исторические исследования более научными. Двусторонняя атака на риторику (со стороны поэтов-романтиков и позитивистской философии) привела к повсеместному исчезновению ее из «высокой культуры» Запада. Литература заняла место дискурса ораторики в качестве практики письма, а филология – заменила риторику в качестве общей науки о языке. Теоретические проблемы исторического письма затем стали соотноситься со специфичностью отношения истории к литературе. Но поскольку было принято считать, что литература есть мистический продукт поэтического творчества, то решения проблемы отношения к ней истории не было. Что же касается отношения истории к филологии, то в целом принято было думать, что филология является просто историческим методом, примененным в изучении лингвистических явлений. Но поскольку исторический метод, в свою очередь, считался лишь филологическим методом, примененным к исследованию исторического (документального) свидетельства, то проблема метода оставалась замкнутой в тавтологический круг, из которого не было выхода<sup>425</sup>.

С другой стороны, начиная с 60-х гг. XX в. и в литературоведении, и в философии истории, с приходом в качестве лидирующей посмодернистской тематики, рефлексии о смысле, цели и направленности истории утрачивают «актуальность», и вместо них на первый план выходят гносеологические проблемы. Как отмечает Ф. Анкерсмит: «В период после второй мировой войны, исследовательский акцент сдвигается в сторону историографии и критической (т.е. «гносеологической» – О.Ш.) философии истории»<sup>426</sup>. И более того, по мнению многих авторов, отмечается «сильный подъем *историографии* за счет *критической философии истории*»<sup>427</sup> [курсив О.Ш.]

В свою очередь, и эволюция истории идей (интеллектуальная история как направление начиналась с деятельности А.Лавджоя и его книги «The Great Chain of Being» («Великая цепь бытия», 1936), а также журнала Journal of the History of Ideas) привела ее к новому пониманию «идей»: вначале к «социальной истории» идей, а затем, в «новой интеллектуальной истории», -- к сегодняшнему лингвистическому пониманию культуры, ее «языковой» обусловленности, создающей фундамент для общности «идей». В этом смысле новое понимание «идей» приблизилось к фукольдьянским «эпистемам» -- некоего проблемного поля, состоящего из «дискурсов» данной эпохи.

К какой сфере – «Истории», «Историографии», «Истории идей» -- следует отнести исследования, тематика которых – коллективная и даже индивидуальная историческая память, историческое сознание, репрезентации определенных событий в «высокой» литературе или в «народной» культуре... Особенно, когда предметом исследования становятся «память» или «наследие» (французский вариант – *patrimoine* или «места памяти»), «образы» или «дискурсы»... Т.е. не сами «факты», а их «репрезентации». Видимо, здесь заканчиваются традиционные маркировки, что есть история, а что – историография или «история идей».

Перед нами характерное исследование Дэниэля Вульфа, посвященное «исторической культуре» в Англии начала Нового времени. Будь оно написано еще лет тридцать назад, вполне возможно, каркас его бы складывался из хронологически расположенного перечисления имен и трудов главных историков того времени, «в лучшем случае», на фоне их политических обстоятельств. Но, выполненное в 2003, исследование посвящено не столько самим историкам и анализу их работ, сколько тому, как воспринимали современники исторические труды Уильяма Камдена, Иосифа Скалигера (автор показывает, как «ждали» хронологию последнего, она словно витала в воздухе; проблемы возраста мира и мировых империй были актуальными и для сэра Исаака Ньютона, и для английского критика Скалигера Томаса Лидиата, и для его англо-ирландского имитатора Джеймса Ашера). Автор задается вопросами типа: «Что стояло,

<sup>425</sup> White H. *Figural Realism Studies in the Mimesis Effect*. Baltimore, London: The John Hopkins University Press, 1999, p.178.

<sup>426</sup> F.R.Ankersmit. *The reality effect in the writing of history; the dynamics of historiographical topology*. Holland, Amsterdam, New York, Oxford, Tokyo, 1989, p.5.

<sup>427</sup> Там же, с.6.

помимо гения Шекспира и Марлоу за громадной, хотя и относительно короткой, популярностью исторических пьес? Почему жители деревень и городов с готовностью отвечали на расспросы таких путешественников, как John Leland or Celia Fiennes, и почему эти путешественники задавались целью собрать свои рассказы о местностях, о названиях и т.д.?»<sup>428</sup> Ведь именно благодаря этому интересу среди «народа», усилиям «любителей»-антикваров и «профессионалов»-нарративистов, энтузиастов гениологии и хорографии, «история» как дисциплина на протяжении 1500-1730-х входит в университетскую жизнь Англии.

Где тут заканчивается «собственно» история и начинается «собственно» историография?

Не вписываются в рамки «традиционной» историографии и работы Д.Ловенталя, М.Бинни, П.Райта, Р.Самуэля, ставящие в центр исследований такие понятия, как «наследие», «традиционные ценности», «интерес народа к своему прошлому», определяющиеся не только через формальную историографию, но также через иные жанры – например, дневники, генеалогии, письма, сохранившие «отсылки» к прошлому<sup>429</sup>. Подобная постановка исследовательских проблем – не столько рассказывать историю об историографии, сколько рисовать культурный пейзаж, в котором историография развивалась – весьма характерна для англоязычной историографии «новой волны».

Но вот примеры из более «близкой» нам сферы. Так, англо-американским авторам и российская история видится сквозь призму «Я и персонализации» (например, опираясь на дневники, мемуары и переписку «простых» людей), «разговоров», «празднований и парадов», «сексуального дискурса как инкарнации советской идеологии», «символического языка Октябрьской революции», «дисциплину тела, самонаказания и идентичности», «образы власти»<sup>430</sup> ... С другой стороны, и «историография» предлагает подобные же исследования «идеи власти и автократии», например, среди российских историков XVIII в.<sup>431</sup> и «исторической памяти»<sup>432</sup>.

Что это? История идей, понимаемая не просто как одно из направлений деятельности историков или ее новое исследовательское поле (наряду с гендерной, устной, повседневной и т.д.), а как нечто более значимое – изучение исторических категорий мышления, интеллектуальной деятельности, исторического развития интеллектуальной сферы (включая и ее философские, и художественные, и естественно-научные части), как новый способ познать то, как видели мир в прошлом, как это видение менялось, как мы видим это видение сегодня.

---

<sup>428</sup> Daniel Woolf. *The Social Circulation of the Past. English Historical Culture, 1500-1730*. Oxford University Press, 2003, p.9.

<sup>429</sup> См. D.Lowenthal, M.Binney, ed. *Our Past Before Us: Why Do We Save It?*, 1981, P.Wright, *On Living in an Old Country: The National Past in Contemporary Britain*, 1985; R.Samuel, *Theatres of Memory*, 1994.

<sup>430</sup> См. например, Laura Engelstein and Stephanie Sandler, eds. *Self and Story in Russian History*. Ithaca and London: Cornell University Press, 2000; Nancy Ries. *Russian Talk: Culture and Conversation During Perestroika*. Ithaca, N.Y. and London: Cornell University Press, 1997; Karen Petrone. *Life Has Become More Joyous, Comrades: Celebrations in the Time of Stalin*. Bloomington: Indiana University Press, 2000; Orlando Figes and Boris Kolonitskii. *Interpreting the Russian Revolution: The Language and Symbols of 1917*. New Haven: Yale University Press, 1999; Laura Engelstein. *Castration and the Heavenly Kingdom: A Russian Folktale*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1999; и, наконец, работы Ричарда Вортмана (Wortman R. *Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy. Vol.1: From Peter the Great to the Death of Nicholas I* (Princeton University Press, 1995), перевод на русский – 2002, Vol.2: *From Alexander II to the Abdication of Nicholas II* (Princeton University Press, 2000), перевод на русский – 2004; в 2006 г. вышла в свет новая редакция в однотомной версии – *Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy: From Peter the Great to the Abdication of Nicholas II* (Princeton University Press, 2006), удостоенные George L. Mosse Prize от Американской исторической ассоциации и Премией Ефима Еткинда от Санкт-Петербургского университета.

<sup>431</sup> Cynthia Hyla Whittaker 'The idea of autocracy among Eighteenth-century Russian historians' // *Historiography of imperial Russia: The profession and writing of history in a multinational State*. Ed. Thomas Sanders. London, England; Armonk, New York: M.E.Sharp, 1999.

<sup>432</sup> *Mémoires en Bataille : Mémoire en URSS et en Europe de l'Est*. Group de recherche « Mémoire Grise ». Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC), Institut du Monde Soviétique et de l'Europe Centrale et Oriental (IMSECO), 1989; *Mémoire de la Russie. Identité nationale et mémoire collective*. Coordonné par Jacqueline de Proyart et Nicolas Zavialoff. Paris : L'Harmattan, 1996 (Maison des sciences de l'homme).

Философия истории, которая все меньше ориентируется на философский анализ «смысла истории», отвергая всякого рода телеологизм, а напротив, имеет тенденцию к осмыслению прошлого истории исторической мысли (традиционной историографии) и проблем исторического дискурса как такового (традиционных литературной критики и методологии)? Историография как история идей, составляющих историческое и культурное сознание эпохи.

В таком ракурсе термины «историография», история идей, теория истории зачастую употребляются как синонимичные. Эта сфера, где традиционные дисциплинарные демаркации уже перестают быть актуальными, все чаще именуется «исторической эпистемологией», объединяя таким образом их исследовательские интересы и реально пересекающиеся поля исследований.

Подобные трансформации происходят не только в англоязычной историографии. Во Франции об *l'histoire tentée par l'épistémologie* («история, соблазненная эпистемологией») <sup>433</sup> – ставит вопрос известный французский историограф Ф. Артог и отвечает: Самое интересное и новое в этом то сближение понятий, которое часто встречается теперь в текстах историков, – эпистемологии и историографии. Как если бы она подразумевал другую, ее дополняя, исправляя или придавая нюансы; как если бы они образовывали нечто вроде смеси – не «строгая» эпистемология (слишком удаленная и абстрактная), но и не «плоская» история истории (слишком «внутренняя», «панихида» по профессии) – подход, внимательный к концепциям и контекстам, смыслом и средам; всегда тщательный к их артикуляциями, поглощенный познанием и историзацией, но бдительный перед лицом сирен редукционизма. Говоря коротко, что-то подобное *исторической эпистемологии* или *эпистемологической историографии*... <sup>434</sup> [курсив – О.Ш.].

В то же время это скорее взгляд со стороны, и впечатляющее количество историко-эпистемологических исследований все-таки остается характерным для англо-американского мира. Во Франции же это занятие предоставлено нескольким метрам, поскольку как говаривал Пьер Шоню, «Эпистемология является соблазном, которого со всей решительностью необходимо уметь избегать», или Пьер Нора, говоривший о необходимости для историка вначале войти в возраст эпистемологии («*son âge épistémologique*») <sup>435</sup>.

Это все так, но не совсем. «Официальная» историография не столь многочисленна, как в США, но исследования, граничащие с ней (историческая память, историческое сознание..... ) пользуются огромной популярностью не только в среде научной братии, но и среди «не специальных» читателей. Смена акцентов истории (микро уровень, опыт, репрезентация), расширение предмета исследований (повседневность, тело, питание) и изменение понимания источников – вот основные тенденции трансформаций, переживаемых историей во всем мире. При этом исследования, посвященные изучению исторической памяти, исторического сознания и наследия/достояния (*patrimoine*) занимают особое место). «Начиная с Геродота, история развивалась как дело зрения. Видеть и говорить, писать о том, что происходит, обдумывать это, словно в своем зеркале: таковы были некоторые из черт обыденности историка. Многочисленные современные переформулировки продолжили эту работу на границе видимого и невидимого. Проникнуть в реальный вид вещей, видя все дальше и глубже. Но в конце XX в. и господством модуса настоящего эта "очевидность" истории была поставлена под вопрос. Какова роль историка перед лицом «нарративистского вызова», во времена подъема «свидетельства», когда «память» и «наследие» превратились в *очевидности*?» <sup>436</sup>

<sup>433</sup> Francois Hartog. *Evidence de l'histoire: Ce que voient les historiens*. Paris : Editions de l'École des hautes études en sciences sociales, 2005, p.230.

<sup>434</sup> Ibid., p.232.

<sup>435</sup> Цит. по Francois Hartog. *Evidence de l'histoire: Ce que voient les historiens*. Paris : Editions de l'École des hautes études en sciences sociales, 2005, p.230.

<sup>436</sup> (Francois Hartog. *Evidence de l'histoire: Ce que voient les historiens*, 2005, p.16.

Во Франции историография и история, как и в англоязычном мире, меняют свои границы, но «точкой притяжения» становится «память» и «наследие» (*patrimoine*)<sup>437</sup>. Успех Монтайю<sup>438</sup>, Истории Франции, Астерикса, воспоминаний и т.п. демонстрирует интерес широкой публики к прошлому. Исторические произведения занимают по продажам второе место после романов и опережают детективы<sup>439</sup>. Причем французы предпочитают именно *свое* прошлое, а не истории про Цезаря или Маркса, что, конечно, идет в русле с общей тенденцией направленности (пост)современных исследований на проблемы идентичности и обновления истории как «идентификатора».

Символично, что фундаментальная работа «История Франции», популярная настолько, что представлена даже в скромных муниципальных библиотеках заштатных французских городов, имеет три части: Наследие, Выборы, Память. Последняя посвящена «французской памяти», которая, акцентируется, не является «этнологической». Связанная с идеей государственности, она пронизывает времена Шарля де Голля, но корни ее – еще глубже. Более отдаленные, чем эпоха модерна, корни идут из средневековья<sup>440</sup>.

Любопытно, что первой датой выражения «памяти о Франции» Ф.Жутар называет не 591 (дата создания Истории Григория Турского), и даже не 642 (продолжатель Турского Фредегар) или 727 (анонимный продолжатель «*Livre de l'histoire des Francs*»), считая их важными, но изолированными. Такой отправной точкой, «местом памяти» Жутар называет 1477 – год редактирования *Les Grandes Chroniques de France* – первой книги, вышедшей из Парижской книгопечатни, что само по себе знаменательно как доказательство того, что истории придавали большое значение.

Описывая «места памяти», объединяющие своими культами историческую память французов, или анализируя классические для французской историографии эпохи модерна темы происхождения французов, поисков их «троянских», галльских, кельтских истоков, Ф.Жутар акцентирует роль историков в создании «мифологии». Так, традиция «троянского происхождения», связывавшая французов с наследием Рима и начатая Фредегаром, настолько укрепилась среди интеллектуалов уже ко времени организации 4-го крестового похода, что она использовалась для оправдания причин, почему они хотели создать Латинскую империю на Востоке. Они же боролись против греков! Хотели взять своего рода реванш за падение Трои! И не случайно пишет Robert de Clary: Троя принадлежала нашим предкам и те, кто из сумел из нее бежать, пришли жить туда, откуда мы пришли; и по этому праву мы теперь пришли, чтобы завоевать эту землю»<sup>441</sup> А Никита Хониат ему вторит в своем плаче по Константинополю и по

<sup>437</sup> Paul Ricœur. *La Mémoire, l'histoire, l'oubli*. Paris, Editions du Seuil, 2000; Bernard Guenée. *Histoire et culture historique dans l'Occident médiéval*. Paris, Editions Aubier-Montaigne, 1980; Finley, Moses. *Mythe, Mémoire, Histoire. Les usages du passé*, Paris, Flammarion, 1981; Colette Beaune. *Naissance de la Nation France*. Gallimard, 1985 (о создании «исторической легенды» о французских истоках); *Histoire de la France. Sous la direction d'André Burguière et Jacques Rœvel*. Paris, Seuil, 1993. Volume «Les formes de la culture» (в трех частях: *Patrimoines, Choiesies, Mémoire*); Jean Pierre Faye. *Le siècle des idéologies*. Paris: Armand Colin, 1996 (об идеологическом использовании «образов истории» par l'idéologie); *Histoire et Mémoire*. Ed. Martine Verlhac. Centre régional de documentation pédagogique de l'Académie de Grenoble, 1998; Joël Candau. *Mémoire et identité*. Paris : Presses Universitaires de France, 1998. *Identités, mémoires, conscience historique*. Eds. Nicole Tutiaux-Guillon et Didier Nourrisson. Publications de l'Université de Saint-Etienne, 2003; André Burguière, *L'historiographie des origines de la France. Genèse d'un imaginaire national // Annales. Histoire, Sciences sociales*. Année 58 # 1 janvier-février 2003; P.Nora, *Le lieux de mémoire*, 3 vols, 1984; Gildea R. *The Past in French history*, 1994 A.Burguière, *La mémoire familiale du bourgeois gentilhomme: généalogies domestiques en France aux XVIIe et XVIIIe siècles*. *Annales ESC*, #4, 1991, p.771-788.

<sup>438</sup> См. Le Roy Ladurie E. *Montaillou*. New York, 1978.

<sup>439</sup> Philippe Joutard, *Une passion française: l'histoire*. // *Histoire de la France*. Suos la direction d'André Burguière et Jacques Rœvel. Paris, seuil, 1993. Volume « Les formes de la culture », p.511.

<sup>440</sup> Philippe Joutard, *Une passion française: l'histoire*. // *Mémoire*. // *Histoire de la France*. Suos la direction d'André Burguière et Jacques Rœvel. Paris: Seuil, 1993. Volume « Les formes de la culture », p.515.

<sup>441</sup> « Troie fut à nos ancêtres et ceux qui en échappèrent vinrent demeurer là d'où nous sommes venus et pour ce que fut à nos ancêtres, sommes-nous venus ici pour conquérir terre », цит. по: Philippe Joutard, *Une passion française: l'histoire*, p.521.



разрушенной статуе св.Елены: « Эти варвары – потомки Энея – хотели, видимо, по своему злопамятству приговорить к пламени твою красоту, некогда освещавшую Илион»<sup>442</sup>.

Это тоже уже и не «чистая» история, но и «не совсем» историография. История идей? В любом случае, реальность поражает большим разнообразием, чем любая демаркационная модель. Любые модели условны, «жить в модели» нельзя, как писал Лотман, «нельзя жить ни в одном из наших исследований. Они не для этого созданы. А жить можно только в том, что само себе не равно»<sup>443</sup>.

Между тем, вернемся в Беларусь, ради которой мы и начали наш разговор «про запад». Разговор, подчеркиваем, не ради каких-либо отвлеченных рефлексий, сравнений или противопоставлений, а для «постановки в контекст» белорусской истории, поиска ее места в мировой историографии. Белорусские историки если и признают необходимость существования историографии (как истории исторической науки, но ни в коем случае не как эпистемологии), то интересуются только собственно белорусской историографией, или в лучшем случае – историей изучения истории Беларуси за рубежом. Американская историография – где «методологическая рябь»<sup>444</sup>, нам не нужна, и уж тем более не нужны эпистемологические рефлексии и сомнения, рожденные на чуждой им зарубежной почве. Все эти «цивилизационные подходы», «психоистории», «гендерные истории», «синергетики» -- под одну гребенку, в мусор!

«В мусор», конечно, проще, только вот кто от этого выиграет?

В последние 20 лет среди белорусских историков мы наблюдаем значительный перевес «белорусской» тематики (по сравнению с темами по мировой истории)<sup>445</sup>, причем, если речь идет об историографии, то он ведется либо (а) об историографии Беларуси, либо (б) о зарубежной, но в этом втором случае – с негативной окраской.

Однако не наблюдается ли в такой предвзятости элемент произвольного, так сказать, лицемерия? «Традиционные» подходы, которыми пользуются белорусские историки, и даже наш пресловутый историзм, выработаны на почве того, что принято называть «западной исторической мыслью» (о проблемах европоцентризма, со разнообразными его коннотациями – негативными от проповедников «мультикультурализма» или позитивными со стороны «радикалов» типа С.Хантингтона<sup>446</sup> – разговор пойдет ниже). Именно западная историческая мысль, хотели бы мы того или нет, стала моделью, по которой строились «национальные» историографии» всего мира – будь то исламская традиция или индийская, что отражено, например, в недавнем сборнике под редакцией Й.Рюзена, где наряду с «провокационными» десятью тезисами Питера Бёрка о специфике «западного исторического мышления»<sup>447</sup> и

<sup>442</sup> «Et ces barbares descendants d'Enée ont-ils voulu peut-être par ressentiment contre toi te condamner aux flammes que ta beauté alluma jadis dans Iliou », цит. по Philippe Joutard, Une passion française: l'histoire, p.522.

<sup>443</sup> Лотман Ю.М. Город и время // Метафизика Петербурга. I. СПб, 1993, с. 85.

<sup>444</sup> Слова московского историка и издателя М.А.Бойцова здесь цитируются не случайно, поскольку его статья «Вперед, к Геродоту!» (Бойцов М.А. Вперед, к Геродоту! // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. Москва, 1999,с.24) нашла сочувственный отклик среди крупных белорусских историков (см., например, Материалы научно-теоретической конференции, организованной Беларускім Гістарычным Таварыствам, «Праблемы айчыннай гістарыяграфіі» (Гродно 19 - 21 студзеня 2001 г.), размешенные в Гістарычным Альманахе. В.Фядосік. Праблемы метадалогіі святовай гісторыі ў Беларусі//Гістарычны Альманах, 2001, Т.4.

<sup>445</sup> Это признавал, например, видный белорусский исследователь П.Шупляк: «Нельга зразумець гісторыю свайго народа, свайёй краіны, не ведаючы гісторыі сваіх суседзяў ды і ўсяго чалавецтва. На жаль, у дыскусіях і спрэчках 90-х гадоў у гэтых адносінах існаваў яўны перакос. У цэнтры ўвагі знаходзіліся выключна праблемы беларускай гісторыі. Гэтую тэндэнцыю, дарэчы, можна нярэдка заўважыць і сёння. Калі зыходзіць з чыста эмацыйных пазіцый, то такое становішча можна ўспрыняць і зразумець. Але цвярозы аналіз падзей паказвае, што адзначаны падыход у многім быў памылковым і не адпавядаў патрабаванням часу.»

Усеагульная гісторыя ў Беларусі: дасягненні, праблемы, перспектывы

<sup>446</sup> См. получившую широкий резонанс работу Huntington S. P., The clash of civilizations and the remaking of world order. New York : Simon and Schuster, 1996, фактически возрождающую цивилизационную парадигму и противостояние Восток/Запад.

<sup>447</sup> Peter Burke. Western Historical Thinking in a Global Perspective – 10 Theses. “Peculiarities of the West”:



откликами известных западных историографов Х.Уайта, Ф.Анкерсмита, Ф.Артога, Г.Иггерса, Й.Рюзена, размещены не менее «провокационные» (в лучшем смысле этого слова) статьи представителей «не-западных» историографий – арабской, индийской, исламской, японской, китайской, африканской<sup>448</sup>.

Процессы модернизации и контексты колонизации и деколонизации, требовали от «не-западных» интеллектуалов создания «своих» историй. Классическое представление об этом дал Эдвард Саид в своем «Ориентализме»: с одной стороны, колонизируемые «приняли на себя» видение их колонизаторами, а с другой – выстроили свою историю (историографию в широком смысле этого слова) по «матрице» все того же «Запада». Не обошел этот феномен и белорусскую историографию; мы не уникальны – белорусские историки используют подходы и методы западной исторической мысли. Не будем уточнять, какими путями эти подходы к нам проникали: через историографию российскую ли, через польскую, через советскую... идеи, как говорит «интеллектуальная история» путешествуют незаметно, исподволь проникая в интеллектуальный дискурс – эти пути еще предстоит исследовать<sup>449</sup>. Несмотря на начальный этап сопротивления (когда-то философский романтизм в историографии был изжит органическим историзмом и позитивизмом, а умеренный позитивизм таких корифеев, как Соловьев и Ключевский в свое время вызывал не только восторженное почитание, но и негативное отношение), постепенно, а потому незамечаяемо, подходы проникают – и мы оказываемся в положении господина Журдена, узнавая, что используем подход историзма или неокантианскую идею о постижении духа истории.... Только вот «дискурсам» и «гендерам» не повезло – они приходят к нам *сегодня*. И, естественно, встречают сопротивление.

Приводившийся выше пример с проникновением «западного исторического мышления» (историзм, позитивизм...) в эпоху модернизации, не случаен. Аналогия с постмодерном и глобализацией очевидна. Наша задача – анализировать то, что есть в этих новых направлениях «хорошего» и «плохого». И занимаемся мы этим не потому, что «умение порассуждать об историческом процессе вообще, со всеми основными его закономерностями и противоречиями, могло с успехом компенсировать отсутствие знаний новых и древних языков, библиографии, палеографии, архивного дела и прочих “вспомогательных” разделов исторического знания»<sup>450</sup> (сдерживая откровенную колкость, отметим лишь, что для этих самых историографов-эпистемологов знание языков, библиографии и «прочих вспомогательных» разделов является жизненно важным элементом), а по той простой причине, что надеемся, что серьезный анализ «западного» опыта может оказаться полезным нашим историкам. Ведь тенденции, идущие от постмодерна с его дискурсивным, культурным, лингвистическими «поворотами», активно осваиваются историками и уже имеют широкую сферу влияния у наших ближайших соседей – например, в России, где исследования дискурсов, микроуровневая социальная история, культурная история и т.д. занимают прочное место в журналах «Одиссей: Человек в истории», Ежегодниках по Социальной истории, изданиях Центра интеллектуальной истории Института всеобщей истории РАН («Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории», «Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала Нового времени». Под ред.

---

<sup>448</sup> Tarif Khalidi, Searching for common Principles: A pleas and Some Remarks on the Islamic Tradition; Romila Thapar, Some Reflections of Early Indian Historical Thinking; Sadik J.Al-Azm, Western historical thinking from an arabian perspective; Masayuki Sato, Cognitive Historiography and Normative Historiography; Godfrey Muriuki, Western Uniqueness? Some Counterarguments from an African Perspective; Mamadou Diawara, Programs for Historians: A Western Perspective; Ying-shih Yu. Reflections of Chinese Historical Thinking // Western Historical Thinking: An Intercultural Debate. Ed. J.Rusen. New York, Oxford: Berghahn Books, 2002.

<sup>449</sup> Серьезное исследование в этом направлении представлено монографией А.Н.Нечухрина «Теоретико-методологические основы российской позитивистской историографии, 1880-1917» (Гродно: Изд-во Гродненского университета, 2003), где проанализированы про-позитивистские взгляды российских историков. Между тем, по-прежнему открытым остается вопрос о влиянии позитивизма на собственно белорусскую историографию.

<sup>450</sup> Бойцов М. А. Вперед, к Геродоту! // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. Москва, 1999, с.34.

Л.П.Репиной. М.: Кругъ, 2003 и др.), «Казус: Индивидуальное и уникальное в истории», «Адам и Ева», «Новое литературное обозрение» и др.<sup>451</sup>.

Итак, нужна ли белорусским историкам всемирная историография? Или даже шире, историческая эпистемология? Вопрос вроде бы риторический, и в то же время ответы на него порой болезненны. Белорусская история очень слабо представлена на Западе, и дело не в том, что мы «неинтересны», а в том, что «неизвестны»: большинство западных историков, слыша об истории Беларуси, делает непроизвольную ассоциацию с историей России. В «лучшем» случае, с еще одной из стран бывшего Советского Союза... А ведь в этом есть и наша вина. Выступая мы побольше за зарубежными кафедрами, с одной стороны, и зная бы побольше о зарубежных «тенденциях», нас не сковывал бы тот «комплекс провинциальности», о котором с горечью писали Виктор Федосик<sup>452</sup> и Вячеслав Носевич<sup>453</sup>. Если мы не актуализируем белорусские исследования в терминах западной историографии, то не сможем быть «интересными» для нее, как не сможем и «включиться» в мировой историографический процесс.

Неожиданно для себя я нашла подтверждение этой мысли там, где искала ответы на вопросы об исторической эпистемологии – в сборнике статей «Западное историческое мышление» из серии *Making sense of history* под ред. Й.Рюзена). Хейден Уайт, автор разработок о тропичности исторического дискурса, от которого меньше всего можно было ожидать выступления «на злобу дня», сделал следующее заявление: Если вы хотите делать самолеты, которые летают, и создавать атомные бомбы, которые взрываются, вы вынуждены использовать физику Запада. То же и с вестернизацией в культуре. Если вы хотите «вестернизироваться», вы должны принять западное историческое мышление, т.к. оно является скорее предпосылкой, нежели следствием всех тех аспектов нашей культуры, которые называются «западностью»<sup>454</sup>. Весьма поучительно для тех из нас, кто питает иллюзии насчет изолированного или «автономного плавания» белорусской исторической науки в океане западной историографии! Слова Уайта могут показаться жесткими, но прагматичными: если мы хотим войти в круг мировой историографии, то «вестернизация» неизбежна – а для этого надо осваивать и западную манеру исторического мышления – историческую эпистемологию или историографию.

И тогда придется отказаться от скептически-высокомерного взгляда на «их» «обычную методологическую рябь, когда открывается несколько относительно новых тем, надоевшие словечки заменяются новыми, посвежее»<sup>455</sup>, и обратиться к анализу и уже изъеденных молью постмодерна, и культурного, и дискурсивного поворотов...

В продолжение нашей затянувшейся «полемиической» части, предоставим краткий обзор тем и статей, появившихся в течение последних трех лет в главном журнале американских историков *American Historical Review*.

Исследования «репрезентаций», культурных символов, изменений в иконографии: «“Видение Саломеи”»: космополитизм и эротический танец в центральном Лондоне, 1908-1918» Дж.Р.Валкович – обширная статья, выходящая на такие темы, как сексуальная модернизация,

<sup>451</sup> Помимо упомянутых изданий, обратим внимание читателя на работы А.И.Филюшкина. См. например: Филюшкин А.И. Методологические инновации в современной российской науке: Вместо предисловия // *Actio Nova 2000: сборник научных статей*. М., 2000, с.7-50; его же. *Post-Modernism and the Study of the Russian Middle Ages* // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2002, vol.3, №1, p.89-109.

<sup>452</sup> В.Фядосік. Праблемы метадалогіі святовай гісторыі ў Беларусі // *Гістарычны Альманах*, 2001, том 4.

<sup>453</sup> «Можна, тут — як у псыхааналізе: загаварыць пра гэта, прызнаць, што ў цябе ёсць такі комплекс, — і тады можна далей рухацца. Пакуль не прызнаў — развіцьця няма. Калі б мы пагадзіліся абмяркоўваць паміж сабой, у чым мы горшыя за іншых, мо гэта б адчыніла дзьверы і дазволіла рухацца наперад? А мы ад сябе хаваем, што ёсць пэўныя асаблівасці беларускага мэнталітэту, мітатворчасці, сьвядомасці, якія не дазваляюць нам рабіць навуковыя працы на сусветным узроўні, рабіць палітыку і будаваць дзяржаву на тым самым узроўні». Вячеслав Носевич. Выступление на Круглом столе «Між айчынным чытачом і замежным калегам». // *ARCHE*. 2 (#25) 2003.

<sup>454</sup> Hayden White, *The Westernization of World History*. In: *Western Historical Thinking: An Intercultural Debate*. Ed. J.Rusen. New York, Oxford: Berghahn Books, 2002, p.118.

<sup>455</sup> Бойцов М.А. Вперед, к Геродоту! // *Казус. Индивидуальное и уникальное в истории*. Москва, 1999, с.24.

неподчинение доминировавшей политике дисциплины тела, культурная гибридизация начала XX в.; «Вожди и бюрократы в создании Империи: драма из Транскей, Южная Африка, октябрь 1880», где К.Крэйз анализирует случай ритуального убийства европейского чиновника, символизирующий то, как понимали африканцы появляющийся колониальный порядок, -- это культурная история, показывающая колониальное завоевание не столько как навязывание силы, но как систему кросс-культурных отношений. К этому же «разряду» можно отнести опыты анализа символического языка архитектуры, взаимодействия культурных институтов «вторых городов», городской автономии и строительства нации в 19 веке М.Юмбаха; историю питания как элемента культурной системы, проникнутого отношениями власти, выработка «нормы» и «патологии» в режиме школьного питания в Британии эпохи модерна, проведенную Дж.Верноном<sup>456</sup>.

Своего рода «Case Studies» -- анализ индивидуальных примеров и «опытов», с широким привлечением «литературного» материала (трактатов, писем, газетных публикаций) как репрезентации интеллигента «нового типа» (Д.Хоббинс «Учитель как интеллектуал публичного поля: Жан Герсон и трактат позднего средневековья»); как интеллектуального контекста появления социальной истории (Дж.Деволд «“A la table de Magny”: французские ученые XIX в. и источники современной исторической мысли»); как постановку проблемы необходимости изучать взаимодействия и движения идентичностей на локальном, национальном и межнациональном уровнях (на примере жизни М.Монтефлора, идущей вразрез с принятой сегодня теорией модернизации и национализма – А.Грин «Переосмысление сэра Моисея Монтефлора: религия, нация и международная филантропия в XIX в.»<sup>457</sup>).

Опыт колонизации, глобальные (не только экономические, но главным образом культурные) обмены, женский опыт (анализ завещаний женщин-служанок, проведенный Дж.Бенадуси), проблемы идентичности (например, взаимодействия приобретенных идентичностей – расовых, этнических, классовых, гендерных в статье Г.СэнГупта «Элиты, подчиненные и американские идентичности: Case Study афро-американской благотворительности»), преодоление колониального нарратива о прошлом в постколониальных исследованиях (статьи С.Гуа «Говоря исторически: трансформации тональностей исторического нарратива в Западной Индии, 1400-1900», С.Белмессу «Ассимиляция и расиализм в колониальной политике Франции XVII-XVIII вв.», Г.Манна «Локализация колониальной истории: между Францией и Западной Африкой», статьи Д.Иглера, Д.Глассмана, Дж.Престхолдта, занимающие центральное место в июньском выпуске *American Historical Review* за 2004 год) – на наш взгляд эта проблематика может быть выражена названием статьи К.Х.Дайтон – «Переосмысление действующих лиц/восстановление голосов»<sup>458</sup>.

Этот «дайджест», несмотря на свою краткость, все же представляется показательным. «От одной к другой работе – характеры одни и те же, хотя актерский состав может меняться. Однажды кто-нибудь должен будет исследовать причины, без сомнения сложные, этой

---

<sup>456</sup> Judith R. Walkowitz, The “Vision of Salome”: Cosmopolitanism and Erotic Dancing in Central London, 1908-1918 // *The American Historical Review*, 2003, Vol 108, #2; Clifton Crais, Chiefs and Bureaucrats in the Making of Empire: A Drama from the Transkei, South Africa, October 1880 // *AHR*, 2003, Vol 108, #4; Maiken Umbach, A tale of Second Cities: Autonomy, Culture, and the Law in Hamburg and Barcelona in the Nineteenth Century // *AHR*, 2005, Vol 110, #3; James Vernon, The Ethics of Hunger and Assembly of Society: The Techno-Politics of the School Meal in Modern Britain // *AHR*, 2005, Vol 110, #3.

<sup>457</sup> Daniel Hobbins, The Schoolman as Public Intellectual: Jean Gerson and the Late Medieval Tract // *AHR*, 2003, Vol 108, #5; Jonathan Dewald, “A la Table de Magny”: Nineteenth-Century French Men of Letters and the Sources of Modern Historical Thought // *AHR*, 2003, Vol 108, #4; Abigail Green, Rethinking Sir Moses Montefiore: Religion, Nationhood, and International Philanthropy in the Nineteenth Century // *AHR*, 2005, Vol 110, #3.

<sup>458</sup> Gunia SenGupta, Elites, Subalterns, and American Identities: A Case Study of African-American Benevolence // *AHR*, 2004, Vol 109 # 4; Sumit Guha, Speaking Historically: The Changing Voices of Historical Narration in Western India, 1400-1900 // *AHR*, 2004, Vol 109 # 4; Saliha Belmessous, Assimilation and Racialism in Seventeenth and Eighteenth-Century French Colonial Policy // *AHR*, 2005, Vol 110, #2; Gregory Mann, Locating Colonial History: Between France and West Africa // *AHR*, 2005, Vol 110, #2; Cornelia H. Dayton, Rethinking Agency, Recovering Voices // *AHR*, 2004, Vol 109, #3.

тенденции навстречу описательной социографии»<sup>459</sup>. На самом деле, «реформирование» истории не только уже началось, но идет полным ходом: темы, представленные здесь, очевидно связаны с культурными исследованиями и влияниями «нового историзма». Как следствие разнообразных подходов к истории, они анализируют самые разные аспекты прошлого, но сходятся в исходных позициях – культурализме и текстуализме. Мы не стали бы категорично называть эти позиции заблуждением, как характеризовал их Х.Уайт. Это, скорее, своеобразный набор «практик», которым, возможно, суждено стать символическими для нашей эпохи, – как хроникам средневековья, истории антикваров или эрудитов, классической историографии «Золотого» XIX века, социально-структурной истории двадцатого столетия.

Как остро подметил английский критик Т.Иглтон, в 19 столетии очевидным центром для интеллектуала являлась наука. «Естественные науки были парадигмой для знания в целом». С середины XX в. таким «метаязыком» становится «культура» -- понятие, посредством которого можно иметь одновременный доступ к вопросам политики, этики, метафизики, истории и т.п.<sup>460</sup> Естественно, в условиях доминирования этого «метаязыка» и история также переживает изменения: ее объекты становятся междисциплинарны, источники «многоголосны», а методы – полиморфны, да и сама дисциплинарная «классификация» исследований зачастую становится не простым делом, поскольку многие из них выполнены на пересечении культурного, исторического, социального, лингвистического измерений.

И все же, эти трансформации, несмотря на их радикальность, не должны пугать историков. Даже если на смену истории «социально-экономического развития», «крестьянского землепользования», «генезиса капиталистических отношений» или даже «этногенеза» придут истории «репрезентаций социальной иерархии», «культурная история каузальности» или «представлений о маскулинности», останется пространство истории. Пространство, которое не потеряет своей необходимости для настоящего, несмотря на изменения способов прочтения прошлого.

### От *Magistra Vitae* к рефлексиям над идентичностью

Еще лет пять назад, вынужденная обороняться по поводу своих историографических приставий как «ненастоящих» по сравнению с «фактологической» историей, я терзалась сомнениями: действительно, какое право имею я, не являющаяся «полноценным» историком-практиком, «учить» других, рассказывая о новых направлениях в зарубежной историографии! «Комплекс неполноценности» чуть было не начал перевешивать мою привязанность к теории исторического знания, которую я, вслед за Д.Ла Капра, искренне могла бы назвать «леденящим кровь делом»( И, как писал Д.Ла Капра, «метаисторический комментарий сам по себе может быть леденящим кровь делом. Это процесс двойной рефлексии, дважды удаленный от явного объекта исторического исследования – процесс, который еще больше создает видимость удаления непосредственного прошлого. Как может такое кажущееся нечеловеческим предприятие заставлять кого-либо читать чужие тексты самым искренне заинтересованным образом?... Но, листая страницы недавних исторических работ, я встречаю заявления, будоражащие мое любопытство, и конфигурации идей, которые бросают вызов моему пониманию»<sup>461</sup> ). И тут все-таки пришло осознание: как не могу я вот сейчас, после десятилетних штудий трудов зарубежных историков и теоретиков истории, стать, к примеру, практикующим историком-медиевистом, так верно и обратное. Говоря казенным языком бытовавших ранее штампов, именно в силу специализации науки вообще и исторического знания в частности, мы разделены на множество доменов. «Разделены» -- слово, имеющее для истории негативные коннотации. Разделены, раздробленны и разобщены. Историография, и как

<sup>459</sup> Revel Jacques, Microanalyse et construction du social. In *Jeux d'échelles. La microanalyse à l'expérience*, ed. J.Revel. Paris, Gallimard/Le Seuil, « Hautes Etudes », 1996, p.15-36. Перевод на русский -- Ревель Ж.

Микроисторический анализ и конструирование социального // Одиссей. Человек в истории. 1996. М., 1996

<sup>460</sup> Eagleton Terry. *After Theory*, p.81.

<sup>461</sup> La Capra D. *History and Criticism*. Ithaca and London: Cornell University Press, 1985, p.45



история исторической науки, и в более широком смысле, как эпистемология истории (речь об этой функции моей историографии пойдет ниже), является тем самым «общим», которое может помочь историкам «соединить» фрагментированное по специализациям, периодам, методологическим или даже идеологическим доменам историческое знание, дать целостное видение своей дисциплины и основных тенденций в ней.

Среди многочисленных функций, приписываемых истории, пожалуй, самой известной является цитируемое «*Historia est magistra vitae*». Античные историки, а за ними и их ревнители эпохи Ренессанса, действительно, придавали истории огромное воспитательное значение. Как писал Полибий: «Если бы прежние историки позабыли воздать хвалу самой истории, то, разумеется, нам обязательно было бы обратиться ко всем с увещанием изучать и усваивать себе этого рода сочинения, ибо познание прошлого скорее всяких иных занятий может послужить на пользу людям. Однако не только тот или другой историк и не мимоходом, но, можно сказать, все начинают и кончают уверением, что уроки, почерпаемые из истории, наивернее ведут к просвещению и готовят к занятию общественными делами, что повестью об испытаниях других людей, есть вразумительнейшая или единственная наставница, обучающая нас мужественно переносить превратности судьбы»<sup>462</sup>. «Мое исследование при отсутствии в нем всего баснословного, быть может, покажется малопривлекательным. Но если кто захочет исследовать достоверность прошлых и возможность будущих событий (могущих когда-нибудь повториться по свойству человеческой природы в том же или сходном виде), то для меня будет достаточно, если он сочтет мои изыскания полезными. Мой труд создан как достояние навеки, а не для минутного успеха у слушателей»<sup>463</sup>.

Несмотря на это, в силу своей амбивалентности (нарратив как главный метод сближает историю с литературой, а нравоучительная и прогностическая роли – с философией), уже Аристотель объявляет историю «второстепенной»: «Историк и поэт различаются не тем, что один говорит стихами, а другой прозой. Ведь сочинения Геродота можно было бы переложить в стихи, и все-таки это была бы такая же история в метрах, как и без метров. Разница в том, что один рассказывает о происшедшем, другой о том, что могло бы произойти. Вследствие этого поэзия содержит в себе больше философского и серьезного элемента, чем история: она представляет более общее, а история – частное. Общее состоит в изображении того, что приходится говорить или делать по вероятности или по необходимости человеку, обладающему теми или иными качествами. К этому стремится поэзия, давая действующим лицам имена. А частное, – например, “что сделал Алкивиад, или что с ним случилось”»<sup>464</sup>. С тех пор история-дисциплина прошла долгий путь борьбы за «серьезность», «научность» и «отдельность» своего исследовательского поля. Вектор этого пути проходил через объединение повествовательной традиции первых историков с усилиями антикваров и эрудитов, хорографов, историков-законоведов, а затем – попытки выработать специфически-исторические методы исторической науки. Кризис историографии конца 19 – начала 20 вв. повлек за собой пересмотр исторического знания с целью придания ему именно того «общего» взгляда, на недостаток которого пенял истории Аристотель. Становление «Новой истории» 20 века (главным образом социально-ориентированной) было продиктовано именно этим стремлением уйти от изучения «поверхностных феноменов» частного, событийно-индивидуального уровня к исследованию Общего – «глубоких, анонимных структур и сил»<sup>465</sup>, будь то марксистская или прогрессистская историографии, «Анналы», английская социально-экономическая история или немецкая *Historische Sozialwissenschaft*).

<sup>462</sup> Полибий. Всеобщая история. Перевод с греческого Ф. Г. Мищенко. Москва: Олма-Пресс, 2004. I, 1.

<sup>463</sup> Фукидид. История / Пер. с греч. Ф.Г. Мищенко, С.А. Жебелёва; Под ред. Э.Д. Фролова. - СПб.: Наука, 1999, I.22.4.

<sup>464</sup> Аристотель. Поэтика.

<sup>465</sup> Frederick J. Turner. Social Forces in American History. Annual address of the president of the American Historical Association//American Historical Review, Volume 16, No. 2, p. 217-233.



Однако, как бы не были близки и родственны нам стремления тех «новых историков», следует признать, что уже с середины и особенно в последние несколько десятилетий XX века исследовательский аппарат историков претерпел радикальные изменения – настолько радикальные, что некоторые вообще начали сомневаться в его специфически-историческом характере. Уже упоминавшийся нами признанный лидер историографии, интеллектуальной истории Хейден Уайт показал тропичность исторического нарратива, развивающегося в соответствии с теми же принципами сюжетопостроения и основными тропами, что и литература. Под давлением «культурной теории» и «нового историзма» идет переоценка исследовательских тем. С стороны «культурных исследований» – открытие и даже «банализация» ранее не мыслимых в качестве «серьезных» истории сексуальности, досуга, частной жизни, питания, тела, обоняния, пристальное внимание к проблемам идентичности (этнической, расовой, классовой, гендерной), культ Другого, постколониальные исследования. От «нового историзма» – переосмысление самого понятия исторического источника, с акцентом на взаимообусловленности и взаимовлиянии языка и общества, с представлениями о том, что источник (текст, дискурс) состоит из «репрезентаций» тех культурных конструкций, которые были характерны для той или иной эпохи и отражали/воспроизводили структуру властных отношений).

Следует признать особую ситуацию всех этих влияний, когда в последней декаде XX века в связи с «разрушительным» влиянием постмодерна вообще и постструктурализма в частности, большое распространение получили заявления о кризисе истории как дисциплины. Мол, и методологии специфической не создала, и описывать «то, что происходило на самом деле», не может (из-за объявленной постструктуралистами «непрозрачности» исторического текста и с точки зрения исторической реальности, и с точки зрения намерений историка). И, наконец, декларированный «конец истории» и недоверие к метанарративу и любым схемам, объясняющим исторический процесс, усиливали скепсис в отношении традиционных «нравоучительных» и «прогностических» функций истории: катастрофические войны, людские жертвы, социальные «эксперименты» на государственном уровне в 20 столетии тому явились докательством.

Именно в этих условиях кризиса главных функций истории «новый историзм» и «культурная теория» переоткрыли и усилили ту ее функцию, которая особенно отвечала их исследовательским интересам – идентификационную. Роли истории как создателя, фиксатора и распространителя коллективной идентичности придавали огромное значение уже в период модерна. Время создания или, следуя нынешней моде, «воображения» наций требовало именно такой истории. И «*master narratives*» (мастер-нарративы) появляются в период образования национальных государств не случайно, а отвечая на необходимость формирования коллективной идентичности.

Как писал Й.Рюзен, «Идентичность является ответом на вопрос, кто я есть и кто мы. Если нам нужно отвечать на этот вопрос, мы обычно делаем это, рассказывая историю – историческим нарративом»<sup>466</sup>. Таким образом, история в период модерна предстает нам в виде «мастер-нарратива», реализующего коллективную идентичность, разграничивая «нас» и «других». «*Мастер-нарративы* обычно являются универсальными историями, которые не оставляют места для инаковости (или по крайней мере оставляют ей очень некомфортное место). Они интегрируют ее в образцы своей культуры (как вариацию, как раннюю стадию или как пример общих правил, которым мы привержены) – или они ее исключают. Исключают как «дикость» и «угрозу» или, академически, как объект этнологии»<sup>467</sup>. Критика постмодерном философии «исключения», предполагающую наличие «модели» (белое, мужское,

<sup>466</sup> Jorn Rusen, “Comparing Cultures in Intercultural Communications”, In Across Cultural Borders. Historiography in Global Perspective. Ed. Eckhardt Fuchs and Benedikt Stuchtey. Lanham, New York, Oxford: Rowman & Littlefield Pub, 2002, p.339.

<sup>467</sup> Jorn Rusen, “Comparing Cultures in Intercultural Communications”, In Across Cultural Borders. Historiography in Global Perspective. Ed. Eckhardt Fuchs and Benedikt Stuchtey. Lanham, New York, Oxford: Rowman & Littlefield Pub, 2002, p.339

христианское, гетеросексуальное, европейское) и «отклонений» от нее, радикально изменила сегодняшние интеллектуальные настроения. Ситуация поиска *своей* внутренней, а не внешней соотнесенной с «моделью», идентичности подняла к жизни такие новые сферы исследований, как колониальные исследования, гендерная история, история ранее не изучавшихся этнических меньшинств, критику европоцентризма и «фаллоцентризма» и т.д. Многочисленные «рассказы»-истории, заполнившие сегодня горизонты историографии, озвучивают различные «голоса» индивидуумов и групп, акцентируя их «опыты» и идентичность. «Мастер-нарративы» уже не в моде, а нарративы-речетативы, раскрывающие множественность идентичностей и их «репрезентации» в прошлом, заполнили сегодня историческую литературу, создавая ситуацию фрагментированности исторического знания. Угроза потери целостности истории и ее поиски в лоне историографии – именно с этим явлением мы связываем сегодняшний рост историографических или историко-эпистемологических исследований.

Рост исторической эпистемологии в конце 1980-х не случаен, он есть результат попыток историков осмыслить свою профессию, особенно на волне постоянных ремарок о кризисе истории в это время и фактического отката от революционных парадигм 1960-х на волне «нового историзма» (о этом последнем речь пойдет позже). Более того, рост историографии и ее сближение с исторической эпистемологией является своего рода «компенсацией» целостности, которой история как дисциплина обладала раньше, но начала терять в связи с фрагментацией исторического исследования как такового, ростом специализации, выделения множества направлений, отличающихся не только предметом исследования, но и самими подходами, изменением масштаба исследований и ростом микроистории, изучения многочисленных вариантов «опыта» человека в истории, «дискурсивных практик» и «репрезентаций»<sup>468</sup> ...

Интересную возможность в объяснении роста исторической эпистемологии мы находим у Йорна Рюзена в его «универсальной периодизации исторического мышления»<sup>469</sup>, центром которой является отношение людей ко времени (восприятие, концепция, сама идея времени как посредник между повседневным опытом людей с их ожиданиями и тревогами и их прошлым).

Prehistoric	Sharp distinction between paradigmatic time of world order (“archaic” time of myth) and the time of everyday human life; the latter is meaningless for the order of world and self. Contingency is radically sorted out. Dominance of the traditional type of historical narration. Medium of oral tradition.		
Historic	Mediation of both “times”. Contingent facts (events) are laden with meaning concerning the temporal world order.	Traditional	The entire order of time has a divine character. Religion is the main source for sense of temporal change. Dominance of the exemplary type of historical narration.
		Modern	Minimization of transcendent dimension of time-order. The entire sense of history tends to become inner-worldly. Human relationality is able to recognize it with the means of methodical research of the empirical evidence of the past. Dominance of genetic type of historical narration.
Posthistoric	No comprehensive order of time including past, present, and future. The past is		

<sup>468</sup> Это отмечает не только некая Шутова, но и корифей французской историографии Jacques Revel в своей статье « Microanalyse et construction du social». In J.Revel (ed.), *Jeux d’échelles. La microanalyse à l’expérience*, Paris, Gallimard/Le Seuil, « Hautes Etudes », 1996, p.15-36: “Meanwhile, a growing specialisation within the profession tended to fragment a field of research that had seemed definitively open and unified”.

<sup>469</sup> Jorn Rusen, “Comparing Cultures in Intercultural Communications”, In *Across Cultural Borders. Historiography in Global Perspective*. Ed. Eckhardt Fuchs and Benedikt Stuchtey. Lanham, New York, Oxford: Rowman & Littlefield Pub, 2002, p.346.

separated into a time for itself. Facts of the past become elements of arbitrary constellations that have no substantial relationship to present and future. The human past becomes detemporized. Contingency loses its conceptualization by ideas of temporal order valid for present-day life and its future. Medium of electronics.
--

Т.е. история теряет «историчность», а историография разрастается как средство ее самосохранения.

Развитие мысли о «детемпорализации» постсовременной истории мы видим у ведущего французского историографа Ф.Артога. Анализируя способы того, как люди ставили/ставят себя во временные рамки, он выделяет универсальные категории европейского исторического сознания: «Современники» (Modernes), «Древние» (Anciens) и «Дикари» (Sauvages)<sup>470</sup>. Вплоть до 16 ст. сравнения и противопоставления проходили между первыми двумя. И соответственно, в качестве режима историчности преобладала направленность в прошлое (Древние всегда были предметом для подражания, а со времен Ренессанса античность стала «образцом»). С открытием Америки произошла перестановка акцентов: «дикость» versus «цивилизация» (т.е. современность). В XVII в. пара «древние»/ «современные» снова вернулась, но уже в перестроенном виде: «современные» все больше приобретали уверенности в себе по сравнению с древними (которое преобретало коннотации «детства» современности). Мы современники, утверждаем мы все чаще, являемся истинными «Anciens», в то время как сама «Античность» является не более, чем детством или юностью человечества. А что же «дикари»? ...После того, как он послужил положительным (le bon sauvage) или негативным (каннибал без веры и закона) зеркалом «человека вообще», подпитывая размышления XVIII века, «дикарь» трансформировался в объект сравнительной антропологии. Таким образом он должен быть стать свидетельством наших истоков и подтверждением эволюционных теорий<sup>471</sup>.

Однако и «современники» проходят через трансформации. Без своих «пар», своих vis-à-vis («дикарей» и «древних») отныне они все более и более были заняты самими собой, заняты своим стремлением стать все более современными (модерновыми) – т.е. все более и более аутентичными сами себе. ... Belle Epoque, очевидно, была «золотым веком» модерна. А потом начались войны, и уже с 1914 интеллектуалы стали подвергать скепсису и сомнениям достижения модерна, вплоть до отрицания самого модерна. С целью определения своего места по отношению к самим себе «Современники» применили всевозможные префиксов: прото-, пре-, гипер-, ультра-, анти-, и последний – пост-модерн. При помощи этих сложных слов, ни одно из которых не имеет – и фактически не может иметь – однозначное значение, они начертили линии на территории модерна, произвели разделы и условные ограничения... в наше время «Современники» тоже заняты сами собой, но по-другому. На повестке дня уже не поиски своих истоков, и не исследования (а следовательно, и не защита) национального духа, а сюжеты, исходящие из индивидуального уровня, память, наследие (patrimoine), идентичность: моя память, то, что означает для меня наследие, моя идентичность, сейчас<sup>472</sup> [курсив О.Ш.].

Что это, конец истории, или точнее, конец историчности? Эта нить рассуждений Артога об одержимой сосредоточенности интеллектуалов кон.20-нач.21 ст. на своем собственном времени должна рассматриваться в совокупности с другой его концепцией – режимов историчности как «различных способов артикуляции категорий прошлого, настоящего и будущего. В зависимости от того, делается ли акцент на прошлом, настоящем или будущем, порядок времени не одинаков<sup>473</sup>. Героический (античный), иудейский/христианский,

<sup>470</sup> См. Francois Hatog. Anciens, Modernes, Savages. Paris: Galaade Editions, 2005.

<sup>471</sup> Ibid., p.18

<sup>472</sup> Francois Hatog. Anciens, Modernes, Savages. Paris: Galaade Editions, 2005, p.20.

<sup>473</sup> См. François Hartog, *Régimes d'historicité, Présentisme et Expériences du temps*, Paris, Seuil, 2003. Следует сделать оговорку, что термин «режим историчности» переводится по-разному. В некоторых изданиях (Анналы на рубеже веков. Антология. Под ред. А.Гуревича. М, 2002, перевод Е.Э.Ляминой) «режим историчности» передается как «режим исторической рефлексии»; в других (рецензия В.Мильчиной на эту же книгу) он переводится как «тип исторического мышления».

футуристский/модерн, презентистский – таковы основные режимы историчности, выделяемые Ф.Артогом. «В античном режиме человек, чтобы понять происходящее, обращался к прошлому: постигаемость шла от прошлого через настоящее в будущее. В новом режиме (Артог выделяет в качестве ключевой дату 1789), напротив, доминирует именно категория будущего: к нему нужно идти, от него исходит свет, делающий интеллигибельным и настоящее, и прошлое. Время начинает пониматься как ускорение (*accélération*), и «поучительные» примеры уступают место уникальным событиям. Так наступает футуристский режим (*un régime futuriste*).<sup>474</sup> В настоящее время (после 1989<sup>475</sup>), пишет Артог, мы становимся свидетелями новой смены режима историчности, в котором явственно преобладает погруженность в настоящее<sup>476</sup>.

Посмотрим на тематику диссертаций, защищенных в последние годы (2005-2006) в таких крупных американских университетах, как Гарвардский, Принстонский, Джона Хопкинса, Нью-Йоркский (см. Таблицу 3). Из 97 тем примерно (мы вновь делаем оговорку об условности любых классификаций, включая и эту) 23 посвящены исследованиям в области истории афро-американцев и индейцев, проблемам расы и идентичности; другие -- связаны с иными ракурсами идентичности: постколониальными исследованиями (5), историей женщин, семьи, сексуальности и гендерной историей (6). 21 диссертация имеет характер исследования представления прошлого, его репрезентаций в виде, например, «Публичного образа интеллигенции в 1960-е гг.: шпион во всех нас» (Альбион А., Гарвард, 2005) или «Театр войны: исследование визуальной и популярной культуры времен испано-американской войны» (Миллер Б. Университет Джона Хопкинса, 2006).

Тенденцию роста академического интереса в области интеллектуальной истории и историографии подтверждает количество исследований – 15, причем среди них имеют равный вес как работы в рамках традиционной историографии («Сублимация риторики: что сделал Джамбаттиста Вико с искусством убеждения» Маршалл Д.Л. унт-т Джона Хопкинса, 2006) или с недавнего времени ставшее «почти-классическим» изучение «конструирования» истории и историографии («Шотландский исторический дискурс и аргументы в пользу власти метрополии Британской империи в Атлантике, 18 век» – Тонкс П., ун-т Джона Хопкинса, 2005), так и работы, сближающие интеллектуальную историю с культурной историей – «Очень тонкие материи: навстречу культурной истории Души в римской античности» (Смит Г., Гарвард, 2005).

7 работ условно объединены нами как посвященные проблемам миграции и окружающей среды.

И наконец, примерно 20 работ можно считать выполненными в рамках парадигмы социальной истории. В то же время даже из этого числа многие работы нельзя отнести к «просто» традиционным исследованиям социально-экономических процессов и структур. Так, многие из них ставят проблемы «символического» («Сущность и символ: Китай и глобальная опиумная торговля в 19 ст.» Байер К.Ш., Нью-Йоркский ун-т, 2005) или поднимают проблемы микро-социальных связей (Миры старый и новый: связи фанариотов и преобразование османского управления, 1800-50. Филлиу, К. Принстон, 2005).

В целом из 97 тем диссертаций, защищенных в 2005-2006 гг. в Гарвардском, Принстонском, Джона Хопкинса, Нью-Йоркском университетах, примерно 77 имеют в своем названии «идентичность», «раса», «колония», «память», «репрезентация», представляя «культурную историю», «историю женщин», «гендерную историю» и т.д.

Да, западная историография переживает сильные трансформации, – постоянно повторяем мы как заклинание, или скорее как «оправдание» нашего собственного интереса к ней. Каков будет результат этих изменений, какие переформулировки еще претерпит история и какова будет их цена? Возможно, именно «внешний» взгляд на проблемы или успехи западной

<sup>474</sup> Ibid, p.97

<sup>475</sup> Здесь Ф.Артог опирается на размышления Э.Хобсбаума: Eric Hobsbawm, On History, London, Abacus Book, 1998, p.311.

<sup>476</sup> François Hartog, *Régimes d'historicité, Présentisme et Expériences du temps*, p.116.



историографии сможет дать что-то полезное белорусским историкам? Когда Maria Lucia G. Pallares-Burke (ed) Polity Press интервьюировала ведущих западных историков об их подходах и ремесле, Карло Гинзбург в ответ на вопрос об истории ментальностей, новой истории, «социальном воображении», заметил, что его не интересуют ярлыки, как не волнует и то, как его называют. Несмотря на то, что нам такой подход (действительно, к чему все эти ярлыки, и какая разница, микроистория или история повседневности, история или история идей?) понятен и даже в чем-то близок, все же для нас, тех, кого пока еще не сильно коснулись преобразования «новых» историй, важно понять, что есть такого нового в исследованиях «западной» историографии по сравнению с нашей «восточной».

За «материалом для сравнений» мы обратились к официальному сайту Высшей аттестационной комиссии Республики Беларуси и ее журналу «Аттестация» за 2005-2006 гг. (см. Таблицу 2)

Большинство работ посвящены исследованию социальных процессов, структур, политических отношений, институтов. Несколько интересных работ по темам «женской истории» выполнены с точки зрения «макро-подхода». Конечно, по сравнению с временами советской историографии тематика весьма изменилась, но основные подходы (социально-структурный, макро-масштабный) остались теми же. Нельзя не отметить и существенное изменение тематики по сравнению с 1990-ми с их интересом к таким значимым проблемам белорусской истории, как государственность, национальное строительство, этническое самосознание, роль «белорусского элемента» в ВКЛ, международные отношения в Восточной Европе в XIV-XVIII вв., тоталитаризм, внутренняя и внешняя политика советского государства<sup>477</sup>. Работы этих и многих других историков стали прорывом в создании белорусской истории, причем не только заполнением «белых пятен» в уже имеющейся канве советской историографии, но концептуально новой *белорусской*, с центром Беларусь. Этот фундамент новой истории Беларуси складывается, в подавляющем большинстве, из работ, посвященных «институтам» или «структурам», соответствуя типу «модерновой» историографии. Именно поэтому, оценки, данные Р.Линднером, вызывают двойное ощущение: «Гэтае выданне, якое ўяўляе сабой агляд беларускай гісторыі, дало багаты матэрыял для разважанняў пра новыя шляхі гістарыяграфіі. Аднак з пункту гледжання метадалогіі гісторыі яно не адрознівалася навізнай. Новая “нацыянальная канцэпцыя” беларускай гісторыі прэтэндуе на “аб’ектыўнасць”, але на самой справе яна толькі пашырыла тэматыку даследаванняў і прапанавала новую, іншым разам даволі цьмяную, інтэрпрэтацыю падзеяў мінуўшчыны»; «У 1991 г. нацыянальная гістарыяграфія пачала пошукі гістарычнага абгрунтавання абвясчэння Незалежнасці. Гэтая падзея найноўшай беларускай гісторыі была хутчэй выпадкам, чым заканамерным вынікам дэмакратызацыі і свядомай патрэбай незалежнасці»<sup>478</sup>. Выбор исследовательских тем не случаен: отвечая «велению времени, историки оглядываются назад в прошлое с целью увидеть, прочитать (или интерпретировать) нечто, что поможет будущему. Будущему Беларуси как нации, как народу, как государству.

Сближение эпистемологии и историографии в этих условиях в Беларуси воспринимается отрицательно: философы считают узурпацией своего домена, а историки подозрительно отвергают любую «чуждую» (а тем более западную) эпистемологию. В результате освоение новых технологий все равно идет, но часто в «перевернутом» или урезанном виде (появились анализы дискурсов почему-то с ударением на первом слоге, и даже «дискурс-анализы»; поговаривают также о полезности «истории культуры» (вместо «культурной истории», оставляя естественно за кадром все коннотации этого термина). Хотя в белорусской историографии в целом преобладают темы социально-политической истории на ее макро-

<sup>477</sup> См. А.Мальдис, В.Носевич, Г.Штыхов, М.Пилипенко, Г.Саганович, П.Лойко, Г.Голенченко, И.Юхо, А.Кравцевич, А.Грицкевич, А.Смолянчук, А.Белый, Д.Карев, О.Яновский, В.И.Бобышев, А.Н.Янушкевич, Е.Филатова, С.Морозова, И.Саверченко, М.Соколова, М.Костюк, М.Бич, Н.Сташкевич, Т.Протько, В.Михнюк, З.Шибека, А.Киштымов, П.Терешкович и др.

<sup>478</sup> Райнер Линднер, Нацыянальныя і «прыдворныя» гісторыкі “лукашэнкаўскай” Беларусі // Гістарычны Альманах, 2001, Т.4.



уровне, в последнее время появляются и работы, «идушие в ногу» – история снизу, микро-история<sup>479</sup>, повседневности, женская. На этом фронте преобладает женская история<sup>480</sup>, именно она первой бросает вызов «традиции», затрагивая сферы, ранее не изучавшиеся: частная жизнь, досуг, здоровье, дети и т.д. – то, что традиционно входило в женский/частный круг жизни.

В размышлениях о «режиме историчности», характерном для белорусской историографии, в терминах Ф.Артога и Й.Рюзена, напрашивается следующая аналогия: современный режим историчности был характерен строгим ощущением времени, уверенностью в возможностях истории как науки при помощи своей методологии познать эмпирические свидетельства прошлого, а также доминирование генетического типа исторической наррации (историко-генетический метод). И (sic!) направленность в будущее...

Постмодерновая историография отражает иной тип исторического сознания: диктат настоящего. «Осколочность» исторического нарратива. Отсутствие порядка, объемлющего прошлое, настоящее, будущее. Прошлое разделено во времени, а его факты становятся элементами различных сочетаний, не имеющих существенных связей с настоящим и будущим. Прошлое «детемпорализуется». Протяженность теряется, и нет порядка времени, валидного для жизни в настоящем времени.

Акцентируя условность и этих демаркаций, все-таки попытаемся «маркировать» на основе состояние белорусской историографии как «модерновое». Ее пафос по созданию национальной концепции истории, ее направленность в будущее, историко-генетический нарратив... Безусловно, за несколько последних десятилетий усилиями талантливых историков дело создания национальной концепции истории – *мастер-нарратива* – продвинулось далеко вперед. И все-таки «модерновая» концепция истории пока не создана, она не доминирует в историческом сознании, тем более не будучи поддерживаема правящими кругами. Поэтому мы бы все-таки сказали так: постмодерна в белорусской истории пока нет. Он появляется, растет исследовательский интерес к изучению и гендерных отношений, и повседневности. Но нет главного – признанных историй, которые бы показывали белорусов не объектом, а субъектом истории. Поэтому занятия «микро-уровнем» выглядят пока как бесплодные топтания, поэтому вызывают раздражение «всякие там» гендеры-дискурсы. Макро-уровневый белорусский нарратив должен быть еще не только создан (многие работы такого характера уже существуют), но и осмыслен «историософски», распространен и даже «банализирован». Пока этого нет, белорусские историки творят «в вакууме», притесняемые государством и не признаваемые как нужные «народом». Тем самым «народом», от имени которого они пишут историю.

К слову сказать, и сама наша убежденность в том, что именно историки обладают силой в формировании исторического сознания своих современников, является своего рода иллюзией эпохи модерна. Постмодернистская историография в кон.ХХ в. ушла от веры в какую-либо «экссклюзивную» монополию на формирование «национальной идеи» или общественного мнения в целом. Как писали редакторы известного сборника статей «Writing National Histories. Western Europe since 1800»<sup>481</sup> Stefan Berger и Kevin Passmore, «совершенно очевидно, что такие

<sup>479</sup> См. одну из первых таких работ: Блізкая гісторыя. Паўсядзённая жыццё ў Беларусі: 1945-1965». Конкурс для школьнікаў 98/99. Зборнік матэрыялаў і конкурсных працаў. - Мн., 1999; публикацию документов повседневной жизни 1951 г.: А.Гужалоўскі “...Міласьці Вашай просім”, альбо Адзін год у навейшай гісторыі Беларусі, адлюстраваны ў лістах, заявах, скаргах і іншых формах звароту грамадзян” Мн., 2006; исследование микрорегиона – Кореньщины – В.Носевича: Традиционная белорусская деревня в европейской перспективе. Минск: „Технологія“, 2004.

<sup>480</sup> Женщины на краю Европы / Под ред. Е. Гаповой. Минск: ЕГУ, 2003; Гендерные истории Восточной Европы / Под ред. Е. Гаповой, А. Усмановой, А. Пето. Минск: ЕГУ, 2002; Женщины в истории: возможность быть увиденными. Под ред. И.Чикаловой. Минск: БГПУ, 2001, 2002, 2004; Иной взгляд. Международный альманах гендерных исследований. Минск: БГПУ, 2002; Г.Дзёрбіна. Права і сям’я у Беларусі эпохі Рэнесансу. Мн., 1997.

<sup>481</sup> Writing National Histories. Western Europe since 1800. Stefan Berger, Mark Donovan, Kevin Passmore eds. London: Routledge, 1999.

историки, как Кине и Макалей писали для не-академической публики, и они влияли на общественное мнение. Но их публика оставалась очень узкой, преимущественно кругом образованной буржуазии. Профессионализация истории в конце 19-начале 20 стст. никак не повлияла на расширение голоса академической истории. Огромное количество исторических сочинений, вероятно, не имели прямого отклика в широких массах населения, не выдерживая состязания с устной традицией, мифами, журнализмом и различными формами народных развлечений, начиная мюзик-холлами и заканчивая кино... Мы предполагаем, что история имеет больше значения в кристаллизации идей и идентичностей различных компонентов элит... Английские историки от Макалея до Хобсбаума, например, считали изучение прошлого необходимой подготовкой для тех, кому предназначено править. Видимо, именно в связи с этой ролью истории для формирования идей и проектов тех, кто стоит у власти, правительства всегда были так чувствительны к тому, что происходит в университетах. Правительства и режимы, конечно, тоже пытались «вписать» определенные взгляды на прошлое в народные массы, однако это предприятие часто оказывалось безуспешным (например, в Восточной Германии)<sup>482</sup>.

И совсем пессимистично звучат слова А.Першая о белорусских интеллектуалах: «Беларусские интеллектуалы порождают новый национальный дискурс, рассчитывая на (гипотетический) ответ белорусского народа. Но ответа нет: в этом случае возникает тревога. Это дает повод думать, что белорусские интеллектуалы потенциально исключены из белорусского общества, и что в будущем вероятно появление новой группы интеллектуалов, которые заменят существующих. Если взывает центр, то почему ему никто не внимлет? Либо не верен призыв, либо группа, его производящая, не имеет голоса в публичном дискурсе. Интеллектуалы – вне зависимости от того, определяются они в таком качестве изнутри группы или извне ее – по определению не производят «неверных» призывов. Следовательно, более вероятно, что их бессилие затронуть народные массы является результатом исключения»<sup>483</sup>.

История знает очень мало примеров, как бы не тешили себя этой мыслью, оказания массового непосредственного влияния на «народ». А только через образованные элиты, готовые взять (и бравшие) на себя власть (и через официальные каналы образования начинавшие проводить «политику истории»). Утверждение одного из лидеров белорусской историографии Д.Карева о том, что «исторической науке Республики Беларусь предстоит сыграть значительную роль в формировании национального самосознания белорусов и рамках XXI в.»<sup>484</sup>, безусловно выражает наши общие желания, но остается мечтой о той самой «Historia Magistra Vitae», которая вдохновляла поколения историков на протяжении многих веков. Историческая эпистемология национальных историй, которая может выделить непосредственные «звенья», составляющие «среднюю» национальную концепцию, прямо свидетельствует об этом.

Таковыми общими элементами – сходствами конструирования национальных историй в Европе являются:

- высокий уровень политизации национальной истории;
- существование множественности национальных историй (включая производство альтернативных историй гендера, класс и расы, а также последовательный пересмотр национальных историй в гендерной, классовой, расовой перспективах);

---

<sup>482</sup> Вышедшая в 1999 г. книга *Writing National Histories. Western Europe since 1800* (Routledge, 1999), вызвала серьезные дискуссии в англоязычной историографии, касающиеся актуальных и для белорусской историографии статей о конструировании национальной истории (закономерностях) и анализа конкретных эпизодов национальных историографий. Она была подвергнута жесткой критике со стороны некоторых историков (прежде всего, Stuart Woolf – Universities of Essex and Venice).

<sup>483</sup> Pershai A. Questioning the Hegemony of the Nation State in Belarus: Production of Intellectual Discourses as Production of Resources // *Nationalities Papers*, Vol. 34, No. 5, 2006, pp. 623-635.

<sup>484</sup> Карев Д.В. Белорусская историография на рубеже XX–XXI вв. (Старые проблемы и поиски новых решений)// Международная научная конференция, посвященная 70-летию исторического факультета БГУ «XXI век: актуальные проблемы исторической науки».

- важность специфических институциональных контекстов производства академического знания;
- идеи «рождения» национальго характера (мифы об основании);
- идеи о какой-либо «безвозвратной точке» в развитии национальных государств;
- важность отношений «центр-периферия» в конструировании национальных нарративов;
- связь между национальной историей и национальной миссией;
- важность геополитических аргументов (например, о нациях – мостах между другими нациями);
- идеализация и «героизация» «национальных» характеров или событий;
- важность границ и в особенности нарушения границ, которое оставило сложные шрамы и взаимосвязи на карте национальных историографий европейских государств;
- дебаты о соотношении «научности» (объективности исторической работы) и любительства<sup>485</sup>.

Подобные элементы, составляющие «конструирование» национальной истории, «мастер-нарратива», широко известны западной историографии благодаря новым идеям о «воображаемом» характере процесса коллективной идентификации, вошедшим в историографию в конце XX века с такими именами, как Б.Андерсон, Э.Геллнер, Э.Хобсбаум, J.Breuilly, M.Hroch, A.Smyth.

Справедливости ради следует сказать, что идея о «воображенных сообществах» не была новой уже в середине 1970-х, когда Бернард Левис анализировал многочисленные случаи «изобретения» исторической традиции<sup>486</sup>.

Так, сравнивая празднования двух исторических событий в Израиле (героическая оборона Масады в иудейском восстании в 66 г.н.э.) и в Иране (празднование 2,500-летнего юбилея основания Киром Великим персидского государства), Б.Левис пишет о том, что их объединяет: оба породили что-то сродни национальному культу, оба имеют общую тему героизма и оба, в отличие от многих других на Ближнем Востоке, связаны прежде всего с политикой, но не религией. Но самое примечательное в них то, что оба они были забыты своими народами, они были неизвестны до тех пор, пока их не открыли историки по внешним источникам. Масада, например, не упоминается ни в одной книге раввинов, ее написание также не conjectural in Hebrew. Единственный источник, который рассказывает о героическом сопротивлении и смерти защитников Масады, это хроника Иосифа (Иудейская война), иудея-рenegата, который писал по-гречески и чьи работы не являются частью традиционного иудейского наследия. В 10 в. в Италии был сделан перевод на иврит, и в этой традиции он переводился. В то же время, пассажи, связанные с защитой Масады, в те времена не имели никакого особого отклика.

С другой стороны, персы практически не имели записей про своего отца-основателя Кира, а только источники о нем от греческой и иудейской традиций. Но поскольку до совсем недавнего времени персы не читали ни Библии, ни греческих историков, то и знали они о нем совсем мало.

Для обоих событий (Масада и Кир) имели большое значение археологические открытия. Для Кира – нашли цилиндрическую печать с единственной кировского времени надписью в Ниневии (сейчас в Британском музее) и откопали массивные руины Персеролиса, имперской столицы древних персидских монархов линии, которую основал Кир. Для Масады тоже археолог профессор Yigael Yadin много сделал – откопал и популяризовал (до него путешественники, посещавшие останки Масады, отмечали, что евреев она мало интересовала. Кроме того, до него дело популяризации и романтизации начал еврейский поэт – эмигрант из Украины после революции, издававший еврейские погромы и думавший, что хуже уже ничего

<sup>485</sup> Editors' Response: Stefan Berger and Kevin Passmore to the review of the Writing National Histories. Western Europe since 1800 (Routledge, 1999) by Stuart Woolf (Universities of Essex and Venice).

<sup>486</sup> Bernard Lewis. History: Remembered, Recovered, Invented. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1975

быть не может – Ицхак Ламдан в 1927 г. – оттуда начинается линия «Masada shall not fall again»<sup>487</sup>).

Ниже мы еще вернемся к идее исследования «сконструированности», «воображенности» в концепции национализма в постмодернистской историографии, но пока, возвращаясь к проблемам/актуальности создания мастер-нарратива истории Беларуси, ограничимся еще одним рассказом. Так, анализируя конструирование национальной истории «меньших наций», Jo Tollebeek убедительно продемонстрировал важность исторических репрезентаций в Бельгии периода романтизма. Легитимация нового национального государства имело место в контексте, главным образом, французских претензий на то, что бельгийская идентичность была лишь 'une nationalite de convention'. Бельгийские историки 19 ст. занимались доказательством противного: они изобрели миссию для своей страны – «хранителя старой католической цивилизации», а бельгийское правительство предприняло огромные усилия для того, чтобы популяризировать работы историков. Бельгия была страной, которой не хватало географической и политической целостности. Ее история была отмечена многими разрывами и сменами режимов. Исходя из этого, национальные мифологии такие, как «национальный дух» (*Volksgeist* Гердера), религия, особый образ жизни бельгийцев, образ Бельгии как поля сражения Европы, портрет бельгийской истории как постоянного завоевания и угнетения, – все это должно было помочь преодолеть недостаток единства и независимости в прошлом Бельгии<sup>488</sup>.

Мы привели эти «иллюстрации» для того, чтобы показать, что пока мы не станем понятны сами себе, в виде «своего» мастер-нарратива, всякого рода «повседневности», «гендеры» или «синергетики» будут «не в контексте».

Разрыв между философами и историками в Беларуси только подчеркивает эту мысль. Если историки с презрением или недоверием относятся к исторической эпистемологии и тем паче к ее «новым модам», то интеллектуалы таких доменов, как философия, искусствоведение уже давно освоили и прочно владеют языком постмодерна<sup>489</sup>. Последние два издания даже «переросли» его, критикуя тот же мультикультурализм или «новый историзм». Критика, конечно, справедливая, только 1) вряд ли актуальная (у нас-то мультикультурализмом даже не пахнет) и 2) не совсем «здоровая». Ведь тот же мультикультурализм, на который ополчились, например, авторы «Фрагментов», вырос и существует не сам по себе, а на определенных корнях, как то: постструктуралистская критика европоцентризма, деконструкция всякого рода «исключений», промоушен «инаковости» и т.д. К тому же он развился в конкретном контексте – например, социальные движения 1960-х, перевернувшие привычную картину мира людей: движение «новых левых», борьба за права афро-американцев, пацифистские демонстрации в выступления студентов, движение хиппи и "детей-цветов", сексуальная революция, рост феминизма и т.д.<sup>490</sup>. Авторы же критикуют его с точки зрения его самого, что в каком-то смысле вытекает из их исследовательских предпочтений и доменов – культурология, философия.

<sup>487</sup> Ibid., p.3-6.

<sup>488</sup> Jo Tollebeek, *Historical Representation and the Nation-State in Romantic Belgium (1830-1850)* //: *Journal of the History of Ideas* (1998), pp. 329-353, p.336. Подобные идеи в отношении Швейцарии высказывались также в сборнике статей с характерным названием «Воображенная Швейцария: конструирование национальной идентичности» (*La Suisse Imaginee. Bricolages d'une identite nationale*. Guy P. Marchal, Aram Mattioli eds. Zurich, 1992).

<sup>489</sup> См. Постмодернизм. Энциклопедия. Под ред. А.А. Грицанова, М.А. Можейко. Минск: Интерпрессервис, 2001; Гурко Е. Деконструкция: тексты и интерпретация. Минск: Экономпресс, 2001; Понимание и существование. Сборник докладов международного научного семинара. Минск.: Пропилеи, 2000; Усманова А. Р. Умберто Эко: парадоксы интерпретации. Минск.: Пропилеи, 2000; Фурс В. Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса. Минск: Экономпресс, 2000; журналы Фрагментыфілязофіі культуралёгіі літаратуры (см., например, «Маргінальнасць, мультикультуралізм і вайна культурау» – № 6: 1-2, 1999; «Беларуская ідэнтычнасць» – № 11: №3-4'2001); *Arche* (см. например, 1999 № 1) и др.

<sup>490</sup> См. Marwick A. *The Sixties. Cultural Revolution in Britain, France, Italy and the United States, c.1958-c.1974*. Oxford, N.Y.: Oxford University Press, 1998; Hobsbawm E. *The Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914-1991*. London, 1994; Appleby J., Hunt L., Jacob M. *Telling the Truth About History*. New York, London: W.W. Norton and Company, 1994; Cauter D. 1968 dans le monde. Paris, Edition Robert Lafont, 1988.



Но мы-то историки, почему не скажем своего слова? У нас другие приоритеты? Нам вся «их» новомодная «болтовня» не нужна, поскольку мы заняты более важным и серьезным делом? Безусловно, национальная концепция истории – дело серьезное, и такой мастер-нарратив, конечно, нужен, только вот если в числе наших «приоритетов» не окажется исследований мета-нарративного характера, т.е. той самой исторической эпистемологии, то историки Беларуси рискуют оказаться вне своей профессиональной идентификации.

История в Беларуси сейчас как бы в вилке: с одной стороны фактографические историки, живущие в *режиме модерна*, ощущающие «вектор в будущее», нацеленные на высокое достижение национальной истории; с другой – историческая эпистеология (историография), ощущающая себя уже в *режиме постмодерна*, с его «диктатом настоящего». Очевидно, в силу своего «метаисторического» характера, по роду своей деятельности, историография, так сказать, накушалась западных яств и желает сделать их доступными у себя на родине. А здесь их не принимают, они чужды идее национальной истории. Быть историографии как эпистемологии истории у себя на Родине полнокровной дисциплиной? Нужен ли белорусским историкам анализ, критика, перспективы, полученные из опыта западной исторической мысли? Для нас этот вопрос выглядит риторически: мы не можем оставаться далее «вне контекста». Со своими целями, со своим опытом, со своим анализом и собственными белорусскими «нарративом» и «дискурсами» мы будем интересны общемировому контексту. И если «там», в общемировом контексте, уже говорят о ситуации (*после*)постмодерна и *последствиях* глобализации, то мы волей-неволей должны «пристраивать» свой опыт к тому новому, что УЖЕ есть. Вот тут и нужна историография с ее анализом «чуждого» опыта и основных его тенденций.

Как явствует из результатов проекта «Европейское историческое сознание», выполнявшегося при кооперации Фонда Кёрбера и Института новейших гуманитарных исследований Эссена, «История, безусловно, играет важную роль не только для индивидуального самоосознания, но также для развития коллективной идентичности общества как целого. Общество, не способное выработать критический взгляд на собственное прошлое, оказывается также не способным к определению своего положения и возможностей в рамках мультинационального или даже глобального сообщества в будущем»<sup>491</sup>.

В то же время, боюсь повториться, и все же оговорюсь: при создании такой концепции следует проявлять большую осторожность. Сейчас XXI век, и «примерять» на себя рецепты XIX века о создании «национального мифа» и прочих составляющих национального движения уже поздно. Как писал Ш.Дин, «Национализм был эффективен в период модерна, т.к. он содержал метафизическую целостность. Он был способен рассказывать модернистскую историю»<sup>492</sup>.

### О «центрах» и «перифериях»

Несмотря на всю рискованность этого предприятия, мы хотим поднять вопрос о том, почему белорусская (русская, украинская... – любая, представители которой считают, что она имеет особые черты и особые задачи) сопротивляется проникновению «западности», в целом негативно встречая любые проявления «западной» исторической мысли у себя на родине?

Историография (в широком смысле, как сама история) – продукт исторического пути исторического сознания (не «сознательности»!), когнитивных привычек думать о времени вообще и о своем прошлом, настоящем, будущем, предках и обычаях в частности. Пути, ведущего от практик повседневности (похороны, проводы зимы или написание мемуаров) к осознанию себя находящимися во времени: «Лет две тисечи без закону пред потопом». «Лет две тисечи зь законом со обрезанием». «Лет две тисечи зь евангилием, то есть

<sup>491</sup> Approaches to European Historical Consiousness. Reflections and Provocations. Ed. Sharon Macdonald. Hamburg: edition Koerber-Stiftung, 2000, p.7.

<sup>492</sup> Seamus Deane, Introduction Nationalism, Colonialism, and Literature. Eds. T. Eagleton, F. Jameson, E. W. Said, S. Deane. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1990, p.9.



христианство.»<sup>493</sup>. Пути реминисцентных шагов в прошлое, таких, как на фоне заката «золотого века» и притеснения «белорусов» воспоминания о добром славном времени Сигизмунда, который «— солодкая память его,— той немцев, як собак, не любил и ляхов з их хитростю велми не любил, а Литву и Русь нашу любително миловал. И горяздо лепш нашие за него мевалися, хоть в так дорогих свитах не хаживали. Другие без ноговиц, як бернардыны, гуляли, а сорочки аж до косток, а шапки аж до самого поеса нашивали. Дай, боже, изнов такой години приждати и тепер!»<sup>494</sup>. Пути с раздумьями о настоящем и сопоставлением с соседями:

Грудью встречая врага на переднем краю, как заставой,  
Мы обескровели, меч наше тело изранил.  
Кровь наша реками льется и путь продвиженья  
Вражеских орд замедляет; щиты наши в дырах  
От бердышей беспощадных и в шрамах от сабель.  
Враг, скрежеща в озлобленье зубами, под скрежет металла  
Явно застрял бы, и воинству нашему легче  
Было б сражаться, окрепла бы вера в успехи,  
Если б крещенный народ за спиной вероломно  
Не ослаблял наши силы ударами с тыла.  
Наших соседей напасть батогом не коснулась,  
Красный петух не прошелся по стрельчатым крышам.  
Тихий уют их пока что ничем не нарушен,  
Лишь потому, что наш край полыхает в пожарах<sup>495</sup>. )

И конечно, своей особой (коллективной) роли и «буферности» между католичеством и православием:

Не барзо тебе Рымъ прагнетъ, и латина  
може бов Ъмъ обыйтися безъ русина.  
Навернися до Выходней  
церкви своеи святой<sup>496</sup>.

Размышления о началах белорусского исторического сознания переносят нас в XVI-XVII века, времена, известные и «Золотым Веком», и драматичными войнами и разрушениями, а также окрашенные своеобразной символикой позднейшего отражения в историографии: как время «упущенных возможностей» (А.Мальдзис: «наш цягнік у XVI ст., у Залаты Век, ішоў нармальна, і нават з апярэджаннем... Калі б цягнік наш ішоў так, як ён пачаў ісці ў XVI стагоддзі, то ўсё ў нас было б добра»<sup>497</sup>).

Отметим особо, что историческое сознание, на наш взгляд, подлежит более широкому, нежели было принято считать до недавнего времени, определению. Его отправной точкой является не столько письменная традиция (когда начали фиксировать прошлое, писать историю), сколько определение группами людей себя во времени (прошлое-настоящее) и в пространстве («наше» и «чужое»). Такая постановка вопроса сразу выводит народы, которым в мировой историографии до недавнего времени отказывали в исследовательском интересе (используя логику «нет письменной традиции осмысления прошлого – нет национальной истории – нет исторического сознания»), на авансцену исторического и антропологического интереса.

<sup>493</sup> Кон.XVI-нач XVII вв., Баркулабовская летопись. По изд.: Полное собрание русских летописей. Т.32. М., 1975., с.143.

<sup>494</sup> Прамова Мясешки, каштэляна Смаленскага, на сойме у Варшаве у 1589 годзе. В Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии. Избранные произведения XVI – нач. XIX в. Мн., 1962.

<sup>495</sup> (Nicolai Hussoviani. Carmen de statura feritate ac venatione bisontis. (Craecoviae, 1523). По изд.: Мікола Гусоўскі. Песня пра зубра. Мн., Мастацкая літаратура, 1980.

<sup>496</sup> Афанасий Филипович, говоря об униатстве, вполне осознает «буферность» его в противостоянии католичество – православие). По изд.: Памятники полемической литературы в Западной Руси. Кн. 1, СПб., 1878. Столбцы 49-156

<sup>497</sup> Адам Мальдзіс Поліэтночны характар культуры Вялікага Княства Літоўскага ў XVI стагоддзі // Навуковая канферэнцыя «Рэфармацыя і Залаты Век Беларусі», 2003.

В этой связи следует особо выделить теоретические подходы к изучению исторического сознания, накопленные к сегодняшнему дню западной историографией: во-первых, в отличие от собственно исторического исследования, которое изучает прошлое, исследование исторического сознания изучает то, как люди видели (и видят сегодня) свое прошлое. Поэтому следует акцентировать, что хотя исследования исторического сознания пересекаются с такой сферой, как историография, однако, как мы видим, вовсе к ней не сводятся.

Приведем наиболее общее определение исторического сознания: оно может быть определено как представления о прошлом (коллективные и индивидуальные); рационализация, извлечение смысла («уроков») из своего прошлого людьми различных эпох; включение прошлого в контекст настоящего и будущего.

Собственно именно наличие исторического сознания, т.е. историзация, постановка во времени своего настоящего, дало главный импульс к началу истории как науки. Здесь, однако, следует сделать оговорку, т.к. по «исходному пункту» исторического сознания его многочисленные исследователи придерживаются разных версий: если принять точку зрения, что ключевым моментом исторического сознания является «фиксация» людьми в письменных документах своего прошлого, то историческое сознание «начинается» соответственно лишь в письменную эпоху (К.Ясперс, Й.Вогт). И более того, собственно «историзация» коллективных и индивидуальных представлений о времени начинается с приходом христианства, коренным образом изменившим взгляд человека на прошлое, отметив рождение Христа в как отправной пункт новой эры.

В этих взглядах письмо является центральным для исторического сознания, и само «написание истории» приобретает синоним «осознание прошлого»<sup>498</sup>. Более того, это «написание истории» приобретает актуальность лишь на момент складывания национальных государств в период модернизации. Именно следуя этой позиции, некоторые исследователи смешивают этническое/национальное сознание с сознанием историческим. Поскольку исследования этнических процессов на территории Беларуси представляют еще довольно неизученную сферу белорусской историографии. Кроме того, собственно «национальное движение» в Беларуси «начинается» лишь во второй половине XIX века, то по этому показателю Беларусь как бы «выпадает» из поля зрения исследователей. Однако было бы по меньшей мере наивным и несправедливым считать, что народ Беларуси не имел исторического сознания на протяжении более ранних эпох. Что тогда толкало Я.Цедровского, Ф. Евлашевского, Ф. Кмита-Чернобыльского, М.Панцирного, Г. и С.Аверко и других делать выписки из старых летописей, составлять *свои* истории?

Мы придерживаемся иной, более открытой позиции, определяя историческое сознание как восприятие людьми времени, понимание их собственной историчности, рационализацию прошлого (например, Йорн Рюзен включает в историческое сознание все, что переводит ощущение времени в ориентации повседневной жизни<sup>499</sup>). Тогда его «исходную точку» следует отнести в гораздо более отдаленные эпохи.

Хотя мы вновь подчеркнем условность любых демаркационных схем, все же следует сказать, что в англоязычной историографии дискурсы об историческом сознании прочно вошли в сферу интеллектуальной истории. Более того, одними из центральных моментов в изучении исторического сознания являются его национально/этническая «принадлежность» и референциальность. Возьмем к примеру широко обсуждаемую и наиболее близкую к белорусской историографии ситуацию референциальности в отношении термина «Европа». Особенный оттенок эта проблема приобретает в свете обсуждения понятий «Центральная Европа», «Восточная Европа», «Центрально-Восточная Европа», которые, в свою очередь, превратились в «символы», означающие соотношение/противостояние с определенными

---

<sup>498</sup> См. John van Seters, *In Search of History. Historiography in the ancient world and the origins of Biblical history*. New Haven, London: Yale University Press, 1983

<sup>499</sup> Jorn Rusen, "Comparing Cultures in Intercultural Communications" // *Across Cultural Borders. Historiography in Global Perspective*. Ed. Eckhardt Fuchs and Benedikt Stuchtey. Lanham, New York, Oxford: Rowman & Littlefield Pub, 2002, p.344.

приписываемыми «Европе» ценностями. Более, того, они включают и такой аспект, как «центр» и «периферии».

«Центральная Европа», так же как и «Восточная Европа», -- конструкция идеологическая<sup>500</sup>. Нет ее ни как целостного географического понятия (границы «Центра» двигались и раньше и отодвигаются до сих пор). Нет ее и как политического целого (Вышеградская группа?). Ни тем более нет ее как этнического целого: венгры – не славяне; к тому же в то время, когда возникает идея «центральной Европы» (Mitteleuropa – немецкий экономист Фридрих Лист писал об средневропейской экономической общности, рассматривая монархию Габсбургов как аграрный придаток германской индустрии при германской доминации), возникает как противовес ей панславизм (поддержанный, кстати лидером чешского национального движения Добровским и многими другими деятелями национальных возрождений тех стран, которые мы сегодня называем *центрально-европейскими*<sup>501</sup>).

«Центральная Европа» возникла в Германии (появляется в 1840-е, а в 1915 г. ее высказал Фридрих Науманн) как идея при германской гегемонии<sup>502</sup>, но существовали и не-немецкие редакции: Франтишек Полачки, Адам Чарторыйски, Ласло Телеки (проект Дунайской конфедерации)... – идея «сдавленности» между Германией и Россией<sup>503</sup>.

За последние несколько десятилетий практически все исследования «Европы» или «Центральной Европы» имели в своем центре идею «Другого»: «Запад» («цивилизация») versus «Восток»/Россия (варварство). После «Ориентализма» Э.Саида исследования «изобретения» и «переизобретения» Европы стали занимать огромное место в западной историографии.

Ларри Вульф проследил корни этого конструирования как идущие из XVIII века и даже из более ранних времен, когда традиция античности приписывала «Югу» цивилизованность, а «Северу» -- варварство (в Северную Европу, кстати, включали и Россию «Полуночные страны»). XVIII век изменил акценты: вместо «Севера» и «Юга» символами «варварства» и «цивилизации» стали «Восток» и «Запад» соответственно<sup>504</sup>.

Известное исследование Айвара Б. Нойманна<sup>505</sup>, опиравшееся на противопоставление «Запад» – «Россия» как конституирующих «Других» (свою «самость» через противопоставление «Другому»), вновь показало относительность и «сконструированный» характер таких, казалось бы, устоявшихся категорий, как «запад» или «восток».

Продолжая рассуждения в этом направлении, получается парадоксальная, на первый взгляд, ситуация: «Центральная Европа» вовсе не обязательно подразумевает «центр». Парадоксальная, подчеркиваю, прежде всего, для самих европейцев, в силу привычки не задумывавшихся о том, что уже давно «знают» жители Беларуси, считающие себя географическим центром Европы. Но дело здесь не только в географии – даже в «фигуральном» смысле Центральная Европа не является «центром». На самом деле центр / модель / точка отсчета (приписываемых ценностей, сравнений или противопоставлений) – это Запад. Именно «Запад» как конструкция, «Западная Европа» является *центром референциальности*.

Различные толкования Центральной, Восточной, Восточно-Центральной Европы и даже «европ» свидетельствуют, в свою очередь, о различных «центрах» для разных конструкций. В

<sup>500</sup> Ash T.G. Does Central Europe Exist? // Ash T.G. The Uses of Adversity. Essays on the Fate of Central Europe. N.Y.: Vintage Books, 1990, p.180-212; In Search of Central Europe. Schopflin G., Wood N. eds., London: Polity Press, 1989; Neumann I.B. The Uses of the Other. "The East" in European Identity Formation. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999.

<sup>501</sup> Эти наблюдения, опираясь на приведенную работу Т.Эша, а также широкую историографию вопроса, высказывает известный исследователь А. И. Миллер. См. А. И. Миллер Тема Центральной Европы: история, современные дискурсы и место в них России // "Новое литературное обозрение" №52, 2001.

<sup>502</sup> Peter M.R.Stirk. The Idea of Mitteleuropa, in: Mitteleuropa. History and Prospects. Edinburgh, 1994, p.1-35.

<sup>503</sup> А. И. Миллер. Тема Центральной Европы: история, современные дискурсы и место в них России // "Новое литературное обозрение" №52, 2001.

<sup>504</sup> См. Wolff L. Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, Stanford, 1994.

<sup>505</sup> Neumann I.B. The Uses of the Other. "The East" in European Identity Formation. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999.

то время как для англоязычной публики после появления работы Оскара Халецкого «Границы и разделения европейской истории»<sup>506</sup> термин «Западная Центральная Европа» означает Германию и Австрию, а «Восточная Центральная Европа» – страны между Германией и Россией; для российских интеллектуалов «Восточно-Центральная Европа» включает Россию. Не говоря уже о сложных отношениях польских исследователей к этому термину, зачастую подразумевавшему и т.н. «миссию Польши на востоке» (по отношению к России), и лозунг границ 1772 г., и миф о ее «крэсах» (включавших Беларусь). Так, польские диссиденты в Париже, объединенные вокруг известного журнала «Культура» (ред. Ежи Гедройц) констатировали во времена социализма: «В течение 300 лет мы доминировали на Востоке. Если принять за переломный момент в польско-российских отношениях мир Гжимултовского (1 мая 1686 г.), то следует признать, что последние 300 лет на Востоке доминирует Россия. Эта 'альтернативность' - или мы или они - сделала невозможной нормализацию отношений между Польшей и Россией. Эта 'альтернативность' ведет к тому, что поляки, так же как и русские, не верят в третье решение и, поскольку *tertium non datum*, мы принимаем роль сателлита как мрачное, но актуальное положение вещей»<sup>507</sup>. Пользующийся большим авторитетом современный польский историк Ежи Клочовски пропагандирует идею Восточно-Центральной Европы – исключая Россию<sup>508</sup>.

Эта ситуация постоянной референтности по отношению к «России» имеет долгую историю, и, может быть, особенно близка белорусским историкам. Так, довольно широкую популярность среди польских интеллектуалов 19 ст. имела концепция Франтишка Духинского (1817 - 1880), создававшая «свою» версию центра славянства. Польский эмигрант в Париже Ф.Духински чьи теории уже к началу XX в. были дискредитированы, доказывал, что «москвиты» не принадлежали ни к славянам, ни к арийцам, являясь на самом деле «туранцами». Они не могут даже называться «русскими», т.к. это название должно принадлежать лишь белорусам и украинцам<sup>509</sup>. Эти теории были популярными среди польских патриотов в Париже, использовавших их как докательство необходимости восстановления Польши в «старых границах», включая Белоруссию и Украину как «буфер» между «арийской» Европой и «туранской» Московией<sup>510</sup>. Популярными настолько, что «*Monsieur Duchinski*» был замечен Карлом Марксом, который сделал наблюдение, что «все русские исследователи были мобилизованы для дачи опровержений, оказавшихся достаточно слабыми»<sup>511</sup>.

В то время, как взгляды Духинского к началу 20 ст. теряли популярность, неожиданное их эхо находим в столь нам знакомом «западно-руссизме». Известный монархист и приверженец западно-руссизма А.П.Сапунов на склоне лет высказывал такие радикальные идеи: «Итак, по моему мнению, на поставленный вопрос («Кто такие белорусы?»), можно ответить так: Белоруссия, или так называемая Русь литовская (собранная князьями литовскими), как говорит профессор М.К.Любавский, “была исконная Русь, сидевшая на старом корню и никогда не терявшая своего исторического наследия”. Следовательно, Белорусы – исконные Русские без примеси инородческой крови. Что же касается Руси Великой, или как величали ее иностранцы,

<sup>506</sup> Oscar Halecki. *The Limits and Divisions of European History*. London, New York: Sheed & Ward, 1950.

<sup>507</sup> Juliusz Mieroszewski // *Kultura*, Paris, 1974.

<sup>508</sup> *Historia Europy Srodkowo-Wschodniej*. Т. 1-2. Red.J.Kloczowski. Lublin: Institut Europy Srodkowo-Wschodniej, 2000.

<sup>509</sup> См. F.Duchiński, *Zasady dziejow Polski i inych krajow slowianskich*. Paris, 1858 - 1861; *Polacy w Turcyi*. Paris, 1858; *Tresc lekcyi historyi polskiej wykladanych w Paryzu*. Paris, 1860; *Pologne et Ruthénie. Origines slaves*. Paris, 1861; *Dopelnienie do trzech czesci zasad dziejow etc*. Paris, 1863; *Nécessite des reformes dans l'exposition de l'histoire des peuples Aryas-Européens et Tourans*. Paris, 1864; *Peuples Aryas et Tourans, agriculteurs et nomades*. Paris, 1864.

<sup>510</sup> См., например, Alphonse de Calonne, *La Pologne devant les conséquences de traités de Vienne*. // *Revue Contemporaine*, mars et avril 1861; Vol 20, p.304-327; Paul de Saint-Vincent, *Ecrivains et poètes modernes de la Pologne. La poésie Oukrainienne*. Bohdan Zaleski. // *Revue Contemporaine*, novembre et décembre 1860, Vol 18, p.613.

<sup>511</sup> Marx-Engels Correspondence 1865, Marx To Engels: In Manchester [London,] 24 June 1865. Source: *MECW*, Volume 42, p.161.



«Московии», то Великорусы или «Московиты» лишь постольку Русские, поскольку в них течет кровь белорусская»<sup>512</sup>. Чем не «перевернутая» версия Духинского?

В свою очередь, белорусские историки склонны называть именно Беларусь «центрально-европейской» страной, ссылаясь ли на г.Мир как географический центр Европы, или приводя аргументы в пользу нашей «европейскости». Такими аргументами становятся и древние «белорусские» княжества, и роль «нашего» языка в ВКЛ, и наследие Великого княжества Литовского в целом (в противовес концепции Киевской Руси как колыбели трех братских народов и роли Москвы – собирательницы восточнославянских земель), и наличие у нас законодательства, и Ренессанс, и даже своя Реформация (опять-таки, в отличие от России)...

...И совсем неожиданной (впрочем, такой ли уж неожиданной?) стала находка целой серии статей (одна из них, например: «Русь, русский язык и страна Москель») <sup>513</sup> известного минского лингвиста и автора «классических» слэнговых учебников английского языка Михаила Голденкова, показывающих, что истинные русские – это белорусы (украинцы и новгородцы), в то время как нынешние русские – «конструкция», создававшаяся столетиями – это «русифицированные» потомки финно-угорских и татарских народов, не говоривших «порусски» и даже не исповедовавших православие. Можно подумать, что вернулись идеи Духинского? Или они никуда и не уходили, отражая нашу извечную референциальность?

Как видим, ядром концепции «Центральной Европы» является мотив «Другого»: Восток (Россия), варварство / Запад, цивилизация. В белорусской историографии эти противоположные направленности прослеживаются достаточно четко: либо апелляция к России как к «старшему брату» и соответственная интерпретация истории – от Киевской Руси как колыбели трех братских народов до одиозных интерпретаций памятников прошлого (например, «Речь Мялешки» или «Письмо к Обуховичу») как непонимание «истинного пути освобождения своей родины от иноземного гнета — воссоединения с Россией. По мнению автора «Речи», основным средством защиты национальных интересов белорусов должна быть существовавшая в тот период при польском короле Рада (Совет), реорганизованная на началах пропорционального в ней участия представителей от Польши и от Литовского княжества. Той же позиция придерживается и Комуняка. Вопрос же о воссоединении белорусского и русского народов авторами исследуемых произведений вовсе не ставится, хотя этот вопрос был основным вопросом общественной жизни, поскольку по всей Украине и Белоруссии развернулось широкое народное движение за воссоединение с Россией»<sup>514</sup>. Либо настойчивое обращение к Европе, «как во всех европейских странах» или «беларусы, как и все европейцы»<sup>515</sup>. Получается, что акценты в белорусской историографии, словно направления того главного минского проспекта, о котором говорит З.Шыбека<sup>516</sup>, -- ведет ли он с Востока на Запад, или с Запада на Восток.

Почти десятилетие назад А.Нойман в своем исследовании о конструировании «Центральной Европы», проследил роль России как «конституирующего Другого». При этом «Запад» имел две ипостаси для интеллектуалов из стран Центральной Европы – одновременно «своего», наделенного совокупностью «положительных» черт, которые, как доказывалось,

<sup>512</sup> Сапунов А.П. Речи в Государственной Думе 3-го созыва. СПб., 1912, с.42. Цит. по: Л.В.Хмельницкая. Эволюция взглядов А.П.Сапунова на проблему самоопределения белорусов. В сб. Русь – Литва – Беларусь. Проблемы национального самосознания в историографии и культурологии. По материалам международной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Н.Н.Улащика (Москва, 31 января 1996). Москва: Наследие, 1997, с.127.

<sup>513</sup> [http://n-europe.eu/content/index.php?page\\_id=149](http://n-europe.eu/content/index.php?page_id=149) или <http://209.85.135.104/search?q=cache:qRPKU6bUJ0YJ:n-europe.eu/content/%3Fp%3D49+%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C&hl=fr&ct=clnk&cd=4&gl=fr>

<sup>514</sup> Протасевич В.И. Памятники политической сатиры XVII в. «Речь Ивана Мелешки» и «Письмо к Обуховичу», в сб. Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии. Избранные произведения XVI – нач. XIX в. Мн., 1962.

<sup>515</sup> См. Вячаслаў Ракіцкі. Беларуская Атлянтыда. (Бібліятэка Свабоды. XXI стагодзьдзе). Радыё Свабодная Эўропа/Радыё Свабода, 2006.

<sup>516</sup> Вячаслаў Ракіцкі. Беларуская Атлянтыда. Размова з Захарам Шыбекам «Магістральныя ідэі: індзі галоўнай магістралі», с.125.



свойственны и центрально-европейским культурам, и «другого», через отличия от которого происходила «своя» идентификация. В то же время «Россия» неизменно выступала в роли «Другого», и именно через описание отличий от России доказывалась «западность» Центральной Европы<sup>517</sup>. Белорусская ситуация в этом смысле уникальна: наш «Другой» изменчив и непостоянен, как непостоянны и «мы». Если «другой» определялся как «Россия», то «своим» становился «запад». Если «Другим» мыслилась «Европа», то «своим» оказывалась «Россия».

А западно-руссисты внутри нас заняты поисками тех черт, которые сближают «нас» с ней. Именно поэтому нам, выражаясь фигурально, все-таки нужно «разбурыць Парыж». Несмотря на то, что, произнеся эти слова, известный белорусский философ В.Акудович признался в неактуальности подобного действия, ссылаясь-де на деконструкционную работу постмодерна, все-таки дилемма наша остается: «альбо мы разбурым Парыж, альбо Парыж, урэшце рэшт, сваім цяжкім ценем спляжыць нас – дашчэнтэ»<sup>518</sup>. Это о нашем «Западе». То же, добавим, и с нашим «восточной альтернативой».

Как видим, дискурсы о «Европе» должны быть предметом историографии или интеллектуальной истории. А возможные варианты решения проблем референтности-соотнесения себя с «большим» соседом мы можем найти в сегодняшних «постколониальных» исследованиях.

Почему именно западная историческая мысль стала моделью, по которой мы пытаемся «выравнивать» пути осознания себя в истории другими народами? Или, сформулировав вопрос по-другому, почему «среди одних письменных народов историки процветали, а среди других – нет»?<sup>519</sup>

Например, Д.Браун пишет об индийском историческом сознании: индийские интеллектуалы, конечно, писали о некоторых вещах, которым предполагается быть во времени, но в целом это были боги и герои – мифы, но не «история». До мусульманского завоевания Индии, там была только одна работа на санскрите, которая сейчас рассматривается как историческая, но и она создана в Кашмире, на границе индийской цивилизации. Да еще есть буддистская хроника со Шри Ланки, тоже на границе.

То же с Египтом. Хотя поздние династии Египта и грамотность знали, и архивы держали, которые были бы кстати для написания истории, да только, когда их месопотамские и еврейские соседи начали писать рудиментарные истории, египтяне – нет. Их история появилась позднее, да еще по-гречески.

Д.Браун делится своим разочарованием, когда, он, совсем еще молодой исследователь, решил начать с работы антрополога в Брунее, но, к великому своему огорчению обнаружил огромные лакуны в истории Брунея. Вся ее историография состояла из английских работ «колонизаторов» или устной истории, плюс небольшое количество документов Брунея. Все это было неожиданным для молодого исследователя, т.к. Бруней существовал как влиятельное государство на протяжении тысячелетий, и почти все это время там уже была грамотность. Постепенно, однако, Д.Браун сдвигал свой интерес от размышлений *о прошлом Брунея* к исследованию брунейских подходов, *отношения к своему прошлому*: В этом смысле я начал размышлять, почему жители Брунея имели так мало примеров исторического письма, почему они записывали или запоминали одно, но забывали другое, почему они считали, что определенные события имели место, хотя на самом деле, вероятно, это было не так. Словом, я начал размышлять о принципах их историографии.

Поиграв с мыслью Гирца о том, что истории персоналий не возникает, когда в культуре отсутствует интерес к индивидууму, он перешел проблеме стратификации общества как

<sup>517</sup> См. Neumann I.B. The Uses of the Other. "The East" in European Identity Formation. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999.

<sup>518</sup> Валянцін Акудовіч. Разбурыць Парыж: два няспраўджаныя эсэ // Фрагмэнты, №9

<sup>519</sup> Donald E. Brown. Hierarchy, History, and Human Nature. The Social Origins of Historical Consciousness. Tuscon, the University of Arizona Press, 1988, p.1

источнику историографических моделей. В результате Браун выявляет корреляцию между социальной стратификацией и паттернами историографии: С одной стороны были древние евреи, ассирийцы, вавилонцы, ионийские греки, римляне периода поздней республики и ранней империи, средневековые византийцы, классические мусульмане, ренессансные флорентийцы – все они имели значительные исторические работы и открытые системы стратификации. С другой стороны – египтяне, греки гомеровских времен, классические спартанцы, жители поздней Западно-Римской империи, персы времен династии Сасанидов, средневековые европейцы, ренессансные венецианцы, которые имели относительно незначительные историографии и относительно закрытые системы стратификации<sup>520</sup>.

Если Браун ищет критерий «историзации» народами своего прошлого в уровнях социальной стратификации, то К.Леви-Стросс еще в середине XX века, пытаясь избежать ловушки европоцентризма, классифицировал человеческие общества по их способу отношения к прошлому – модели быть во времени (*les sociétés chaudes et le sociétés froides*). Одни общества историзировали свое прошлое, понимая историю как процесс, историю как осознание себя во времени, как прогресс, идущий по пути самонакопления; другие – нет или с частными особенностями. несомненно то, что все они являются равными обществами в истории, обществами, производящими историю со своими способами бытия в различные времена<sup>521</sup>.

В такой классификации Леви-Стросс отбрасывает «фальшивый эволюционизм – тот, который хотел бы заставить поверить, например, что каменный век можно найти даже у аборигенов Австралии»<sup>522</sup>. Традицию «децентрации» продолжает компаративистская историография, т.н. глобальная история, критика европоцентризма<sup>523</sup> постколониальные исследования<sup>524</sup>.

Если испано-американская историография подчеркивает «аутентичность копии», интеллектуальную борьбу XIX века ее представителей в защиту своей оригинальности, независимости и идентичности, за право быть вне европейской традиции<sup>525</sup>, то Индии наоборот, развитие европейской историзации прошлого было провозглашено их интеллектуальными лидерами орудием преодоления английского владычества<sup>526</sup>. Тем временем известнейший мастер западной историографии Эрнст Брейзах на мучивший его вопрос «Почему западная культура столь упорно демонстрировала свое внимание к прошлому и произвела на свет такое разнообразие исторических интерпретаций? ... Ведь в отличие от ближневосточных записей прошлого – списков царей и династий – именно греческая история стала историей человеческого мира – мира меняющегося и случайного, далекого от вечных, неизменных сущностей философов»<sup>527</sup>, фактически отвечает, что именно Запад основывался на постоянном балансе между «изменением» и «протяженностью». «Как только мы принимаем факт, что человеческая жизнь отмечена и изменением, которое делает прошлое, настоящее и будущее отличными друг от друга, и протяженностью/преемственностью, которая их соединяет

<sup>520</sup> Donald E. Brown. *Hierarchy, History, and Human Nature. The Social Origins of Historical Consciousness*, p.7.

<sup>521</sup> Lévi-Strauss, *Anthropologie structurale*. Paris: Plon, 1958, p. 40-41.

<sup>522</sup> Ф.Артог. *Мировое время, история и написание истории // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны*. Мн.: Изд-во БГУ, в печати.

<sup>523</sup> См., например, *Across Cultural Borders: Historiography in Global Perspective*. Ed/ Eckhardt Fuchs and Benedikt Stuchtey. Lanham-N.Y.-Oxford, 2002; Chris Lorenz, “Comparative Historiography: Problems and Perspectives”, *History and Theory*, 1999, №38.

<sup>524</sup> См. *The Post-Colonial Question: Common Skies, Divided Horizons/ ed. Iain Chambers and Lidia Curti*, London, 1996; *Anglo-Saxonism and the Construction of Social Identity*. Ed/ Allen J. Frantzen and John D.Niles. University Press of Florida, 1997; *Nationalism, Colonialism, and Literature*. Terry Eagleton, Fredric Jameson, Edward W. Said. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1990 и др.

<sup>525</sup> Jochen Meissner, *The Authenticity of a Copy: Problems of Nineteenth-Century Spanish-American Historiography*. In: *Across Cultural Borders: Historiography in Global Perspective*, p.47.

<sup>526</sup> Eckhardt Fuchs, *Provincializing Europe: Historiography as Transcultural concept*. In: *Across Cultural Borders: Historiography in Global Perspective*, p.6.

<sup>527</sup> Breisach, Ernst. *Historiography: Ancient, Medieval, and Modern*. 2<sup>nd</sup> edition. Chicago, London: The University of Chicago Press, 1994, p.xi; p. 38.

воедино, мы начинаем понимать, почему историки играли такую важную роль в западной цивилизации»<sup>528</sup>.

Тем не менее, ни «различные способы отношения к прошлому», ни диалектика «изменение/протяженность», ни даже наличие христианства, которое, по мнению многих, было решающим для историзации коллективных и индивидуальных пониманий прошлого (например, отмечая рождением Христа начало новой эры) – не дают целостного объяснения причин, почему западно-европейская модель стала моделью для мировой историографии. Невозможно представить этот процесс без рассмотрения экономических причин: экономическое развитие Западной Европы привело ее к отношениям доминирования и колонизации, включающие и перенос подходов к прошлому в виде моделей на другие миры.

В своей, ставшей уже классической и обильно нами цитирующейся, работе Эдвард Саид показывает, как Восток стал зеркалом, в котором Европа видела свое собственное отражение, причем анализ этого отражения мог бы дать больше знания об оригинале – самих европейцах<sup>529</sup>.

Конструирование Нас и Других; постоянные процессы включения / исключения. В мятежные 1960-е, когда начинался постмодернизм, в западной интеллектуальной традиции наметился первый переворот, связанный с темой осмысления Другого: это логично совпадало и подпитывало/сь движением «снизу» -- тех самых «исключенных» из доминировавшего дискурса белой, мужской, взрослой, гетеросексуальной части современного общества. Эти движения испытывали и продолжают испытывать сильное влияние традиций западных интеллектуалов, однако это влияние не случайно приобретает приставку «пост». Сейчас мы наблюдаем новый поворот в проблеме Другого: не феминизм, но постфеминизм; не колониальные, но постколониальные исследования... Отличие между ними кардинально. Если первые строили свои рефлексии на онтологическом и эпистемологическом наличии различия между мужчинами и женщинами; Западом и Востоком; центром и периферией, то сегодня переосмысливается сам факт наличия (?) этого различия, которое не имеет онтологического характера, а связано с устоявшимися дискурсивными практиками – европоцентризма, маскулинности, «ориентализма» и т.п. «Сделать видимыми» -- слоган первых; «деконструировать» -- пафос вторых.

Эдвард Саид писал: «Любой, мало-мальски понимающий, как устроены культуры, знает, что определение культуры, того, чем она является для своих членов, всегда является крупнейшим демократическим отбором, даже в недемократических обществах. Канонические авторитеты должны быть избраны, они регулярно пересматриваются, обсуждаются, переизбираются или выбрасываются. Идеи добра и зла, включения или исключения, иерархии ценностей должны быть четко указаны, обсуждены, утверждены как истинные или нет. Более того, всякая культура определяет своих врагов, тех кто ей угрожает. Например, для греков, начиная от времен Геродота, все, кто не знал греческого, автоматически становились варварами, Другим, которого нужно было победить»<sup>530</sup>.

Постколониальные исследования (Э.Саид, Г.Ч.Спивак, Х.Бхабха, Б.Андерсон, А.Нанди, Р.Дж.Янг и др.) показали, что западноевропейская цивилизация не только сама выстроена по принципу наличия этого Другого (иначе как отделить «свое», если нет «другого»), но и навязывает этому Другому свою модель культуры. В период своей экспансии западноевропейцы распространили не только свое политическое, экономическое и культурное влияние на Африку, Америку, Азию, но также «навязали» им свое видение их самих... В результате зарождающиеся интеллектуальные движения, например, на Востоке (большинство

<sup>528</sup> Ibid, p.3.

<sup>529</sup> См. Said E.W. *Orientalism*. New York: Vintage Book, Adivision of Random House, 1979.

<sup>530</sup> Саид иллюстрирует это на примере книги F. Hartog, *Le miroir d'Hérodote: essai sur la représentation de l'autre*. Paris : Gallimard, « Bibliothèque des Histories », 1980 [2<sup>e</sup> édition -- 1991]. English edition – *The Mirror of Herodotus: The Representation of the Other in the Writing of History*, 1988.

лидеров которых прошли западную школу, в прямом и переносном смысле), идентифицируют себя путем наложения тех образов, которые предлагала им западноевропейская модель Востока («мистический», «чувственный», «пышный»). Европейский внешний «Другой» становится для них «своим»? Многочисленные исследования анализируют, как выстраивались новые («про-западные») модели философии, истории, литературы в Индии, Китае, на мусульманском Востоке; насколько сложно было осознать и преодолевать кажущееся «естественным» состояние вещей. Новые поколения интеллектуалов, осознавая фальшивость прежних попыток выстраивать свою идентичность по модели западноевропейской, пытаются вернуться к своим «корням», традициям и религии. В условиях нарастающей глобализации, ее «изнанки» в виде «вестернизации» и «американизации», фундаменталистские движения оказываются тесно связанными с процессом возвращения, или точнее, выстраивания идентичностей бывшего «Другого» заново. Динамика сегодняшних политических, культурных конфликтов оказывается тесно связанной с последствиями века модерна и постмодерна.

Уже упоминавшийся выше видный представитель постколониальных исследований, защитник палестинского народа, блестящий аналитик, известный американский профессор Эдвард Саид оставил символический пример ситуации осмысления идентичности и инаковости в сегодняшней историографии. Его труд «Ориентализм» (1979) до сих пор «осваивается» интеллектуалами многих стран<sup>531</sup> как модель деконструкции созданных Западом стереотипов Востока как Другого; как образец критики европоцентристского деления мира на неравные (и противостоящие друг другу) части «Запад» и «Восток»; как схема применения фукольдьянского понимания знания-власти на примере поисков идентичности восточными интеллектуалами, разрывающимися между знаниями (и идентичностью) колонизаторов и осознанием себя Другими... Несмотря на это, сам Саид признавался, что “Orientalism,” «был прочитан более глубоко вне арабского мира... по причине того, что был использован арабскими читателями как средство для конфликта, а не для аналитических разработок. Этот фактор превратил слово “Orientalism” в оскорбление... Это стало одним из негативных последствий карикатурного прочтения моей книги... Очевидно, что в арабском обществе мы остаемся пленниками этих моделей, т.к. мы оказались неспособны выработать что-либо, позволяющее нам освободиться от темного прошлого<sup>532</sup>.

Всегда вызывавший на себя огонь интеллектуальных баталий, Саид и после своего ухода оставил пример идентификационной войны: вышедшие при его жизни мемуары «Out of Place» (1999) и сегодня стоят на первом плане при обсуждении его наследия<sup>533</sup>. Почему-то вопрос, где вырос Саид (в Иерусалиме или Каире) и где находился его семейный дом становится камнем преткновения при обсуждении его идентичности. Или, переформулировав вопрос: почему «приобретенная» палестинская идентичность Саида становится проблемой? «Иногда я ощущаю себя собранием многих потоков. Я предпочитаю это ощущение идее цельного «Я», целостной идентичности, которой многие придают такое значение», -- писал Э.Саид в своей книге. На самом деле его *Out of Place* отражает процесс осознания / конструирования / приобретения идентичности.

Бытует поверхностное мнение о том, что «Ориентализм» – это про то, как Запад искажает Восток, создает ложные стереотипы о нем. Гораздо реже упоминается, что «Ориентализм» – еще и про то, как Восток искажает сам себя в соответствии со стереотипами Запада. Вопрос Г.

<sup>531</sup> Перевод на русский язык: Эдвард Вади Саид. Ориентализм. Западные концепции Востока / Пер. с англ. А. Говорунова. СПб.: Русский Мир, 2006.

<sup>532</sup> Edward Said Discusses ‘Orientalism,’ Arab Intellectuals, Reviving Marxism, and Myth in Palestinian History. Interview by By Nouri Jarah // Al Jadid Magazine, Vol. 5, no. 28, Summer 1999.

<sup>533</sup> «The neutrality and factual accuracy of this article are disputed» -- так начинается статья об Э.Саиде в популярной Интернет-эциклопедии «Wikipedia». «Противоречия» сводятся к обвинениям в «фальсификации» Саидом своей палестинской идентичности, высказанным Justus Reid Weiner (1999) “My Beautiful Old House” and Other Fabrications by Edward Said // Commentary Magazine, September 1999; Justus Reid Weiner, “The False Prophet of Palestine”, *The Wall Street Journal*, August 26, 1999.



Спивак «Can the Subaltern Speak?»<sup>534</sup> вызвал к жизни целую исследовательскую сферу, одну и наиболее плодотворных в широком спектре постколониальных исследований. Может ли подчиненный, подавленный субъект говорить и, если может, то чьим голосом? Изданный в России «Ориентализм» пока воспринимается в основном как программное сочинение-критика Запада, западных концепций о Востоке. Причем под «Восток» подводится и сама Россия с ее «азиатскостью», и в целом мораль для России рассматривается двояко: сама как «Восток» (для Запада она и есть ложно стереотипизированный Другой); как колониальная страна, имеющий свой собственный «Восток».

Для белорусских исследователей актуальной может оказаться иная сторона идей Саида и постколониальных исследователей вообще: как мы сами добровольно принимаем на себя чужую (приписанную нам) идентификацию. Феномен западно-руссизма лежит в той же плоскости, что и явление ориентализма. Западно-руссизм никогда не изживается в нас до конца. Пока он не изживается, пока в центре нашей идентичности лежит референтность, мы не можем представлять по-настоящему интересное исследовательское поле для мира («Запада»). Интересна ли сейчас белорусская историография со всеми ее интригующими сюжетами для западного исследователя? Вопрос скорее риторический. «Mais les autres sont des je aussi : des sujets comme moi, que seul mon point de vue, pour lequel tous sont là-bas et je suis seul ici, sépare et distingue vraiment de moi»<sup>535</sup> -- эта цитата Тодорова звучит для нас сегодня актуально. Вопрос заключается не в том, что «Запад» нас не читает (обстоятельство, служащее почти что предметом гордости для некоторых белорусских исследователей, стоящих в противоречивой оппозиции Западу). Проблема состоит в причинности: *почему* мы не интересны западной историографии? Когда моя белорусская коллега Алена Лапатнёва, долгое время живущая во Франции, предложила такой вопрос, он показался мне бессмысленным. Годы работы на Западе, однако, показали реальность его постановки.

Важно ли для Европы увидеть себя через глаза «Другого»? И, продолжая этот вопрос, может ли Беларусь рассматриваться как «Другой» для «Европы»? Очевидно, нет. Беларусь все еще не интересует Запад именно потому, что она не является для него «Другим» (более того, западная историография, склонная в 19 ст. принимать версию польских патриотов- эмигрантов, в 20-м приняла «великорусскую» версию белорусской истории – фактически «западно-руссизм»). Противопоставление уже было сделано – Запад-Восток, Запад-СССР, Запад-Россия. Беларусь выглядела слишком похожей на Россию, чтобы претендовать на интерес в качестве «Другого», а все белорусские «особенности» истории, культуры или политики представляли в глазах Запада лишь вариации «русскости». Перефразируя Р.Корби и Дж.Лирссена, мы были «недостаточно внешними по отношению к западной культурной элите, чтобы представлять объект антропологического (О.Ш.: и исторического) исследовательского интереса»<sup>536</sup>.

Возможно, говорить о «колониализме» российской империи в отношении Белоруссии есть натяжка. В то же время, очевидно, что механизмы превращения интеллектуала «нации польской, роду литовского» в «младшего брата» русского в чем-то сходны. Русификаторская политика, навязываемая религиозная общность, панславизм, и западно-руссизм собственного разлива – все это вехи на пути белорусского интеллектуала, которые он преодолел, но далеко не полностью. Взяв на вооружение (и даже развив) принятые в российской историографии догмы (о древнерусской народности, о крестьянском белорусском обществе....), белорусский интеллектуал не мог и не перенял главного – мятущейся между Азией и Европой «русской души», веры российских интеллектуалов в свою «миссию».

Разрыва с советским историографическим наследием не произошло – в первую очередь благодаря государственной поддержке, предпочитающей «консервировать» и воспроизводить

<sup>534</sup> Gayatri Ch. Spivak, "Can the Subaltern Speak?" In Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, and Helen Tiffin, eds., *The Post-Colonial Studies Reader*, pp. 24-28. London: Routledge, 1995.

<sup>535</sup> Tzvetan Todorov, *La conquête de l'Amérique. La question de l'autre*. Paris, Seuil, 1982.

<sup>536</sup> Raymond Corbey and Joep Leerssen, "Studying Alterity" *Backgrounds and Perspectives //In: Alterity, Identity, Image: Selves and Others in Society and Scholarship*. Ed. by R. Corbey and J. Th. Leerssen. From Amsterdam Studies of Cultural Identity. Amsterdam – Atlanta, 1991.



не только его штампы, но и стиль и подходы. Такой канал воспроизводства исторического сознания, как школа, несет неосветские интерпретации прошлого, по-прежнему используя в качестве точки референции Россию. В противовес этим историям, «национально» (с коннотацией «прогрессивно») настроенные историки выбирают «Европу». Ценности белорусской истории «доказываются» через их «европейскость»: мы всегда были в Европе, и законность у нас была (а со Статута списывали русские цари), и государственный язык, и Ренессанс, и даже своя Реформация. В то же время и у тех, и у других дискурсивные практики остаются прежними, меняется лишь направленность, но сама структура референциальности та же.

Все сказанное здесь нами – сказано не для того, чтобы показать наше «отставание» от какой-то модели (будь то «Европа», «Запад», «Россия...»). На самом деле, наше «послание» – в том и состоит, чтобы показать необходимость осознания «референциальности». Хотя бы в истории.

## ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В ходе истории всегда происходит (in der Geschichte geschieht) нечто большее либо меньшее, чем то, что было заложено в предпосылках. Это «больше» или «меньше» зависит от людей — хотят они того или нет. Но сами предпосылки от наших усилий практически не меняются, а если и меняются, то столь медленно и на столь долгий срок, что людям не удастся непосредственно управлять или распоряжаться ими.

Райнхарт Козеллек. Можем ли мы распоряжаться историей? (Из книги «Прошедшее будущее. К вопросу о семантике исторического времени» журнале Reinhart Koselleck. *Über die Verfügbarkeit der Geschichte*. In: *Vergangene Zukunft: zur Semantik geschichtlicher Zeiten*. 3. Aufl. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1979 // S. 260–277. (Перевод с немецкого Марии Мироновой опубликован в журнале «Отечественные записки» 2004, №5)

Подводя некоторые итоги нашего, возможно, подчас излишне эмоционального, порой – осколочного, но всегда – искреннего, рассказа об историографии в период «так называемого» постмодерна, воспользуемся «хиазмом» и еще раз подчеркнем: деконструкция референциальности и конструирование идентичности пронизывают большинство ее направлений.

Справедливости ради следует признать, что говоря, например, об «англо-американской», «англоязычной» историографии, мы постоянно меняем некоторые тональности: английская историография отличается от американской, канадская – от английской, да и большинство «постколониальных» историй Африки или Индии пишется на английском языке. Англоязычная историческая литература давно переросла исключительно «географические» пределы, и употреблять термины, подобные «англо-американская» или «американская» следует с большой долей условности. При всем сходстве для многих из нас всей «западной» историографии, по сию пору сохраняется своеобразие подходов и сюжетов. Мы не ставили здесь себе задачу проследить отличия в их «национальной» специфике, видя главную идею в выделении преобладающих «эпистемологических» моментов. Но и на этом уровне при сравнении, например, английской и американской тенденций в исторической эпистемологии можно выделить более мощную струю постколониальных исследований в Америке. Американская историография, «подогреваемая» исследованиями со стороны «де-колонизированных» историков, особенно в области деконструкции европоцентричной картины истории, находится в поисках эпистемологической концепции, отвечающей новым требованиям. Для них история не заканчивается, как обещал когда-то Ф.Фукуяма, а напротив, только начинается. Они используют европейские теоретические концепции традиционных общественных наук и современную постмодернистскую философию, производя так называемый постколониализм. С 1990-х они пытаются найти эпистемологическую концепцию, способную охватить глобальные политические, экономические и культурные процессы, которые вытекают из происходящей в наши дни деколонизации<sup>537</sup>.

Еще в середине 1970-х, когда постмодернизм только собирался начать свое «деконструктивистское» дело в отношении истории, Бернард Левис писал о трех видах истории:

(1) Запомненная история, которая состоит из «утверждений» о прошлом, а не истории в прямом смысле этого слова; она варьируется от личных воспоминаний, высказываемых старшими, до живых традиций цивилизации (воплощенных на письме, в классике и унаследованной историографии). Это как бы коллективная память сообщества или нации или

<sup>537</sup> Eckhardt Fuchs, *Provincializing Europe: Historiography as Transcultural concept*. In: *Across Cultural Borders: Historiography in Global Perspective*. Ed/ Eckhardt Fuchs and Benedikt Stuchtey. Lanham-N.Y.-Oxford, 2002, p.13.

другой целостности – о том, что она, эта целостность, или ее правители, лидеры, поэты, мудрецы выбирают для запоминания как самое значимое (и с точки зрения реальности, и с точки зрения символики).

(2) Восстановленная история. Это история событий и движений, персоналий и идей, которые были забыты, и так сказать, на каком-то этапе и по какой-то причине отрицались общей памятью, а затем, спустя более или менее длительный интервал, были «восстановлены» научными деятелями – путем изучения записей, раскопок погребенных городов, расшифровки забытых писем и языков. Это влечет последующую реконструкцию забытого прошлого. Однако реконструкция скрывает в себе то, что лучше назвать «конструкцией». Уже само это слово указывает на опасности процесса и подводит нас к третьему типу истории.

(3) Изобретенная история. Это история для какой-то определенной цели, для новой цели, вытекающей из предыдущей. Она может изобретаться и в латинском (О.Ш.: *inventio* – находить), и в английском (О.Ш. *to invent* – изобретать, выдумывать) смыслах этого слова, придумываться и интерпретироваться из запомненной и восстановленной истории<sup>538</sup>.

В 1970-е Б.Левис ярко пишет о том, что в идеале вся история как дисциплина должна быть «восстановленной». Спустя несколько десятилетий после него именно историческая эпистемология делает вывод о принципиальном несоответствии идеала и практики: история изобретается, воображается, конструируется и деконструируется. Она есть продукт, объект и субъект идентичности – и вот ответ о роли истории сегодня. История – именно об идентичности, и мы вернулись к тому, с чего начали: «Зачем нужна историография?..» Наличие и осмысление прошлого необходимо для выстраивания идентичности. А историография? Она – есть носитель идентичности самой истории.

Несмотря на то, что многие историки по-прежнему не могут (и не смогут) разделить целиком и полностью уайтовские построения о тропах, стилях и т.д., большинство, наверное, признает то, как тонко он говорит о нашем выборе: мы выбираем историю эмпирическую или философию истории, исходя из нравственных или эстетических побуждений... Но когда К.Виндштатт проповедует эмпирическую историю, которая борется за правду изложения, мне вспоминаются университетские курсы истории, где «эмпирическая история» была представлена лишь событийной линией, а реальные люди и их взаимоотношения были замаскированы под «народ», «государство», «классы», «партии» и цифры, -- все то, к чему сегодня модно приклеивать ярлык «структуры». Эмпирическая же история, которую нам, студентам-историкам, хотелось видеть, оставалась за кадром. Человеческие страсти, трагедии, счастливые совпадения, любовные коллизии – это мы не могли вычитать, как ни старались, даже между строк учебников. Та ли эта «эмпирическая история», за которую так ратуют сегодня критики лингвистического поворота? И на каком основании тогда (да и сейчас) происходит выбор между философией истории или ее эмпирикой?

В наши размышления о связях и иерархии следует включить и такую проблему, которая встает перед многими гуманитариями и касается главным образом понимания смысла постмодерна. Упомянувшийся нами в первой главе популярный английский автор Терри Иглтон, создавший ставшее уже классическим учебное пособие по современной литературной критике (естественно, включающее «постструктурализм» и «деконструкции»<sup>539</sup>), понимает сегодня постмодернизм как находящийся в стадии упадка, безвозвратно устаревший: Иногда кажется, что постмодернизм ведет себя так, как если бы классическая все еще была в добром здравии, а потому оказывается как бы живущим уже в прошлом. Он тратит большую часть своего времени, нападая на абсолютную истину, объективность, вневременные нравственные ценности, научное исследование и веру в основания мира. Однако, т.к. все эти ценности относятся к периоду заката буржуазного мира, то и все нападки на них выглядят как

<sup>538</sup> Bernard Lewis. *History: Remembered, Recovered, Invented*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1975, p.11.

<sup>539</sup> См. Eagleton T. *Literary Theory. An Introduction*. Oxford: Basil Blackwell Publisher, 1983

забрасывание газет раздраженными письмами о конных гуннах или мародерствующих карфагенянах...<sup>540</sup>

При этом он делает акцент именно на тех идеях постмодернизма, которые более всего подходят к постструктуралистской теории или вытекают как ее логические следствия. Тогда, если верить Иглтону, время постструктурализма и культурной теории прошло. Но только это постструктурализм. А вот те изменения, которые он внес в сознание наших современников (и их мы связываем уже с постмодерном), останутся. Более того, если привести уже использовавшуюся ассоциацию с названиями исторических эпох и скрывающимися в них смыслами («эпоха Просвещения», «Новое время»), то время постмодера, во всяком случае на Западе, остается до сих пор «злободневным», поскольку нового названия для него и тех перемен, которые оно принесло, пока не придумали. Разве что после-постмодернизм?

И еще несколько слов о «временных» измерениях постмодерна и лингвистического поворота. События, которые предшествовали их «началу», условия их возникновения и протекания, связаны, главным образом, с миром «западной культуры». В наши исторические условия они не укладываются. И хотя М.Эпштейн, В.Тупицын и ряд других российских авторов<sup>541</sup> склонны находить проявления постмодерна уже в культуре времен Советского Союза, нам представляется нецелесообразным «подгонять» эти черты под общую тенденцию на Западе. Тем более это касается истории Беларуси, где «проект постмодерна» только начинается.

Постмодерн имеет множество «лиц», на первый взгляд, совершенно несвязных и отличающихся друг от друга. Тем не менее, в англо-американской историографии все сильнее улавливается традиция связи постмодерновых проявлений в виде самой общей присущей всем им линии: дестабилизации фундамента знания и этики эпохи модерна, вызова любым всеобщностям и универсальностям («здесь» и «сейчас»; локальное вместо глобального).

Постмодернистский дискурс являет себя и в постколониальном нарративе, и в литературной теории и критике, в постструктуралистском анализе, постмодернистском феминизме (постфеминизме), деконструктивизме, культурной теории... Именно в силу этой множественности трудно дать определение, объемлющее понятие «постмодернизма». Тем не менее во второй части монографии отмечается преобладающая тенденция постмодерна в историографии -- фокусировать внимание на культурном разнообразии и исторически специфическом характере любых явлений, или т.н. «полифонический» характер историографии.

В последнее время в дискуссиях об историографии выделяются такие ключевые слова, как «лингвистический поворот», дискурсивный поворот, «культурная история», «конец истории» и т.п. – но все они вращаются внутри ареала «западной» культурной традиции. Между тем, сравнение европейского и американского дискурса постмодерна демонстрирует явные отличия: если для американских исследователей все контексты постмодерна взаимосвязаны, то европейские мыслители более склонны, так сказать, держать эти теории на разных «полках». Взаимосвязь, казалось бы, этих разнородных элементов проявляется в их вовлеченности в процесс идентификации, том значении понятия «идентичность» в его широком смысле, которое пронизывает теорию и практику постмодерна, включая социальное, культурное, национальное, историческое, расовое измерения. Мы подчеркиваем, что центральной идеей т.н. лингвистического/дискурсивного поворота является мысль о персонификации, «субъективизации» любого представления. Линия западной философии, ведущая свою родословную от Платона к Канту, а затем к Ницше и Хайдеггеру, глубоко переосмысливается «постмодернистами» с точки зрения языкового характера сознания. Применение этой мысли в отношении истории ведет:

<sup>540</sup> Eagleton T. *After Theory*. New York: Basic Books, 2003, p.7.

<sup>541</sup> См.: Epstein M. *After the Future: The Paradoxes of Postmodernism and Contemporary Russian Culture*. Amherst: University of Massachusetts Press, 1995; Тупицын В. Коммунальный (пост)модернизм. Русское искусство второй половины XX века. М.: Ad Marginem, 1998

- к перестановке акцентов с изучения «объективных» институтов общества на «субъективное» – человеческий *опыт* в истории;
- к изучению *знаков* человеческой деятельности;
- к изучению *представлений* человека.

В качестве поля преломления этих «последствий» в историографии выступает анализ взаимоотношений между исторической памятью, историческим сознанием, историей и историографией – этими элементами исторической культуры, которые претерпевают серьезные изменения в контексте постмодерна.

Именно «постмодернистская чувствительность» поставила под вопрос эти соотношения, причем первоначальным звеном, подвергаемым сомнению, стала историческая память: какие образы, исторические места, даты она фиксирует и почему именно те, а не иные? Как эти «точки фиксации» связываются историографической традицией? Как они откладываются в историческом сознании и какую роль в этом процессе играет история как дисциплина? границу между историей и литературой.

Со времен Геродота в истории доминировала вера в то, что история сама по себе состоит из живых историй, индивидуальных и коллективных, и что принципиальная задача историков – открыть и пересказать их, т.е. передать их в нарративной форме настоящему. При этом нарратив как органически присущий человеку был настолько естественен, что вопросы по его построению возникли довольно поздно. Если у литературной критики (теории литературы) уже в начале XX в. появились «проструктуралистские» исследования (русские формалисты, Якобсон, Пропп, Пражский лингвистический кружок), то критика языка историка стала слышна лишь во второй половине XX в. Подобная задержка может быть объяснена, на наш взгляд, двумя моментами: (1) именно «естественностью» нарративной формы изложения историком истории; (2) созреванием условий, которые бы поставили под вопрос исторические формы репрезентации, лишь ко второй половине XX в. – когда на повестку дня в историографии были вынесены вопросы идентификации (и именно этому обязаны своим появлением история женщин, этнических меньшинств, устная история, история повседневности).

С другой стороны, «переоткрытие истории» в западной историографии в отношении собственно историографии (как истории исторической науки) ведет к усилению тенденции эволюции историографии в направлении теории истории и интеллектуальной истории.

В рамках этой последней тенденции историография пересматривается как не столько история «академической» истории, сколько изучение того, как изучали прошлое – в форме фиксированного исторического нарратива (например, летописи) или в виде неотрефлексированных практик повседневной жизни (песни, обряды и т.п.).

То, что трансформация историографии в направлении осмысления природы работы историка вообще, с другой – движение историографии навстречу интеллектуальной истории, и в частности, к исследованию исторического сознания – эта мысль возвращает нас к осмыслению проблемы идентичности как центральной в развитии (пост)современной историографии.

Антропологический и лингвистический «повороты» традиционно анализируются представителями многих дисциплин, но практически всегда – отдельно друг от друга. Между тем, оба имеют общие корни, соприкосновения и следствия. Именно поэтому их необходимо рассматривать во взаимосвязи: «опыт», постижение «вторичной реальности», знаковость культуры, «семиотическое измерение истории» -- эти и другие поля имеют не только междисциплинарный, но и общий, генетический для антропологического и лингвистического поворотов характер.

Концептуально их объединяет представление о «культурном повороте». В самом общем виде «культурный поворот» включает такие аспекты, как: (1) переопределение «социального»; (2) методологические и эпистемологические последствия представлений о культуре как о системе символической, лингвистической и репрезентационной (паутина смыслов,



опутывающих человека, хотя им же и порожденная); (3) переопределение дисциплин (включая междисциплинарность, появление новых исследовательских полей и т.д.

Когда-то известный американский теоретик литературы и основатель «американской версии» постмодернизма Поль де Ман сделал замечание, которое прозвучит актуально для сегодняшних историков: «Чтобы стать хорошими историками литературы, мы должны помнить, что то, что мы обычно называем историей литературы, имеет мало отношения к литературе или вообще не имеет к ней отношения, а то, что мы называем литературной интерпретацией, — на самом деле и есть история литературы. Если мы расширим это понятие за пределы литературы, оно лишь подтвердит, что основания для исторического знания — не эмпирические факты, а письменные тексты, даже если эти тексты наряжены в костюмы войн и революций»<sup>542</sup>.

«Примеряя» это наблюдение на себя, получаем банальное, но редко осознаваемое (опять-таки из-за той самой «паутины» смыслов, созданной людьми, опутавшей их и незамечаемой ими): то, что изучает история, зачастую не есть прошлое, а скорее интерпретация его интерпретаций.

И в этой связи еще одной отправной точкой для анализа недавней западной, и особенно англо-американской, историографической традиции является представление о референтности, «отражении» в культуре. «Культурный поворот» несет не только представление о языке как об основе, моделирующей культуру, но и по отношению к собственно историографии выражается в осознании необходимости изучения «вторичной реальности», «себя через Другого», отражение в зеркале. Именно референтность, отражательное свойство культуры фиксируется сегодня в интеллектуальной истории, истории повседневности, гендерной истории и др. направлениях историографии. Эта тенденция нашла наиболее яркое свое воплощение в разрастании такого исследовательского поля англо-американской историографии, как изучение национализма, этничности, постколониализма. В отличие от Европы, где проблемы постколониализма первоначально не стояли так остро, в американской историографии, а также в «не-западной» историографии в последнее время ощущались острые дискуссии на темы национализма и особенно (пост)колониализма, главной целью многих из них являлась деконструкция европоцентристской картины истории.

Необходимо отметить, что хотя и для западной, и для белорусской историографий (мы исключаем здесь прямое противопоставление, а лишь имеем в виду их различия) вопрос об идентичности является центральным, все же историки понимают его по-разному: в то время как среди западных исследователей преобладает интерес к изучению репрезентаций идентичности и опытов ее восприятия (что является следствием общей ситуации постмодерна), белорусские ученые стремятся «конструировать» идентичность, создавать «мастер-нарратив» (что является чертой историографии периода модерна).

Пересмотр идеи «плоского» прогресса истории, деконструкция европоцентризма, полифония исторического опыта (или даже опытов) разных народов – в этом ключе анализ работ «западной» историографии имеет большое значение для белорусской историографии. Понимание соотношения постмодернизм/постколониализм/ глобализация с точкой отсчета в виде понятия «идентичности» может открыть широкие возможности для (пере)осмысления нашей истории.

---

<sup>542</sup> De Man P. Blindness and Insight. London, 1983, p.165

**Таблица 1. Тематическая классификация заседаний 2007 г. съезда Американской исторической ассоциации, выполненная на основании программы и резюме выступлений: Unstable Subjects: Practicing History in Unsettled Times. American Historical Association: 2007 Annual Meeting Program. Atlanta, January 4-7, 2007.**

№	История афро-американцев/индейцев/раса/ проблемы идентичности	Постколониальные исследования/ этничности/ национализма	Гендер, феминизм, сексуальность	«Репрезентации»	Историография/ интеллектуал. история/ проблемы преподавания	Миграции/ Глобализация	Разное
1	Atlantic Connections, Colonial Structures: Identity and the French Caribbean	Nation and State Formation Literature in Latin America and the Caribbean: Subaltern Actors and Master Narratives	Twentieth-Century Sexualities: A Roundtable on Transnational Identities	The Evolution of Emancipation Celebrations in American Culture	A Conversation about Historians in Public	Labor, Migration, and Global Trade, Part 1: Coca-Cola in Guatemala, Colombia, and India	Academic Cultures in Politically Repressive Moments in Twentieth-Century Romania, South Africa, and the United States
2	Between Public and Private: Negotiating History, Space, and Identity in Communist Hungary, 1948 — 89	Rethinking the Role of Violence in the Colonial Setting	Gendered and Sexed Identities in U.S. Discourse: Ethnicity, Manliness, and International Relations	The Politics of Information: Liberalism, Censorship, and Power in Europe and the United States	Writing for a Wider Public: A Workshop on Trade Publishing	Labor, Migration, and Global Trade, Part 2: Labor, Leisure, and Organizing in Atlanta's Latino Communities	Digital Cities: New Media Authoring in the Field of Urban History
3	Revisiting Black Power: Historical and Contemporary Perspectives	Rethinking institutional transformations in the making of modern empire: comparative perspectives from Company South India and Ottoman Turkey	Antebellum Family Values and American Slavery: Family Disruption and Speculation along the Paths of the Domestic Slave Trade	The Shape of the City: Contesting Culture and Space in Nineteenth-Century America	Research and Teaching: Imagined Divide?	From Alien Nations to Global Community: Political, Cultural, and Environmental Approaches to Space History in an Unstable World	Food Control and Political Power: Food Supplies as Political Leverage in Twentieth-Century Europe
4	Historically Black Colleges: Impacting Education for the African American Deaf and Blind Community, 1868 — 1960	African American and South Asian Religious Responses to European Dominance in the Early Twentieth Century	Unstable Bodies, Unsettled Movements: Sport, Performance, and Nation in Japan	Beyond Reading the Paper: Exploring New Presentation Formats for the AHA Annual Meeting	Documentarians as Historians, Historians as Documentarians, Part 1. Making Documentarians and Retelling History: Twenty-Five Years of Film Making at NYU's Public History Program and at the Center for Media, Culture, and History	Labor, Migration, and Global Trade, Part 3: Slavery and Imperial Control in British South Asia, Spanish North America, and the Portuguese Atlantic	Military Music: Its History, Culture, and Uses
5	(Re)Constructing Identity in the New	Shaky Foundations: Indians, Africans, and	Missing from the Debate on Women in	History, Art, and the Cultural Demobilization	Part 2. Putting History into Documentary: The	The Dilemmas of Asylum	The Social History of German Pietism in the

	South: The Interplay of Race and Culture on Contested Terrain	the Making of New England in the Seventeenth Century	Science: A Retrospect on the History of Women in Science, Technology, and Medicine	of Europe after the First World War	Making of Stranger With A Camera, the 2001 AHA John O'Connor Film Award Winner		Village, the Town, and at Court, 1690 — 1740
6	Independent Indians and International Relations in the Nineteenth-Century America	Spain in Asia: Cross-Cultural Contacts in the Early Modern World		The Visible City: The Photography of History in Chicago and Los Angeles, 1850s — 1960s	Part 3. Putting History into (Recreation) History	Rethinking America in Global Perspective: Curricular Projects from an AHA/NEH Summer Institute for College Teachers	Transformation of American History Museums
7	Contested Identities and Cultural Imperialisms: East Asia and the Pacific Rim	The Use and Abuse of Woodrow Wilson: Race and Nation in the Wilsonian Moment	Race Patriots and Heroic Women: Contested Narratives of Political Aspiration in Nineteenth-Century America	The African American Experience in Atlanta	Teaching with Historical Fiction	Desirable Imperialists: The Ambivalent Reception of Immigrants in Latin America	Whose Food? Class, Consumption, and Small Food Businesses, 1850 — 1950
8	The Campus and the Street: Social Movements, Nationalism, and Youth Culture in Africa and the Diaspora, 1945 — Present	Underground Railroad in the Southeast United States?	The Sex of the Modern: Gender, Aesthetics, and Imaginings of the Nation in Interwar France	Blinding Vision: Eyeglasses, Mirrors, Discipline, and the Transformation of Seeing in Nineteenth-Century America	Amateur History and the Construction of National Heritage in the United States and Mexico	Stabilizing Labor: Migrants, Sovereignty, Citizenship, and the Nation	Food in Latin American History
9	Approaching New Subjectivities: African American/Latino Relations in the Twentieth Century	Austria's Orient: The Ottoman Empire, the Balkans, and the Habsburg Monarchy	Twentieth-Century Sexualities, a Global Perspective: Brazil, Mexico, Russia	Religion and Violence in the Atlantic World	Beyond Separate Spheres: Modern History, History of Science, History of Technology	The Meaning of Democracy: Electoral Reform in Local and Global Contexts	New Directions in Medieval Economic History, Part 1: Reconfiguring the Crisis of the Early Fourteenth Century
10	Identity and Belief in Colonial Mexico	Constructing and Contesting the "Cultural Nation": Defining "Citizenship" in Postwar Japan	Women, Gender, Transnationalism, and International Relations in the Late Nineteenth and Twentieth Centuries: Organizations, Identity, and Activism	Revisiting Secularization: Unstable Subjects in Modern Europe	Challenges Facing Public and Academic Historians in Unsettled Times	Citizens, Refugees, and the Right to Have Rights: Remembering Ken Cmie	New Directions in Medieval Economic History, Part 2: Revisiting Medieval Trade

11	Marketing Mammon: Evangelical Entrepreneurialism in the Twentieth Century	Local Implications of Empire: Race, Environment, and Provincial Elites in France 1674 — 1851	Bodies at War	Biographies of the Black Atlantic in the Era of Slavery	Streets, Courtrooms, and Archives: Counter-Narratives in Oppositional Movements	From Local to Global: Migration History in a Comparative Perspective	Pursuing Trade, Seeking Knowledge, Chasing Heretics: Networks of Affiliation in the Early Modern Iberian World
12	Scientific Uncertainties of Race and Blackness in the Nineteenth Century	Modernization's Cultural and Transnational Turn: American Encounters with Africa and Iran in the 1950s — 60s	Creating Gendered and/or Racialized “Others”? Race, Gender, and Class in Women's Movements in Turn-of-the-Century United States	Humanity, Cruelty, and Moral Responsibility: Categorizing Pain and Violence in Britain and America (темы представленных работ: социальное страдание в общественном мнении Англии 17 в., Квакеры и нравственная идентичность, Концепции и образы жестокости)	Teaching Voices that Challenge in Unsettled Times: What Samuel Gompers, Eleanor Roosevelt, and Martin Luther King Jr. Say to Students	Incorporating Migrants: Settler and State Perspectives	Railroads, Modernity, and Geography in Comparative Perspective
13	Race, Repression, and Resistance: Postwar Student Movements in International Perspective	Dissent and Contestation in the History and Memory of Decolonization: A Comparative Perspective	Conditions of Work for Women Historians in the Twenty-First Century: Keeping the Conversation Going	Petitions and Subverting Systems of Power in the Global Context	Uncomfortable Bedfellows? Historians, Religion, and Other Awkward Subjects		Religion and the Coercion of Children within the Context of Patriarchy (репрезентации)
14	To Challenge the Status Quo: Black Participation in White Sporting Arenas before and after American Slavery	The Renaissance in an Islamic Context	State of the Field Roundtable: Toward a Global History of Sexuality	The Borders of Subjectivity: Imitation and Anxiety in Nineteenth-Century Germany	Using History during a Truth Commission, Making History after a Truth Commission		The Politics and Culture of Trans-Mission: American International Religion in the Cold War
15	The Suppression of the Atlantic Slave Trade: A Bicentennial Reexamination, 1807 — 2007, Part 1: New Directions in the Study of Abolition: A Multi-National Approach	Unstable Spaces and Conceptual Borderlands: Envisioning (Post-)Colonial Futures after the First World War	Anticlericalism in Germany and France, 1848 — 1914: Gender Perspectives and Transnational History	Visual Arts, Religious Spectacle, and Power in Habsburg Spain	Getting to the First Publication: Articles and Monographs		Between Ideology and Interest: Case Studies in Global Agriculture during the Cold War
16	Part 2: Abolition and	Feminism and History	Controlling Carnal		Community and		New Orleans after

	Atlantic Slave Ports: Africa, Europe, and the New World	in a Post-Colonial World ↔	Appetites: Charity, Prostitution, and Cooking in Cuba, 1792 — 1959 (питание, нация, гендер)		Memory in Historic Site Research and Development: Emerging Methodologies		Katrina
17	Part 3: "Liberated" Africans: New Forms of Unfree Labor and the Contradictions of "Return"	Consuls, Citizens, and Empires: Sovereignty and Jurisdictional Politics in the Mediterranean Basin, 1820s — 1920s	Women's History Organizations: Are They Still Relevant in the Twenty-First Century? Two Generations Respond		Teaching Social Class in the European History Survey		Papal Election in the Later Middle Ages: Theory and Practice
18	Part 4: Abolition and African American History: W.E.B. Du Bois's Research	Discovering African Ethnic and Social Patterns in the Ecclesiastical Records of Cuba and Brazil	Women and War Protest		Globalizing Regional and National Histories		Rejecting Regulation: The Political Economy of the Late Twentieth-Century United States
19	Part 5: The PBS Series African American Lives: Science and the Reclamation of History	The Politics of Pilgrimage: Religious Encounters across Occidental/Oriental Divides	Gender and Cuba: New Perspectives on Republican and Revolutionary Eras		Unstable Sources: New Approaches to Historical Methodology		Starvation in the Twentieth Century
20	The African American Experience in Atlanta	Across Unstable Borders: Politics, Ethnicity, and Religion in the Polish-Lithuanian Commonwealth, Seventeenth - Eighteenth Centuries	Historicizing Lesbian Identities: Postwar U.S. Perspectives		Gaining a Voice in History Education Policy		Workers as Problem, Specter, or Hope, 1850–2000: The Politics of Labor in Rural Pernambuco and Urban South—Central Brazil
21	Children, Institutions, and Historical Subjectivity in the Twentieth-Century United States	Between Empires and Nations: Imperial Subjecthood, Citizenship, and the End of Empire in Comparative Perspective, Part 1-2	Sensing History: Reinterpreting the Body in Historical Perspective		Corporatizing Higher Education: Developments, Consequences, and Future Perspectives		
22	Exile on the Edge: Reformulations of Identity and Nation by	When Habermas Meets China: Rethinking State and Society in Early	Women, Laws, and Rights in between Cultures in Late		How Successfully to Incorporate African and Latin American Topics		Beyond Segregation: The Significance of Southern Resistance in



	Political Refugees	Twentieth-Century China	Colonial and Early National Louisiana and Texas		into the World History Survey		the Emergence of the New Right
23	Mapping Borders: Region, Nation, and Identity in Digital History	The Second Constitutional Period of the Ottoman Empire, 1908 — 19: Mass Politics, Negotiation, Social Control, and Nation-State Formation (постколониальная критика и мусульмано-христианские отношения)	Las Cabronas: Women and Power in Mexican History		Lives in History: Four Master Historians Reflect on Their Careers		Commodification and the Contested Images of the American Southwest: A Collective Approach to Practicing History in Unsettled Times
24	Biography, History, and Identity: Racial Consciousness, Black-White Ancestry, and the Meaning of Race	Contesting Nations: Intellectuals and History Writing in Modern South Asia	The Bonds of Brotherhood and Sisterhood: Race, Class, Gender, and Sexuality in the Collegiate Greek System, 1945 — Present		Amateurs, Hobbyists, Enthusiasts: The History and Practice of Amateur History in an International Perspective		Comparative Responses to Genocide
25	Motorized Highways: Case Studies of Infrastructure and National Identity	Cosmopolitanism, Nationalism, and the Idea of a European Culture, 1890 — 1935	Hapa/Mestizaje/Metis: Comparative Histories of Interracial Sex and Identities in Hawai'i, Mexico, and West-Central Africa		Exploring Historical Space and Environments in the History/Social Studies Classroom, Part 1: Exemplary Approaches		Rethinking Class in the Nineteenth-Century South
26	Interpreting Race in American Museums	Frontiers of Authority: Creating Colonial Governance across the British Empire	The American Economy Turned Inside Out: Clerks and Counterfeiting in the Early Nineteenth Century (работы, представленные на этом заседании, анализировали индивидуальные проявления)		Past Atrocities and Contemporary Debates: Historians, Human Rights, and Justice		The Politics of Life: Cultivating and Constructing Humanity in the Nile Valley
27	Teaching about Race and Racism (хотя		Unstable Family Subjects in the U.S. and		The Organic Idea in Antebellum New		Warfare and Human Rights

	можно и в Историография (преподавание)		Britain, 1860s — 1990s: Competency Hearings, Maintenance Law, and Foster Care		England Thought		Promoters of Military Professionalism
28	Catholicism and French Colonialism: New Perspectives on an Old Relationship		Vampires, Dream Girls, and Allies: The Impact of World War I on Gender, Jobs, and Society in France		The State of Access to Historical Documentation on National Security Policy: At Home and Abroad		"Rendezvous with the New Right": Contesting Conservatism in Postwar America
29	Constructing an Empire: The Influence of Europe on U.S. Imperial Policy, 1860 — 1920		From the Golden Age of Aviation through the Postwar Era: New Approaches to Understanding Gender in U.S. Aviation History		The Virtual History Museum: Web-Based Social Studies Teaching and Learning		Liberalism and Conservatism in Gilded-Age America
30	Imperial Subjects: Institutions, Identification, and Identity in Colonial Latin America		If They Could Change the World: The Politics of Youth in Twentieth- Century Germany, America, and Cuba (политизация сексуальности, движение за гражданские права...)		Unsettled Subjectivities: Husserl, Broch, Capek, and the Austrian Intellectual Experience, 1890 — 1938		Monarchy, Nobility, and Political Culture during the Wars of Religion
31	Racial Conversion and Religious Assimilation: Race and Nation in Nineteenth-Century American Protestant Missions		Modernity, Nation, and Gender in Latin American Radio, 1920 — 50		Transparency in Graduate Education: What Future Historians Need to Know and History Departments Ought to Tell Them		New Narratives of Twentieth-Century American Liberalism
32	Reassessing White Anti-Racism at the Birth of Jim Crow: The Case of Albion Tourgée		Raising the Nation: Childhood, Education, and the State in Nineteenth- and Twentieth-Century Latin America (Образование, гендер, национальная идентичность)		The Historian in a Time of Crisis: Staughton Lynd, Yale University, and the Vietnam War		The Cultural Cold War in Postwar Japan

33	"Improvement" and Identity in Agrarian Communities		The Culture(s) of Women's Liberation: Ideological Construction in Second Wave Feminism		Balancing Work and Family in the Academic Workplace Making University and Museum Partnerships Work		The Enlightenment and the Book Trade in Comparative Perspective
34	Atlantic World Transformations: Slavery, Freedom, and Identity in North Africa and Latin America		Unstable Anatomies: Castrati, Hermaphrodites, and "Reproductive Wonders" in the Eighteenth Century		Religion, Modernity, and the U.S. Public Sphere		Equal Rights, Patria, y Raza: Reexamining Ethnic Mexican Civil Rights Struggles through a Transnational Lens
35	Crossing, Passing, and Knowing: Race and Family Identity in the United States, 1850 — 1934		Women's Bodies and Power in Early Modern Europe		Soldiers, Citizens, and Sources: The Uses of Civil War Soldiers in Writing U.S. History		Political Religions in History: The Future of a Concept
36	Debunking the Southern Stereotype: A Reconsideration of Southern White Identity in Response to the Civil Rights Revolution				Exploring Historical Space and Environments in the History/Social Studies Classroom, Part 2: Getting Started, from Low Tech to High Tech		Swords and Ploughshares: War and the Environment in the Modern Era
37	Race, Space, Violence, and Debate in Twentieth-Century Chicago				Medieval Historiography: Old and New Classics		The Rediscovery of American Conservatism
38					Many Things Forgotten: Collective Memory and the Rise of Americanism		Eating America: Diet, Dissent, and Corporate Food in Post-1945 U.S. Culture
39					Preparing the Next Generation of History/Social Studies Teachers: Putting Theory into Practice		Planning for the Civil War Sesquicentennial
40					Revenge, Repentance,		Energies in Transition:

					and Reconciliation: Confronting the Past in Postwar Germany		Energy Networks in Industrial America
41					Dangerous Determinism: The Limitations of Historical Lessons in Aspects of Recent U.S. Military History		Interrogation, Imprisonment, and American Empire
42					What's Disability Got to Do with the Civil War? Strategies for Integrating Disability Studies into General History Courses		Transnational Perspectives on the Twentieth-Century Political Right
43					Science and University in Early Modern Europe		
44					Graduate Mentoring: Issues and Perspectives		
45					Teaching, Tradition, and Technology: Western History Education in the Middle East		
46					Technology and the Human Subject: German Intellectuals on the Problem of Modernity		
47					Practicing History, Contending with Controversy: Public Historians and Academic Historians on Our Work, Early Twenty-First Century		
48					Unstable Concepts in Postwar America		

**Таблица 2. Тематическая классификация защищенных в Беларуси докторских и кандидатских диссертаций (по материалам журнала**

**«Аттестация»:** Выпуск № 1 2005 [http://journal.vak.org.by/docs/att\\_05-1.pdf](http://journal.vak.org.by/docs/att_05-1.pdf);

Выпуск № 2 2005 [http://journal.vak.org.by/docs/att\\_05-2.pdf](http://journal.vak.org.by/docs/att_05-2.pdf);

Выпуск № 3 2005; <http://journal.vak.org.by/index.php?go=Pages&in=cat&id=8>;

Выпуск № 4 / 2005 <http://journal.vak.org.by/index.php?go=Pages&in=cat&id=17>;

Выпуск № 1 2006; <http://journal.vak.org.by/index.php?go=Pages&in=cat&id=28>;

Выпуск № 2 2006; <http://journal.vak.org.by/index.php?go=Pages&in=cat&id=31>;

Выпуск № 3 2006; <http://journal.vak.org.by/index.php?go=Pages&in=cat&id=43>;

Выпуск № 4 2006; <http://journal.vak.org.by/index.php?go=Pages&in=cat&id=45>;

№	Политика внешняя	Социально-экономические структуры и процессы	Культура, религия, источниковедение и вопросы образования	Великая Отечественная война	Государственность и национальное строительство
1	Цынкевіч В.М. Палітычныя узаемадэяванні паміж БССР і Польскай Рэспублікай у 1921-1929 гг. БГУ, 19.11.2004.	Довнар А.Б. Сацыяльна-эканамічнае становішча сялян-слуг дзяржаўных і прыватных уладанняў на беларускіх землях в другой палове XVI – сярэдзіне XVIII ст. 05.11.2004	Белявский А.М. Производство фольклора как исторический источник (на примере ирландских исторических песен). 17.09.2004	Касович А.В. Сопrotивление германским оккупантам в западных областях Беларуси в годы Великой Отечественной войны, 1941-1944. 28.09.2004	Панько А.Д. Становление белорусской государственности, 1914-1923 гг.: территориальный аспект. Львовский национальный университет им. И. Франко (переаттестация). 30.06.2004.
2	Боровой В.А. Политика КНР в Центральной Азии (90-е гг. XX – начало XXI в.). 11.03.2005	Семенова С.А. Купечество Беларуси во второй половине XVIII – первой половине XIX в. 28.09.2004	Вирская В.П. Формирование новой концепции истории Беларуси в системе средней общеобразовательной школы (1986 – 1990-е гг.). 13.01.2005	Гребень Е.А. Привлечение нацистской Германией граждан Беларуси на принудительные работы (1941 □ 1944 гг.). 31.03.2005)	Кулевич И.Р. Беларускі нацыянальны рух (1902-1925): гістарыяграфія праблемы. 24.12.2004
3	Воротницкая Т.В. Политика расширения Европейского Союза на Восток в конце 1980-х—2000 годах. 19.11.2004	Кривуть В.И. Молодежные организации на территории Западной Беларуси (1929-1939). 21.02.2005	Гончарук И.Г. Каталіцкі касцел на Беларусі у складзе Расійскай імперыі 1772-1830. 18.02.2005	Беляев А.В. Местная вспомогательная администрация в системе немецко-фашистского оккупационного режима в Беларуси (1941-1944 гг.). 08.06.2005	Рабышко О.Э. Этнапалітычныя працэсы у Заходняй Беларусі у 1919-1939 гг. 13.01.2005
4	Королёнок Л.Г. Беларусь и Великобритания: экономические, научно-технические и культурные связи в 1970-2003 гг.	Лепеш О.В. Комитет западных губерний: организация и деятельность (1831 □ 1848 гг.). 31.03.2005	Костюкевич С.В. Семантыка і функцыі традыцыйных цацак беларусаў у XIX – XX стст. 25.11.2004	Грибовский Ю.В. Беларусь ў польскіх узброеных фарміраваннях у гады другой сусветнай вайны. 22.12.2005	Райченок А.А. Станаўленне беларускай дзяржаўнасці у кантэксце разных ідэалагічных прыярытэтаў (1917-1927 гг.). 24.12.2004



	23.12.2004.				
5	Осипович А.И. БССР и Великобритания: пролетарская солидарность и гуманитарные контакты, экономические, научные и культурные связи в 1921-1938 гг. 23.12.2004	Мацук А.В. Барацьба магнацкіх групак на беларускіх землях Вялікага княства Літоўскага за палітычнае вяршэнства (1717 □ 1763 гг. 13.05.2005	Воронич Т.В. Губернский город Витебск на рубеже XIX □ XX вв. 17.03.2005	Козлова С.Л. Аграрная палітыка нямецкіх акупацыйных улад на тэрыторыі заходніх абласцей Беларусі (1941 □ 1944 гг.). 18.05.2006	Унучек А.В. "Наша Ніва" і беларускі нацыянальны рух (1906 □ 1915 гг.).13.05.2005
6	Третьяк С.А. Брэсцкі мир і грамадска-палітычныя працэсы у Беларусі. 21.02.2005.	Острога В.М. Вясковае настаўніцтва Беларусі ў другой палове XIX □- пачатку XX стст. 17.03.2005	Ершова О.И. Политика российского правительства в области начального образования во второй половине XIX в. (на материалах белорусских губерний Виленского учебного округа). 27.04.2005		
7	Гурин А.В. Даследаванні гісторыі міжнародных адносін у Беларусі ў 1980 □ 2003 гг. 11.03.2005	Пташник В.М. Вооруженные Силы Республики Беларусь: формирование и реформирование (1991-2000 гг.). 25.03.2005	Канапацкая З.И. Татары в Беларуси и их культура (XIV □ XVII века). 08.04.2005		
8	Левшевич А.А. Формирование единого Румынского государства и Франция (1829 □ 1864 гг.). 27.04.2005	Сасим А.М. Промышленность Белорусской ССР в условиях реформирования (середина 50-х □ 60-е годы XX ст.). 04.03.2005	Лавриненко Е.В. Каталіцкі Касцёл у грамадска-палітычным жыцці ПНР у 1970 □ 1989 гг. 05.05.2005		
9	Олюнин С.В. Боснийский эялет в конце XVIII □ 70-х гг. XIX столетия: османский опыт модернизации традиционного общества. 05.05.2005	Сидоренко Б.И. Земли Восточной Беларуси во внешней политике Великого княжества Литовского и Московского княжества в 1500 □ 1537 годах. 18.02.2005	Махнач А.И. Эволюционизм в этнологическом изучении Беларуси (конец XIX □ начало XX): концептуально-историографический анализ. 22.09.2005		
10	Заикин Н.А. Формирование, охрана и прикрытие западной	Полетаева Н.И. Купечество Беларуси (60-е	Гребенчук И.В. Узнікненне і дзейнасць публічных музеяў у		

	границы Российской империи (на примере белорусского участка) 1772 - 1822 гг. 08.06.2005	годы XIX - начало XX века). 05.10.2005	Беларусі (1851 □ 1917 гг.). 23.09.2005		
11	Русь Э.В. Германский вопрос во второй половине XX века в исторической мысли ФРГ и ГДР. 02.06.2005	Климов М.В. Вясковыя паселішчы ў акрузе Полацка X □ сярэдзіны XVI ст. 27.05.2005	Елинская М.М. Источники о дворянских родах западноевропейского происхождения в белорусских губерниях конца XVIII – начала XX вв. 24.11.2005		
12	Шабельцев С.В. Украинцы и белорусы в Аргентине: общественно-политическая деятельность и связи с родиной (1945 □ 1991 гг.). 02.06.2005	Чернявский М.М. Касцяная і рагавая індустрыя стаянак Крывінскага тарфяніка (неаліт - бронзавы век). 27.05.2005	Загидулин А.Н. Нацыянальная і канфесіянальная палітыка польскіх улад у адносінах да беларускага насельніцтва Заходняй Беларусі (1921-1939 гг.). 27.10.2005		
13	Александрович С.С. Древнегреческая полиоркетика в истории войн. 27.10.2005	Венгер Ю.И. Социальная защита населения в Республике Беларусь (1991-2000 гг.). 02.03.2006	Дулов А.Н. Женщины Советской Беларуси в общественно-политической жизни и материальном производстве (20-е годы XX века). 23.02.2006		
14	Мороз Ю.М. Общественное мнение России и проблема англо-русских отношений в 1907-1914 гг. 27.10.2005	Ефимович Е.В. Рэформа М.М. Мураўёва ў дзяржаўнай вёсцы Беларусі 1857□1862 гг. 26.01.2006	Пилипцевич В.В. Погребальный обряд населения зарубинецкой культуры на территории Беларуси 13.04.2006		
15	Пранник Т.А. Проблема аншлюса в австро-германских отношениях в 1918-1932 гг.	Куницкая З.А. Областной исполнительный комитет Западной области: создание, структура, деятельность. 28.09.2006	Поликовская Т.И. Культурна-асветніцкая дзейнасць езуітаў на беларускіх землях у апошній трэці XVI □ 20-ыя гг. XIX стст. (стан і праблемы айчынай гістарыяграфіі другой паловы XIX □ пачатку XXI ст.). 23.03.2006		

16	Садовская А.Н. Политика Европейского Союза в отношении развивающихся государств в 1990-е – 2000-е годы. 25.11.2005	Радюк А.Г. Канфіскацыя прыватнай уласнасці на Беларусі ў канцы XVIII □ першай палове XIX ст. 25.05.2006	Швайко В.Г. Деятельность русских организаций в Польше по сохранению русской культуры в 1921-1939 гг. 08.12.2005		
17	Аблова Н.Е. КВЖД и российская эмиграция в Китае: международные и политические аспекты истории (первая половина XX в.). 19.04.2006		Титович И.В. Краязнаўчы рух на тэрыторыі Заходняй Беларусі (1921 □ 1939 гг.). 27.04.2006		
18	Боголейша С.В. Беларуска-літоўскія ўзаемаадносіны ў 1915-1924 гг. 23.03.2006		Гулюк М.А. Политика российского правительства по подготовке педагогических кадров для Виленского учебного округа (вторая половина XIX - начало XX в.). 25.05.2006		
19	Винокурова И.В. Международное сотрудничество по противодействию терроризму в 1990-2000-е годы. 16.12.2005		<b>Николаева И.В.</b> Жанчыны Беларусі ў перыяд германскай акупацыі (1941 □ 1944 гг.). 18.05.2006		
20	Шевелёва М.В. Процесс палестино-израильского урегулирования (1991-2001 гг.). 16.12.2005		Чернякевич И.С. Гісторыка-этнаграфічнае раянаванне вясельнай абраднасці Беларускага Палесся. 7.07.2006		
21	Борботько П.В. Правовая политика правящих партий Веймарской Германии в 1919-1923 гг. 27.04.2006				

**Таблица 3. Тематическая классификация диссертаций, защищенных в 2005-2006 гг. в Нью-Йоркском университете, Университете Джона Хопкинса, Гарварде и Принстона.**

№	История афро-американцев/ индейцев/ раса/ проблемы идентичности	Постколониальные исследования/ этничности/ национализма	Гендер, феминизм, сексуальность	«Репрезентации»	Историография/ интеллектуал. история	Миграции/ Глобализация/ Окружающая среда	Исследования социально-экономических процессов и политических отношений
1	Gaudin, Wendy (NYU). <i>Autocrats and All Saints: Migration, Memory, and Modern Creole Identities</i> . 2005	Hsu, Chia Yin (NYU). <i>Staging European-ness in Harbin and the Russian Far East: Race, Modernity, and the Making of a Russian Colonial Order in China, 1898-1924</i> . 2006	Hajo, Cathy Moran (NYU). <i>What Every Woman Should Know: Birth Control Clinics in the U.S. and Great Britain, 1916–39</i> . 2006	Kulsrud, Peter (NYU). <i>The Fabrication of the Modern Media: An Investigation into the Theater and Its Impact on Public Life in Paris, 1760-1835</i> . 2005	Scharfman, Rachel (NYU). <i>The Radical Public Sphere of New York City, 1901-20</i> . 2006	Kinkela, David (NYU). <i>Pesticide Exchange: DDT and the International Context of U.S. Environmentalism, 1943-82</i> . 2006	Bayer, Kristin Sharon (NYU). <i>Substance and Symbol: China and the Global Opium Trade of the 19th Century</i> . 2005
2	Behrent, Michael (NYU). <i>The Sanctity of the Secular: Religion, Republicanism, and the Quest for a 'Morale independante' in France, 1848–70</i> ". 2006	Haskell, Alec (Johns Hopkins) <i>Affections of the People: Ideology and the Politics of State-Building in Colonial Virginia, 1607-1754</i> . 2005	Dissertator: Hamer, John (Johns Hopkins). <i>Turning Horror into Stories: Popular Health Reform and the Gospel of Prevention, 1970-90</i> . 2005	LaCombe, Michael (NYU). <i>Food and Authority in the English Atlantic World, 1570-1640</i> . 2006	Cardno, Catherine Annette (Johns Hopkins, Hist.). <i>Community, Morality, and Violence: Crime and the Construction of a British American Society in 18th-Century Charles County, Maryland</i> . 2005	Reiss, Suzanna (NYU). <i>Policing for Profit: U.S. Imperialism and the International Drug Economy</i> . 2006	Gilmore, Kimberly (NYU). <i>States of Incarceration: Prisoners' Rights and U.S. Prison Expansion after World War II</i> . 2005
3	Musgrove, George Derek (NYU). <i>The Harassment of Black Elected Officials: Post-1965 Race, Citizenship, and State Power</i> . 2006	Dawley, Evan (Harvard). <i>Constructing Jilong: Identities and Ethnicity in a City on the Border of China and Japan, 1884-1948</i> . 2006	Morris, M. Michelle J. (Harvard). <i>Under Household Government: Sex and Family in Massachusetts, 1660-1700</i> . 2005	Link, Daniel (NYU). <i>Everyday was a Battle: Liberal Anticommunism in Cold War New York, 1944-56</i> . 2006 Munroe, Alexandra (NYU). <i>Avant-Garde Art in Postwar Japan: The Culture and Politics of Radical Critique, 1951-70</i> . 2005	Marshall, David L. (Johns Hopkins). <i>The Sublimation of Rhetoric: What Giambattista Vico Did to the Art of Persuasion</i> . 2006	Maischak, Lars (Johns Hopkins). <i>A Cosmopolitan Community: Hanseatic Merchants in the German-American Atlantic of the 19th Century</i> . 2006	Euler, Carrie (Johns Hopkins). <i>Religious and Cultural Exchange during the Reformation: Zurich and England, 1531-58</i> . 2005

4	Purnell, Brian (NYU). A Movement Grows in Brooklyn: The Brooklyn Chapter of the Congress of Racial Equality (CORE) and the Northern Civil Rights Movement during the Early 1960s. 2006	DeGeorges, Thomas (Harvard). A Bitter Homecoming: Tunisian Veterans of the First and Second World Wars. 2006	Dennis, Donna (Princeton). Obscenity Regulation, New York City, and the Creation of American Erotica, 1820-80. 2006	Ort, Thomas (NYU). Men without Qualities: The Capek Generation, 1909-38. 2006	Shalev, Eran (Johns Hopkins). Rome on Western Shores: Classical Antiquity and Revolutionary America's Quarrel with Time. 2006	Ostoyich, Kevin (Harvard). The Transatlantic Soul: German Catholic Emigration during the 19th Century. 2006	Miller, Andrew (Johns Hopkins). Abenakis and Colonists in Northern New England, 1675-1725. 2005
5	Wilson, Jamie Jaywann (NYU). Sickness, Health, and the Politics of Well-Being in Harlem, New York, during the Interwar Period. 2005	Pollock, Sean (Harvard). Empire by Invitation? Russian Empire Building in the Age of Catherine the Great. 2006	Liang, Yuen-Gen (Princeton). Family and the Imperial Project: The Fernández de Córdoba in the Spanish Empire, 1482-1598. 2005	Booth, Charles (NYU). Let the American Flag Wave in the Aegean: America Responds to the Greek War of Independence, 1821-24. 2005	Tonks, Paul (Johns Hopkins). Scottish Historical Discourse and Arguments for Metropolitan Authority in the 18th-Century British Atlantic Empire. 2005	Muscolino, Micah (Harvard). Fishing for Profits: Environment and Society off the China Coast, 1840-1958. 2006	Thomson, Erik (Johns Hopkins). Chancellor Oxenstierna, Cardinal Richelieu, and Commerce: The Problems and Possibilities of Governance in Early 17th-Century France and Sweden. 2005
6	Bond, Richard (Johns Hopkins University (Hist.)). Ebb and Flow: Free Blacks and Urban Slavery in 18th-Century New York. 2005		Sanders, Holly (Princeton). Prostitution in Postwar Japan: Debt and Labor. 2006	Wilk, Rona (NYU). Vox Populi': Popularization and Americanization of Opera in America, 1931-66. 2006	Kim, Hoi-eun (Harvard). Physicians on the Move: German Physicians in Meiji Japan and Japanese Medical Students in Imperial Germany, 1868-1914. 2006	Blower, Brooke (Princeton). The Paris of Americans: Transnational Politics and Culture between the World Wars. 2006	Adams, Alison (Harvard). The Caixa Econômica: A Social and Economic History of Popular Banking in Rio de Janeiro, 1821-1929. 2006
7	Dissertator: Lee, Monica Kittya (Johns Hopkins). Conversing in Colony: The Braslica and the Vulgar in Portuguese America, 1500-1759. 2006			Kuznicki, Jason (Johns Hopkins University). Scandal and Disclosure in the Old Regime. 2006	Bernath, Michael (Harvard). Confederate Minds: The Struggle for Intellectual Independence in the Civil War South. 2005	Brock, Emily (Princeton). Replanting and Restoring the Douglas Fir: Forest Science and Forest Practice in the Pacific Northwest, 1890-1973. 2005	Cassel, Pär (Harvard). Rule of Law or Rule of Laws: Legal Pluralism and Extraterritoriality in 19th-Century East Asia. 2006
8	Loux, Jennifer Renee (Johns Hopkins). The Edge of the South: Slavery and Regional			Miller, Bonnie (Johns Hopkins). The Spectacle of War: A Study of Spanish-	Byala, Sara (Harvard). Thinking in Three Dimensions: John Gubbins,		Clover, Robert (Harvard). 'Red Silk': Labor, Capital, and the State in the Yangzi



	Identity in Frederick County, Maryland, 1848-65. 2005			American War Visual and Popular Culture. 2006	MuseumAfrica, and the Making of Modern Johannesburg, 1902-2004. 2006		Delta Silk Industry, 1945-60. 2006
9	McDaniel, Caleb (Johns Hopkins). Our Country is the World: Radical American Abolitionists Abroad. 2006			Rowe, Erin Kathleen (Johns Hopkins). Disrupting the Republic: Santiago, Teresa de Jesus, and the Battle for the Soul of Spain, 1617-30. 2005	Paras, Eric (Harvard). A New Archivist: Michel Foucault and the Practice of History, 1968-84. 2005		Endries, Carrie (Harvard). Exiled in the Tropics: Nazi Protestors and the Getúlio Vargas Regime in Brazil, 1933-45. 2005
10	Molineux, Catherine (Johns Hopkins). The Peripheries Within: Race, Slavery, and Empire in Early Modern England. 2006			Albion, Alexis (Harvard). The Spy in All of Us: The Public Image of Intelligence in the 1960s. 2005	Smith, Gregory (Harvard). Very Thin Things: Towards a Cultural History of the Soul in Roman Antiquity. 2005		Eyal, Yonatan (Harvard). The New Democrats: Young America and Party Transformation, 1828-61. 2005
11	Terjanian, Anoush (Johns Hopkins). Doux commerce and its Discontents: Slavery, Piracy and Monopoly in 18th-Century France. 2006			Campos-Costero, Isaac (Harvard). Marijuana, Madness, and Modernity in Mexico, 1521-1920” Advisor: Womack, John, Jr. Completed: 2006	Zelljadt, Katherine (Harvard). History as Past-time: Amateurs and Old Berlin, 1870-1914. 2005		Jones, Halbert (Harvard). The War Has Brought Peace to Mexico: The Political Impact of Mexican Participation in World War II. 2006
12	von Daacke, Kirt (Johns Hopkins). Freedom Has a Face: Racial Identity and Community in Jefferson's Albemarle, 1780-1860. 2005			Helfgott, Isadora (Harvard). Art and the Struggle for the American Soul: The Pursuit of a Popular Audience for Art in America from the Depression to World War II. 2006	McCahill, Elizabeth M. (Princeton). Letters about Letters: Curial Humanism in the Early Quattrocento. 2005		Schrag, Jonathan (Harvard). Power and Revolution: The Electrical Industry in Mexico, 1880-1940. 2005
13	Antrim, Zayde (Harvard). Place and Belonging in Medieval Syria, 6th/12th-8th/14th Centuries. 2005			Lisy-Wagner, Laura (Harvard). Between the Eagle and the Crescent: Czech Images of the Holy Roman and Ottoman Empires in Texts about the Turk,	Rigogne, Thierry (Princeton). Print in the Provinces: The 1764 Survey of the French Book Trade. 2005		Sowerby, Scott (Harvard). James II's Revolution: The Politics of Religious Toleration in England, 1685-89. 2006

				1450-1650. 2005			
14	Han, Seunghyun (Harvard). Reinventing Local Tradition: Politics, Culture, and Identity in Early 19th-Century Suzhou. 2005			Lundin, Matthew (Harvard). The Mental World of a Middling Catholic: The Family Archive of Cologne Lawyer Hermann Weinsberg, 1518-97. 2006	Sackley, Nicole (Princeton). Passage to Modernity: American Social Scientists, India, and the Pursuit of Development, 1945-61. 2005		Suarez-Potts, William (Harvard). The Making of Labor Law in Mexico, 1875-1931. 2005
15	Sims, Kimberly (Harvard). Blacks, Italians, and the Progressive Interest in New York City Crime, 1900-30. 2006			Stein Kokin, Daniel (Harvard). The Hebrew Question in the Italian Renaissance: Linguistic, Cultural, and Mystical Perspectives. 2006	Wisnioski, Matthew (Princeton). Engineers and the Intellectual Crisis of Technology, 1957-73. 2006		Brunsmann, Denver A. (Princeton). The Evil Necessity: British Naval Impressment and Its Transatlantic Opponents, 1688-1815. 2005
16	Uchida, Jun (Harvard). Brokers of Empire: Japanese Settler Colonialism in Korea, 1910-37. 2005			Amar, Tarik (Princeton). The Making of Soviet Lviv, 1939-63. 2006			McNiff, Kelsey (Princeton). The French Internment Camp Le Vernet d'Ariege: Local Administration, Collaboration, and Public Opinion in Vichy France. 2005
17	Bleichmar, Daniela (Princeton). Viewing Colonial Nature: Images, Collections, and Scientific Travel in the 18th-Century Spanish Americas. 2005			Ewing, Tabettha (Princeton). Rumor and Foreign Politics in Louis XV's Paris during the War of the Austrian Succession. 2005			Menze, Volker L. (Princeton). The Making of a Church: The Syrian Orthodox in the Shadow of Byzantium and the Papacy. 2005
18	Dun, James Alexander (Princeton). Dangerous Neighbors: Slavery, Race, and St. Dominique in the Early American Republic, 1780-1808. 2005			Grieco, Holly J. (Princeton). A Dilemma of Obedience and Authority: The Franciscan Inquisition and Franciscan Inquisitors in Provence and the Dauphine, 1235-1400. 2005			O'Dowd, Edward C. (Princeton). The Last Maoist War: Chinese Cadres and Conscripts in the Third Indochina War, 1978-91. 2005

19	Foster, Elizabeth (Princeton). Church and State in the Republic's Empire: Catholic Missionaries and the Colonial Administration in French Senegal, 1880-1936. 2006			Hintermaier, John M (Princeton). Power, Piety, and Polemic in the British Restoration, 1660-70. 2005			Philliou, Christine (Princeton). Worlds Old and New: Phanariot Networks and the Remaking of Ottoman Governance, 1800-50. 2005
20	Holt, Katherine (Princeton). Intimate Bonds: Slavery and the Production of Social Relationships in the 19th-Century Bahian Recôncavo and Sabará, Brazil. 2006			Kane, Brendan (Princeton). The Beauty of Virtue: Honor in Early Modern Ireland and England, 1541-1641. 2005			Veigel, Klaus (Princeton). Governed by Emergency: Economic Policy-Making in Argentina, 1973-91. 2006
21	Jordan, Ryan P. (Princeton). Slavery and the Peaceable Kingdom: Quaker Opposition to American Abolitionism, 1820-60. 2005			Kane, Eileen (Princeton). Pilgrims, Holy Places, and the Multi-Confessional Empire: Russian Policy toward the Ottoman Empire under Tsar Nicholas I, 1825-55. Advisor: Engelstein, Laura and Stephen M. Kotkin.. 2006			
22	Mack, Kenneth (Princeton). Race Uplift, Professional Identity, and the Transformation of Civil Rights Lawyering and Politics, 1920-40.2006						
23	Pande, Ishita (Princeton). Curing Calcutta: Race, Liberalism, and Colonial Medicine in British Bengal, 1830-						

1900. 2006						
------------	--	--	--	--	--	--